АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

3

МАЙ—ИЮНЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА—1972

СОДЕРЖАНИЕ.

В. М. Солнцев. (Москва). О понятии уровня языковой системы 3

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

А. В. Бондарко (Ленинград). К теории поля в грамматике — залог и залоговость 20
В. К. Журавлев (Москва). К проблеме нейтрализации фонологических оппозиций 36
Г. Дёрфер (Гёттинген). Можно ли проблему родства алтайских языков разрешить с позиций индоевропеистики? 50
Л. А. Покровская (Москва). Об одном «балканизме» в гагаузском языке и в балкано-турецких диалектах 67
А. К. Матвеев (Свердловск). Взаимодействие языков и методы топонимических исследований 76

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

М. А. Бородина (Ленинград), Н. Н. Мильман (Ленинград). О реконструкции лингвогеографической карты 84
Г. К. Вернер (Таганрог). Реконструкция слоговых тонов в енисейских языках XIX в. 92
Ю. Лаучюте (Ленинград). Лексические балтизмы в славянских языках 101
Т. В. Рождественская (Ленинград). Значение граффити XI—XIV вв. для изучения истории русского языка старшего периода 110
Т. А. Иванова (Ленинград). Об азбуке на стене Софийского собора в Киеве 118
Н. А. Еськова (Москва). О принципах составления русского нормативного словаря орфоэпического типа 123
В. С. Мочос (Москва). Состав и структурные признаки основных глагольных классов современного греческого языка («димотики») 135

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

И. И. Ревзин (Москва). *С. Маркус.* Теоретико-множественные модели языков 143
А. Е. Кибрик (Москва), Г. А. Климов (Москва). «Сравнительно-историческая лексика дагестанских языков» 147
М. В. Симулик (Ужгород). *Е. С. Скобликова.* Согласование и управление в русском языке 151
И. Г. Добродомов (Москва). «Этнография имен» 153

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки 156

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

О. С. Ахманова, Р. А. Будагов, А. В. Десницкая, Ю. Д. Дешериев,
Г. А. Климов (отв. секретарь редакции), *В. З. Панфилов* (зам. главного редактора),
Б. А. Серебренников, В. М. Солнцев (зам. главного редактора),
О. Н. Трубачев, Ф. П. Филин (главный редактор), *Г. В. Церетели, В. Н. Ярцева*

Адрес редакции: Москва К-31, Кузнецкий мост, д. 9/10. Тел. 228-75-55

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1972

В. М. СОЛНЦЕВ

О ПОНЯТИИ УРОВНЯ ЯЗЫКОВОЙ СИСТЕМЫ

В последние десятилетия в специальных и общих работах по языкознанию широко используется понятие «уровня» (level). С помощью этого понятия характеризуют как само устройство языка (подсистемы в строении системы языка), так и различные этапы или фазы исследования языка [1]. (Когда имеют в виду характеристику устройства языка, наряду с термином «уровень» используется также термин «ярус».) В этом отношении термин «уровень» делит судьбу многих лингвистических терминов, употребляющихся как в онтологическом, так и в эвристическом или, говоря иначе, операционном значении. (Ср. «универсалии» как высказывания о некоторых свойствах языков и как сами эти свойства). Оба употребления термина «уровень» тесно между собой связаны: исследование и описание какого-либо явления обычно предполагает и выделение самого этого явления как предмета описания. Использование общего термина для обозначения как самого явления, так и процесса его описания (познания) обуславливает часто недостаточно четкое различение онтологического и операционного значений термина [2]. Такое различение представляется, однако, методологически важным во избежание подмены онтологических понятий операционными, что может вести к принятию операционных понятий и процедур описания за реальности языка. Последнее нередко имеет место в различных лингвистических сочинениях [3].

В соответствии с заглавием настоящей статьи, в последующем изложении термин «уровень» будет использоваться только в онтологическом смысле для характеристики особенностей объективного устройства системы языка. Проблема же уровней в смысле этапов, или фаз описания, исследования или анализа есть особая проблема, которая здесь специально не рассматривается.

*

Понятие уровней получило широкое распространение первоначально в работах американских дескриптивистов, хотя идея стратификации языкового материала по определенным признакам никогда не была чужда лингвистике, что, в частности, проявляется в традиционном отнесении языкового материала к фонетике (фонологии), морфологии, синтаксису и т. п. (Впрочем в отличие от современных представлений, такие языковые стратумы обычно рассматривались как рядоположенные, но не как образующие сложную систему иерархических зависимостей.) В американской дескрип-

[1] См.: О. С. Ахманова, Словарь лингвистических терминов, М., 1966, стр. 487—488.

[2] Хотя доклад Э. Бенвениста на IX Международном конгрессе лингвистов озаглавлен «Уровни лингвистического анализа», в нем речь идет главным образом об «уровневой» стратификации собственно языкового материала на основе объективных свойств различных единиц языка и их взаимоотношения. Русский перевод доклада см. в сб. «Новое в лингвистике», IV, М., 1965, стр. 434—449.

[3] Например, в работах по так называемому «компонентному анализу» выделяемые лингвистами признаки значения, служащие для описания или раскрытия содержания значения, иногда принимаются за реальные компоненты или «части» значения.

тивистике идея уровней приобрела характер определенной концепции, касающейся «взаимоотношений различных строевых элементов внутри языковой структуры и методики описания языка» [4]. Идея «уровневой» характеристики строения системы языка и, соответственно, «уровневой» методики описания языка воспринята в настоящее время самыми различными лингвистическими направлениями и школами.

Можно полагать, что понятие уровней в том общем виде, в каком оно используется в лингвистике (если отвлечься от различных модификаций этого понятия у представителей разных школ), испытало сильное влияние концепции структурных уровней в естествознании, если вообще не было заимствовано из естествознания, где понятие уровней использовалось, в частности, в работах американских философов-материалистов Г. Ч. Брауна и Р. В. Селларса уже с начала XX в. [5]. Естественно-научная концепция уровней использует, в основном, понятие структурного уровня, или уровня организации живых систем, имея в виду эволюцию от более низкой организации к более высокой [6]. «Само слово „уровни" предполагает прежде всего отношения каких-то „высоких" и относительно „низких" классов или ступеней развития структур тех или иных объектов. Иначе говоря, среди исходных представлений всякой концепции структурных уровней явно или неявно должны быть выражены какие-то представления и понятия высшего и низшего» [7]. Соотношение менее высоких и более высоких ступеней организованности объектов часто обозначается термином «иерархичность» структур этих объектов [8].

Понятие высших и низших ступеней, или уровней организации применяется не только для характеристики биосистем, но и любых материальных объектов. При этом понятия высших и низших ступеней, или уровней организации связываются с качественным своеобразием каждого уровня. Немецкий философ-материалист Г. Клаус пишет: «Каждая ступень организации материи имеет свои, присущие только ей качества, которые нельзя свести к более низшим ступеням организации...» [9].

Лингвистическая концепция уровней в различных своих разновидностях при онтологическом понимании уровней также пользуется понятиями высшего и низшего, понимая под низшими уровнями организацию более простых единиц, например, фонем, в некоторую подсистему, а под более высокими уровнями, организацию более сложных единиц, например, слов. Фонемы, морфемы, слова и т. д. и образуемые ими подсистемы характеризуются качественным своеобразием [10]. Отношения между единицами разных уровней в лингвистике также часто определяются термином «иерархичность».

---

[4] С. Д. Кацнельсон, О понятии «уровня» в современном языкознании, «Тезисы докладов на дискуссии о проблеме системности в языке», М., 1962, стр. 5.

[5] См.: В. И. Кремянский, Очерк теории «интегративных уровней», «Проблемы методологии системного исследования», М., 1970, стр. 394 и сл.

[6] Там же, стр. 395—396.

[7] В. И. Кремянский, Критерии структурных уровней биосистем, «Проблемы методологии...», стр. 227—228.

[8] Там же, стр. 228.

[9] Г. Клаус, Кибернетика и философия, М., 1963, стр. 128.

[10] Критикуя теорию уровней в том виде, как она представлена у дескриптивистов, С. Д. Кацнельсон отмечает, что «слово „состоит" из морфем совсем не так, как предложение „состоит" из слов...» (С. Д. Кацнельсон, О теории лингвистических уровней, сб. «Вопросы общего языкознания», М., 1964, стр. 39). Иными словами, наблюдается качественное своеобразие «вхождения» менее сложных единиц в более сложные. В более поздней работе С. Д. Кацнельсон пишет: «Качественные различия реальных языковых единиц не принимаются этой теорией в расчет, все сводится к различиям „уровней сборки"; единица одного „уровня анализа" отличается в такой интерпретации от другой только степенью своей сложности и ничем иным» (С. Д. Кацнельсон, Типология языка и речевое мышление, Л., 1972, стр. 99).

Нетрудно видеть известное сходство использования понятия «уровень» в лингвистике и, например, в биологии. Это сходство обусловлено тем, что язык в свете современных представлений выступает как сложная система, характеризующаяся наличием частных подсистем, обладающих разным назначением и различной степенью сложности. Являясь системным объектом, язык в этом качестве обнаруживает ряд общих черт с другими системными объектами, и, в частности, с биосистемами. В силу этого вычленение объективных подсистем (уровней) в общей системе языка для познания сущности системной организации языка имеет не менее важное методологическое значение, чем выделение «уровней организации», например, в биосистемах или других материальных объектах. В то же время нельзя не видеть глубокого различия понятия уровня в языке и в биосистемах. Если в биологии понятие высших и низших уровней в значительной мере связано с эволюционным развитием живой природы, то применительно к языку невозможно говорить о том, что его высшие уровни являются результатом эволюции низших: предложение не развивается ни из фонем, ни из морфем, ни из слов.

Это различие обусловлено самой природой и назначением языка: язык есть материальная семиотическая (знаковая) система, предназначенная для передачи информации, т. е. язык есть средство общения людей.

Язык есть набор определенных единиц (разной степени сложности) и правил их использования. Языку как средству общения принадлежат модели или схемы, по которым строятся как сложные единицы языка, так и различные речевые произведения — конкретные словосочетания и предложения. Единицы языка суть либо двусторонние единицы — звуковые комплексы, выражающие определенные значения, либо односторонние единицы — отдельные звуки (фонемы), служащие для различения двусторонних единиц. Применение языка в качестве средства общения, т. е. его речевое использование, состоит в конечном счете в образовании из элементов языка особых систем, формирующих, выражающих и передающих информацию. Такие образующиеся в процессе речи системы представляют собой конкретные предложения, которые, будучи речевыми системами, состоят из единиц языка.

Сами единицы языка различаются по степени сложности и по своему назначению: фонемы образуют звуковую сторону морфем и слов, сочетания морфем образуют слова. Слова же образуют в соответствии с правилами свободные речевые единицы — конкретные словосочетания и предложения. При этом единицы более высокого порядка не развиваются из единиц менее высокого порядка.

Поэтому в языке и в речевых системах, образованных из единиц языка, отношения единиц низших и высших уровней есть отношение компонентов (составляющих) и целого, но не эволюционное отношение [11].

---

[11] Я отвлекаюсь здесь от проблемы генезиса различных единиц языка и образуемых с их помощью речевых единиц, поскольку в любом доступном изучению языке между менее и более сложными единицами существует отношение компонентности, но не развития высших единиц из низших.

Если же встать на точку зрения распространенной гипотезы о первоначальном происхождении языка из нечленораздельных выкриков древнейших антропоидов и учесть, что такие нечленораздельные комплексы звуков служили для передачи какой-то информации, т. е. были аналогами того, что в современных языках называется предложениями, то процесс происхождения «уровней» в языках оказывается противоположным процессу развития «уровней» в биосистемах. Низшие уровни возникают в результате расчленения целого (т. е. высшего): членораздельные звуки выделялись из нечленораздельных звуковых комплексов, из нерасчлененных «предложений» выделялись «слова», в результате разложения «слов» образовались значимые части слов — «морфемы»

Тем не менее, различия единиц языка по степени сложности и назначению, обуславливающие их качественное своеобразие, а также своеобразное «вхождение» низших единиц в высшие, позволяет применять к отношению между единицами разной степени сложности понятие «иерархичности» [12] и рассматривать такие единицы как единицы разных уровней. Иначе говоря, в языке, как и в других материальных системах, имеются объективные предпосылки в виде особенностей их строения для введения понятия разных уровней организации или разных уровней его строения, что, соответственно, предполагает и различные «уровни» его изучения и описания.

*

Введение понятия уровней в дескриптивной лингвистике во многом было обусловлено задачами разработки методик описания языка. Отсюда — исключительно большое внимание к операционной, эвристической стороне понятия «уровень».

В дескриптивной лингвистике уровни часто рассматриваются как этапы анализа, основывающиеся на учете «восходящих уровней сложности организации» [13]. В более поздней работе Дж. Трейджер пишет: «Уровни представляют собой последовательные утверждения (consistent statements) различной значимости, выведенные из материала» [14]. Словоупотребление «уровни анализа» и «уровень организации» в работах ученых дескриптивной школы как бы предполагают друг друга. Различение уровней считается важнейшим методологическим принципом. «Исследователь должен все время иметь в виду уровневые различия, и систематическая подача материала (systematic presentation) всегда должна осуществляться в логической последовательности, в одном линейном порядке (in one linear order) при тщательном различении уровней» [15].

Однако дескриптивная лингвистика не дала объективных критериев выделения «уровней организации». Кроме того, введение операционных уровней, или «уровней анализа», объективно диктуется во многом логикой хода анализа, пожалуй, иногда в большей мере, чем реальной стратификацией языкового материала, хотя учет разной степени сложности организации в языковой системе остается исходным пунктом для выведения понятий уровней. Введенным Дж. Трейджером 27 уровням анализа языкового материала вряд ли вполне соответствуют реальные уровни организации самой системы языка [16]. Недостаточно четкое разграничение операционного и онтологического значения термина «уровень» объективно ставит «уровень языка» в зависимость от «уровня анализа», несмотря на установку извлечения «уровневых утверждений» из материала.

Следует отметить, что в работах американских ученых, разрабатывающих стратификационный (т. е. по существу «уровневый») подход к анализу языка, наблюдается явное усиление внимания к изучению собственно уровневой организации самого языка. Так, С. Лэм отмечает, что в первом

[12] Как будет показано ниже, не всякое отношение по степени сложности есть отношение иерархическое и свидетельство принадлежности соответствующих единиц к разным уровням.

[13] G. L. T r a g e r, H. L. S m i t h, An outline of English structure, Washington, 1957, стр. 81.

[14] G. L. T r a g e r, Linguistics is linguistics, Buffalo — New York, 1963, стр. 24.

[15] G. L. T r a g e r, H. L. S m i t h, указ. соч., стр. 54.

[16] G. L. T r a g e r, указ. соч., стр. 24, где говорится, что язык «должен рассматриваться тремя способами... на первом уровне анализа, а затем девятью способами на втором уровне». Трейджер замечает там же, что «имеется еще и третий уровень, что в итоге дает 27 рубрик».

издании его работы «Очерк стратификационной грамматики» (1962) «акцент делался на лингвистическом описании, характеристика же свойств лингвистической структуры была подчинена этой цели, была разрозненной и фрагментарной» [17]. В новом переработанном издании, как пишет С. Лэм, «характеристике лингвистической структуры придано особое значение, она расширена и сделана более целостной (consolidated)» [18]. Согласно С. Лэму, «все естественные языки имеют по крайней мере четыре стратума, а некоторые языки, включая английский,— шесть» [19]. Такая шестистратумная структура «может рассматриваться как состоящая из трех основных частей — *семология*, *грамматика* и *фонология*, каждая из которых включает по две стратумные системы (stratal systems)» [20].

Стратификация языкового материала у С. Лэма в конечном счете вытекает из задач разработки методики описания языка.

В работах других лингвистов основное внимание уделяется анализу уровневой организации языка в связи с особенностями его единиц, хотя проблема критериев вычленения уровней в самом языке также не получает необходимого освещения. Так, Э. А. Макаев, перечислив существующие, по его мнению, уровни языка (фонологический, фономорфологический, морфемный, синтагматический, лексический и метасемиотический, т. е. уровень стилистики), дает следующую характеристику уровней: «Отличие низших уровней от высших заключается не только в том, что однолинейным единицам (т. е. единицам, данным лишь в плане выражения) низших уровней противостоят единицы двусторонние (т. е. единицы, данные одновременно и в плане выражения, и в плане содержания), но и в том, что по направлению от низших единиц к высшим, от низших уровней языка к высшим возрастает количество конститутивных единиц уровня, увеличивается архитектоническая сложность данных единиц, возрастает сложность их парадигматических и синтагматических отношений, возрастает степень их вариативности» [21].

Это есть уже собственно онтологическое понимание уровней, которые характеризуются в соответствии со свойствами единиц, составляющих уровень.

Понимание уровней в онтологическом смысле в настоящее время, повидимому, является преобладающим. Об этом, в частности, свидетельствуют материалы советско-чехословацкого симпозиума (с участием лингвистов Польши и ГДР), посвященного уровням грамматической системы языка и их взаимодействию [22]. Общность взглядов на понятие уровня как на особенность устройства самой системы языка, а также речевых систем, образующихся с помощью языковых средств [23], еще далеко не свидетельствует об общности взглядов на количество уровней в языке и их отличительные особенности. «В том, что можно условно назвать „теорией уровней“ в языкознании, сейчас наблюдается поразительный даже для нашей науки разброд. Количество уровней возросло до астрономических размеров, сама система уровней является „открытой“, т. е. потенциально

---

[17] S. M. Lamb, Outline of stratificational grammar, Washington, 1966, стр. iii.
[18] Там же.
[19] Там же, стр. 1.
[20] Там же.
[21] Э. А. Макаев, Понятие давления системы и иерархия языковых единиц, ВЯ, 1962, 5, стр. 49.
[22] См. сб. «Единицы разных уровней грамматического строя языка и их взаимодействие», М., 1969.
[23] Фр. Данеш, К. Гаузенблас, Проблематика уровней с точки зрения структуры высказывания и системы языковых средств, сб. «Единицы разных уровней...», стр. 8.

может пополниться почти любым уровнем» [24]. Причина такого положения состоит, очевидно, в отсутствии достаточно определенных объективных критериев выделения уровней [25].

Понятие уровней в лингвистике (в онтологическом смысле) чаще всего связывают с различного рода наборами или совокупностями единиц. «Исходный пункт выделения уровней обычно один и тот же: уровни выделяются соответственно основным единицам языковой системы. Различия между школами и исследователями определяются тем, какие из этих единиц считаются основными» [26].

Поскольку в языке нет ничего, кроме различного рода единиц и правил их комбинирования [27], постольку связь понятия языкового уровня с совокупностью каких-то единиц несомненна.

Трудность заключается в выборе самой совокупности единиц, которая может служить объективным основанием для выделения некоторого уровня, что в свою очередь требует выявления «уровневых» свойств единиц, т. е. таких свойств, которые могут служить отличительной характеристикой всей совокупности данных единиц. Единицы, обнаруживаемые в различных современных языках, исключительно разнообразны. Совокупность, например, производных слов в языке составляет некоторый набор единиц, отличный от набора единиц, образованных соответственно простыми и сложными словами. Набор единиц, образованный корневыми морфемами, отличен от набора единиц, состоящего из словообразовательных морфем. Набор гласных фонем отличен от набора согласных. Совокупность взрывных согласных отлична от совокупности аффрикат и т. д. и т. п. Значит ли это, что следует выделять «уровень производных слов», «уровень простых слов», «уровень сложных слов», «уровень корневых морфем», «уровень словообразовательных морфем», «уровень гласных фонем», «уровень аффрикат» и т. д.?

Если идти по этому пути, то придется выделять в языке столько уровней, сколько группировок языковых величин можно выделить. Объединение языковых величин (единиц) в различные группировки можно производить по самым различным признакам. Это может оказаться необходимым для определенных целей. Однако признание таких группировок уровнями превращает понятие уровня в простое наименование некоторых наборов единиц, выделенных по тем или иным, хотя и объективным, но частным признакам, присущим лишь части единиц, и потому в известной мере случайным, не связанным друг с другом, не обязательно характерным для общей структурной организации человеческого языка.

При таком подходе к уровням понятие уровня ставится в зависимость от выбора тех или иных признаков для группировки единиц, т. е. в зависимость от точки зрения исследователя и преследуемых им в данный момент целей. Иначе говоря, определение уровня языка в этом случае также попадает в зависимость от «уровня анализа» и рассмотрения языкового материала: уровень онтологический ставится в зависимость от уровня операционного. Выделение, например, словообразовательного уровня на основании наличия в языках словообразовательных морфем оправдано в

---

[24] А. А. Леонтьев, Проблема уровней как психолингвистическая проблема, сб. «Единицы разных уровней...», стр. 263.

[25] Проблема «объективных критериев для определения действительно основных структурных уровней» является острой и в естествознании. См.: В. И. Кремянский, Очерк теории «интегративных уровней», стр. 396.

[26] В. В. Лопатин, И. С. Улуханов, К соотношению единиц словообразования и морфонологии, сб. «Единицы разных уровней...», стр. 120.

[27] Правила комбинирования единиц в конечном счете обусловлены присущими им свойствами. По этому поводу см.: В. М. Солнцев, Язык как системно-структурное образование, М., 1971, стр. 63.

той же мере, как и выделение словоизменительного уровня. Но и словообразовательные, и словоизменительные морфемы — это всего лишь разновидности морфем как значимых несамостоятельных частей слов. В своих наиболее общих свойствах (например, с точки зрения свойства синтаксической несамостоятельности) эти виды морфем не отличаются от всех других, в том числе и знаменательных, морфем. Совокупность словообразовательных морфем есть, забегая вперед, внутриуровневая группировка единиц, входящая в общий морфемный уровень.

Если исходить из предположения, что в системе языка имеются различные уровни организации [28], т. е. уровни, в которых проявляется структурное устройство языка и выделение которых не зависит от точки зрения исследователя, а навязывается самой системой языка, то прежде всего следует выяснить, существуют ли такие свойства у единиц языка, которые присущи всем единицам языка, т. е. являются общими для всех единиц языка и могут служить единым и общим основанием для выявления места тех или иных единиц в системе языка, наподобие того, как свойство иметь тот или иной атомный вес, являясь общим свойством всех химических элементов, позволяет определить их порядковое место в общей системе элементов.

*

Свойства всех единиц языка проявляются в их отношениях с другими единицами языка. Что же касается этих отношений единиц языка между собой, то в наиболее общем виде (отвлекаясь от конкретных видов отношений) их можно свести к трем видам: синтагматические, парадигматические и иерархические. Синтагматические — это отношения единиц в линейной последовательности (иначе их называют комбинаторными); парадигматические — это, по терминологии Ф. де Соссюра, ассоциативные отношения (группировки единиц в классы на основании общности или сходства их некоторых существенных свойств); иерархические отношения — это отношения по степени сложности, или отношения «вхождения» (компонентности) менее сложных единиц в более сложные. Иерархические отношения могут быть определены в терминах «входит в... » или «состоит из...» [29].

Синтагматические отношения могут характеризоваться отношением реального (актуального) взаимодействия. В абстрактной форме они могут быть представлены как отношения некоторых классов. Парадигматические отношения никогда не характеризуются отношением реального взаимодействия, так как они представляют собой отношения относительно однородных единиц, образуемых, говоря словами Ф. де Соссюра, по «умственной

[28] А именно к этому подводят исследования различных авторов, касающихся проблемы уровней или стратификации языкового материала.

[29] Здесь следует сделать одно существенное уточнение. Иерархические отношения — это всегда отношения по степени сложности. Отношения сложности, однако, не всегда являются иерархическими, или отношениями «вхождения». Так, слова разного морфемного состава обладают разной степенью сложности, например, *стол* и *стол-ик-у*. Однако между этими словами нет отношения «вхождения». В состав слова *столику* входит не слово *стол*, а морфема *стол-*. По своим общим грамматическим свойствам слова *стол* и *столик* в системе русского языка являются однородными: и то, и другое слово принадлежит к классу существительных. В этом смысле они могут быть охарактеризованы как единицы, не находящиеся в иерархических отношениях.

При разной степени сложности двух единиц отношения между ними характеризуются как иерархические только при условии возможности определения этих отношений в терминах «состоит из...» или «входит в...». В том же случае, когда две единицы, типа *стол* и *столик*, обладающие разной сложностью своего состава, не обнаруживают иерархических отношений, они могут быть определены как единицы относительно однородные и в определенном смысле как единицы одной степени сложности.

ассоциации» [30]. Иерархические отношения — это отношения вхождения более простой единицы в более сложную. Это отношения целого и части, т. е. отношения, характеризующие строение различных единиц (как собственно языковых, так и речевых, образуемых в процессе использования языковых средств) [31].

Способность вступать в указанные три вида отношений относится к числу наиболее общих свойств всех единиц языка. Все эти три вида отношений определенным образом между собой связаны.

Наблюдения показывают, что в синтагматические отношения могут вступать отнюдь не любые единицы языка, но лишь единицы относительно одинаковой степени сложности (относительно однородные единицы). Так, например, в линейной последовательности фонемы не сочетаются ни с морфемами, ни со словами, но только с другими фонемами; морфемы не сочетаются ни с фонемами, ни со словами, но только с другими морфемами, слова сочетаются только с другими словами, но не с предложениями и не со словосочетаниями [32].

Способность соответствующих единиц вступать в синтагматические отношения сопровождается способностью тех же единиц вступать в парадигматические отношения. Так, фонемы группируются в различные классы, или парадигмы, например, классы гласных и согласных. Эти классы в свою очередь объединяются в общий класс «фонем». Такой класс является предельно широким объединением данных единиц (фонем) в языке. Его уже нельзя объединить в более широкий класс ни с какими другими единицами языка. Морфемы (понимаемые как значимые части слов, т. е. в бодуэновском смысле) могут образовывать различные группировки, или классы: классы знаменательных морфем, словообразовательных морфем, словоизменительных морфем, и т. д. Все морфемы языка составляют общий класс «морфем», являющийся предельно широким объединением морфем. То же самое можно сказать и о словах, которые образуют различные группировки (классы), например, существительных, глаголов и т. п., классы слов знаменательных и слов служебных и т. д. Все слова в своей совокупности образуют предельно широкое объединение данных единиц (слов) в языке.

---

[30] Ф. де Соссюр. Курс общей лингвистики, М., 1933, стр. 123.

[31] Следует также оговорить, что под иерархическими отношениями понимаются отношения качественно различных единиц разной степени сложности, из которых одна является компонентом другой. Нужно иметь в виду, что термины «состоит из...» и «входит в...» могут характеризовать и другой тип отношений, а именно отношение элемента и множества: множество состоит из элементов, элементы «входят» в множество. Однако множество есть лишь совокупность относительно однородных единиц, но не качественно новая единица.

[32] При «сочетании» слова с каким-либо словосочетанием, например, *купил интересную книгу* слово *купил* соединяется со словосочетанием *интересную книгу* через посредство стержневого слова этого словосочетания — *книгу*. «Сочетание» слова со словосочетанием по форме всегда выступает как связь двух слов, одно из которых (входящее в словосочетание) распространено другим словом. Это касается как свободных словосочетаний, так и различных идиоматических словосочетаний. Например, идиома *сломя голову* присоединяется к глаголу *бежать* через посредство слова *сломя*. Ср. *бежать*, *сломя голову* и *бежать*, *припадая на ногу*. В рамках данной статьи нет возможности разбирать случаи, когда в качестве какого-либо члена предложения выступает в свою очередь предложение, т. е. как будто имеет место сочетание предложения со словом, образующим другой член предложения, а также случаи, когда при близости свойств простого слова и морфемы (например, в изолирующих языках), наблюдается как бы сочетание слова с морфемой. Эти явления не отменяют общего правила, согласно которому в синтагматические отношения вступают относительно однородные единицы. Разбор этих явлений см. в работе: В. М. Солнцев, указ. соч., стр. 79, 82.

Что же касается некоторых видов служебных слов (союзов), то они не столько «соединяются» с предложениями, сколько «соединяют» предложения, являются своего рода посредниками между предложениями.

Предельно широкие объединения единиц можно назвать сверхклассами, или сверхпарадигмами.

Объединение единиц в сверхклассы, или сверхпарадигмы подчиняется определенным правилам, поскольку всякая языковая парадигма не есть простой набор или случайный класс единиц, а есть класс, образующийся на основании определенных свойств и признаков единиц. (Поэтому можно сказать, что всякая языковая парадигма есть класс единиц, но не всякий класс единиц есть языковая парадигма). Процедуру объединения единиц в сверхпарадигмы с известной долей упрощения можно показать на примере таких единиц, как слова. Каждое слово, если оно обладает системой разных грамматических форм (*дом*, *дома*, *дому*, *домом*, *домами*), само по себе есть некоторая малая парадигма. В качестве «малой парадигмы» слово *дом* (взятое как система, т. е. парадигма форм), объединяется с другими «малыми парадигмами», обладающими сходными или аналогичными свойствами, например, словами *столб*, *камень*, *книга* и т. д. в класс (парадигму) существительных. Парадигмы, представляющие собой знаменательные части речи, образуют большую парадигму знаменательных слов. Точно так же все разряды слов служебных образуют свою большую парадигму служебных слов. Слова знаменательные и слова служебные объединяются в сверхпарадигму слов. Общим свойством как знаменательных, так и служебных слов, отличающим их от морфем всех типов, является свойство синтаксической самостоятельности и отдельности.

В каждом сверхклассе, или сверхпарадигме обнаруживаются только относительно однородные единицы, т. е. единицы, могущие вступать между собой в синтагматические отношения. Так, в одном сверхклассе не могут быть одновременно представлены фонемы и морфемы, фонемы и слова и т. д. В сверхклассы объединяются только единицы, обладающие способностью к линейной (синтагматической) сочетаемости [33].

Представители (члены) сверхклассов не вступают с представителями (членами) других сверхклассов ни в парадигматические, ни в синтагматические отношения. Между членами разных сверхклассов могут быть только иерархические отношения, или отношения вхождения, которые и определяются в терминах «состоит из...» или «входит в...». Так, фонема входит в состав звуковых оболочек морфем (и уже в составе звуковых оболочек морфем — в слова), морфемы входят в слова, слова входят в предложения.

Сверхпарадигмы, представляющие собой совокупности относительно однородных единиц, являются такими объективными группировками единиц, выделение которых осуществляется по единым, общим для всех единиц языка признакам. Такие сверхпарадигмы и представляют собой уровневые объединения единиц или уровни системы языка.

Уровень включает в себя совокупность всех относительно однородных единиц (единиц одной степени сложности), которые могут вступать между собой в синтагматические и парадигматические отношения, но не могут находиться в иерархических отношениях (фонемы не могут состоять из фонем, морфемы не могут состоять из морфем, слова не могут состоять из слов) [34].

---

[33] Имеется в виду принципиальная возможность сочетаемости. В действительности же в разных языках имеются определенные ограничения в сочетаемости и фонем, и морфем, и слов. (Например, в русском языке наречия, как правило, не сочетаются с существительными и т. п.). Речь идет лишь о том, что фонемы сочетаются именно с фонемами, морфемы с морфемами, а слова со словами.

[34] Ср. близкую к приведенной характеристику отношений единиц одного уровня между собой и с единицами других уровней у Э. Бенвениста: «Вследствие того что языковые сущности дискретны, они допускают два типа отношений — отношения

Уровень языка как сверхпарадигма отражает парадигматическое строение всех единиц языка. Такие «простые» единицы, как фонема и морфема, сами по себе уже представляют собой некоторые парадигмы («малые парадигмы») — фонема есть класс функционально тождественных (и обычно фонетически сходных) звуков, морфема есть класс своих конкретных разновидностей (морф, или алломорф). Объединяясь с другими «малыми парадигмами», фонемы, например, образуют классы фонем, морфемы — классы морфем и т. д.

Сверхпарадигма (уровень) является результатом «исчерпывания» способности единиц определенного типа к парадигматическому объединению с подобными ей единицами. Парадигматические свойства единиц в пределах уровня оказываются полностью реализованными. По отношению к единицам других уровней единицы данного уровня уже не могут реализовать своих парадигматических свойств, поскольку единицы других уровней характеризуются иным качественным своеобразием, что исключает объединение их в общий класс по «умственной ассоциации» (т. е. на основании существенно общих свойств). В пределах уровневого объединения «исчерпываются» (т. е. полностью реализуются) и все синтагматические свойства единиц, т. е. их способность к актуальному сочетанию (комбинированию) в линейной последовательности.

Сверхпарадигмы, или уровни, представляют собой в каждом языке упорядоченные множества единиц и, в силу этого, являются некоторыми системами (подсистемами общей системы языка). Каждый уровень и его единицы характеризуются качественным своеобразием, что и позволяет говорить об уровне организации в самой системе языка. Границы между уровнями означают «переломы качества». Так, если синтаксически самостоятельная единица — слово (т. е. единица, относящаяся к словесному уровню), приобретает качество синтаксически несамостоятельной части слова — морфемы [35] (т. е. единицы морфемного уровня), то в этом случае происходит качественное изменение единицы. Аналогично, при обратном процессе «оживления» слова из морфемы (иногда даже из суффиксальной) у единицы возникает новое качество. (Ср., например, английский суффикс числительных, «восстановивший» качество слова: a girl in her teens.)

Единицы, составляющие уровневую организацию, или систему (подсистему), являются элементами по отношению к этой системе и потому являются неделимыми в пределах своего уровня. Так, слово любого морфемного состава (т. е. сама по себе сложная единица), являясь элементом словесного уровня, также неделимо в пределах своего уровня, как, например, фонема в пределах своего, а морфема в пределах морфемного уровня. Деление на части любого слова ведет к переходу на другой уровень, т. е.

между элементами разных уровней или отношения между элементами одного уровня. Эти отношения необходимо строго различать. Между элементами одного уровня имеют место дистрибутивные отношения, а между элементами разных уровней — интегративные» (Э. Бенвенист, указ. соч., стр. 441). Дистрибутивные отношения у Э. Бенвениста включают синтагматические и парадигматические отношения (там же, стр. 435), а интегративные характеризуются по способности единицы быть «составной частью» единицы высшего уровня, «интегрантом которого она становится» (там же, стр. 441).

[35] По поводу происхождения морфем из самостоятельных слов см., например, работы: Ф. Ф. Фортунатов, Сравнительное языковедение, «Избр. труды». 1, М., 1956, стр. 148; Б. А. Серебренников, О сущности процессов изменения слов и словосочетаний и о природе и характере структуры слова в тюркских и финно-угорских языках, сб. «Морфологическая структура слова в языках различных типов», М.— Л., 1963, стр. 216; К. Е. Майтинская, Об отграничении слова от части слов (на материале финно-угорских языков), сб. «Морфологическая структура слова...», стр. 92.

к единицам другой системы (подсистемы) [36]. Именно поэтому между единицами одного и того же уровня нет иерархических отношений, или отношений «вхождения», характеризуемых в терминах «входит в...» или «состоит из...». Слова никогда не состоят из слов, фонемы из фонем, морфемы из морфем, предложения из предложений. В составе сложных предложений составляющие их предложения, как известно, утрачивают качество самостоятельных предложений [37].

Иерархические отношения характеризуют только отношения между единицами разных уровней, т. е. отношения качественно различных величин. При этом переход от единицы более низкого уровня к единице более высокого уровня осуществляется, как правило, в результате комбинирования, т. е. реализации синтагматических свойств элементов более низкого уровня (речь идет, еще раз подчеркиваю, об устройстве языка в его синхронном состоянии). Так, комбинации фонем составляют звуковые оболочки морфем, комбинации морфем образуют слова, а комбинации слов — предложения [38]. Но это значит, что в синтагматике языка (в его речевых цепях) представлены иерархические отношения. Иными словами, синтагматические отношения выступают формой существования иерархических отношений. Поэтому в предложении оказываются представленными своими отношениями все уровни языка. Это в свою очередь означает, что все уровни могут быть обнаружены в речевой цепи, или в синтагматике. В силу этого вряд ли можно считать справедливым замечание С. Д. Кацнельсона о том, что «добывая языковые единицы непосредственно из фразы, и располагая их по уровням в зависимости от последовательности их вычленения из фразы, теория уровней явно упрощает дело. Из двух типов отношений, характеризующих речевую деятельность,— парадигматических и комбинационных — она, в сущности говоря, учитывает только комбинаторные» [39]. Но ведь все дело именно в том, что синтагматика есть форма существования иерархичности. Поэтому «добывать» единицы разных уров-

---

[36] Ср. с этим замечание Г. Клауса о применении операции деления к системе натуральных чисел: «Любое применение операции деления выводит нас за пределы системы, так как могут возникнуть числа, уже не являющиеся натуральными, например, дроби» (Г. К л а у с, указ. соч., стр. 118).

[37] Т. П. Ломтев связывает понятие уровня с отношениями порядка, понимая под отношениями порядка отношения типа «больше или меньше», «старше или моложе», «длиннее или короче». «Уровнем мы будем называть место данного объекта в множестве других объектов, связанных отношением порядка» (Т. П. Л о м т е в, Отношения порядка как основание выделения уровней синтаксических объектов, сб. «Единицы разных уровней...», стр. 143). Последовательность уровней Т. П. Ломтев в связи с этим строит на основе «принципа деривационности» (там же, стр. 144). В соответствии с этим у него основа *писа-*, слова *писатель* и *писательский* оказываются объектами трех разных уровней (там же, стр. 146). В соответствии с излагаемой здесь точкой зрения на уровни, слова любой сложности, в той мере, в какой они являются именно словами, являются объектами одного уровня. Это же относится и к предложениям разной сложности. С нашей точки зрения, отношения порядка, истолкованные в смысле «больше или меньше», «длиннее или короче», не могут быть свидетельством иерархических отношений, т. е. отношений компонентности, обуславливающих качественное различие объектов, принадлежащих разным уровням.

[38] Это так называемые нормальные случаи различия единиц разных уровней. В частных же случаях, при «нейтрализации» внешних различий единиц разных уровней качественно разные единицы могут внешне не различаться, как в примере А. А. Реформатского: *eo rus* «я еду в деревню», *i* — «поезжай!», где *i* — фонема, морфема, слово и предложение (А. А. Р е ф о р м а т с к и й, Введение в языкознание, М., 1955, стр. 21). В этом случае качественные (уровневые) различия единиц устанавливаются косвенно, путем сопоставления таких «вырожденных» случаев с нормальными.

[39] С. Д. К а ц н е л ь с о н, О теории лингвистических уровней, стр. 37. См. также: С. Д. К а ц н е л ь с о н, Типология языка и речевое мышление, стр. 99, где излагаются аналогичные идеи.

ней моя но только из фразы [40]. Другое дело, что объединение единиц одной степени сложности (т. е. относительно однородных единиц) в сверхпарадигму (уровень) требует выхода за пределы синтагматики и учета способности единиц объединяться в классы, т. е. учета их парадигматических свойств. Но это, в конечном счете, опять предполагает обращение к речевой цепи (синтагматике), поскольку членами одной парадигмы обычно считаются такие элементы, которые либо занимают в речевой цепи «одно и то же место» (без каких-либо ограничений), либо же при употреблении в речевой цепи находятся в отношениях «дополнительной дистрибуции», как, например, разные формы одного и того же слова.

*

Распределяя языковый материал по «участкам» — фонетика (фонология), морфология, лексикология, синтаксис — традиционная лингвистика интуитивно или вполне осознанно опиралась на качественное своеобразие разных единиц и, по сути дела, проводила в известном смысле уровневое разбиение языкового материала, хотя и не пользовалась термином «уровень». Отсутствие общих критериев препятствовало, однако, достаточно четкому разграничению уровней. Впрочем нечеткость разграничения уровней сохранилась и после введения самого понятия «уровень».

Применение единого критерия в виде трех типов отношений (синтагматических, парадигматических и иерархических), свойственных каждой единице языка, может служить ориентиром, или исходным принципом для выделения уровней, но не позволяет механически распределить все языковые величины по уровням. Для распределения всех величин по уровням требуется решение ряда дополнительных проблем. Одной из сложных проблем является выяснение вопроса о том, к отношению каких единиц и в какой мере применимы термины «входит в...» или «состоит из...».

В упоминавшейся работе Э. Бенвениста об уровнях, где четко сформулированы основные типы отношений, в которые могут вступать единицы разных уровней, в качестве самого низшего уровня выделяется субфонематический, или «меризматический» уровень. Его единицами признаются дифференциальные, или различительные признаки фонем [41]. Э. Бенвенист отмечает невозможность сегментации дифференциальных признаков, что влечет за собой отсутствие синтагматических отношений между этими признаками, но допускает возможность их субституции, что, по его мнению, свидетельствует о возможности установления парадигматических отношений между ними. Это и служит для него основанием для выделения данного уровня [42]. Если даже согласиться с возможностью субституции отдельных дифференциальных признаков другими [43], то остается открытым вопрос о возможности применения к отношению между признаками и объектами, свойствами которых они являются, понятий «состоит из...» и «входит в ...». Вообще говоря, объект о б л а д а е т признаками, но не с о-

[40] Различные «уровни» присутствуют во фразе одновременно. Их следует только поэтапно вычленять. Такое поэтапное вычленение хорошо иллюстрируется Дж. Трейджером и Г. Смитом на примере анализа фразы *Long Island is a long island*. См.: G. L. T r a g e r, H. L. S m i t h, указ. соч., стр. 68 и сл.

[41] Э. Б е н в е н и с т, указ. соч., стр. 436.

[42] Там же, стр. 436. Согласно Э. Бенвенисту, различительные признаки выделяются «внутри фонемы» (там же, стр. 435).

[43] Это, с моей точки зрения, по меньшей мере спорно, поскольку, как отмечает сам Э. Бенвенист, «никакой из признаков не может быть реализован сам по себе, вне фонетической артикуляции, в которой он проявляется» (там же, стр. 436). Последнее означает, что субституция признаков в пределах одной фонемы невозможна. Замена признака другим означает появление другой фонемы. Поэтому субституция признаков является лишь мысленной операцией.

с т о и т из них. Камень не может состоять из веса, объема, твердости. Резина обладает свойством упругости, но упругость не есть ее составная часть. Точно так же отношения между фонемой и ее различительными признаками вряд ли могут быть определены как отношения компонентности (вхождения) [44], или, по Э. Бенвенисту,— отношения интегративные.

Поэтому различительные признаки не составляют такого же уровня языка, как, например, фонемы. Они — лишь свойства единиц определенного уровня. Да и сам отмечаемый Э. Бенвенистом факт отсутствия синтагматических отношений у этих признаков говорит о неприменимости к ним «уровневых критериев».

Учет основных уровневых признаков сам по себе не может также решить вопроса о статусе в системе уровней языка того или иного выделенного уровня. Так, например, высказанное Э. Бенвенистом предположение о том, что предложение представляет собой единицу самого высокого уровня, было подвергнуто сомнению К. Пайком, допускающим существование еще более высоких уровневых объединений [45]. Следовательно, вопрос о реальном количестве уровней организации, определяемом по наиболее общим свойствам единиц языка, требует специального рассмотрения и анализа, выходящего за рамки настоящей статьи.

Здесь можно лишь кратко коснуться двух вопросов, связанных со строением уровней: вопроса о характере единиц, входящих в уровень, и вопроса о комбинациях единиц одного уровня, не ведущих к образованию качественно новых единиц другого уровня.

Единица фонемного уровня — ф о н е м а — представляет собой абстрактную единицу языковой системы, которая реально существует в виде класса функционально тождественных (и обычно фонетически сходных) звуков. Фонема представляет собой инвариант, т. е. идеальный объект, в котором отражены общие свойства целого класса конкретных звуков, являющихся вариантами данной фонемы. В силу этого каждый конкретный звук, принадлежащий к данному классу, несет в себе ф о н е м н ы е свойства и по существу является к о н к р е т н о й ф о н е м о й. Иначе говоря, фонема как абстракция существует в своих вариантах, как общее существует в отдельном. Конкретные звуки — варианты фонемы, называют фонами или аллофонами. Они и являются конкретными фонемами. Термин же «фонема» представляет собой краткое наименование класса конкретных фонем. Таким образом, различие между фонемой и фоном (аллофоном) есть различие абстрактной и конкретной единицы. Фонема и фон есть разное обозначение одной и той же единицы, рассмотренной в абстрактной форме (в качестве инварианта) и в конкретной форме (в качестве реального звука — фона, наделенного определенной функцией).

С этой точки зрения, звуки (фоны) и обозначения классов, образованных функционально тождественными звуками,— фонемы не являются единицами разных уровней языка. Между фонемой как абстрактной единицей и звуком (фоном) нет иерархического отношения: звук не есть составная часть (компонент) фонемы. Звук (фон) есть конкретная фонема.

Аналогичное рассуждение может быть применено к таким единицам, как морфема и морф (алломорф). Морфема и морф не являются единицами разных уровней. Морф есть конкретная морфема. Морфема есть абстрактная единица, которая существует в каждом конкретном морфе и является кратким наименованием класса семантически и функционально тождест-

[44] По этому поводу см.: А. П. Е в д о ш е н к о, Проблема структуры языка, Кишинев, 1967, стр. 3, 32; В. М. С о л н ц е в, указ. соч., стр. 196—200.

[45] «Proceedings of the IX international congress of linguists», The Hague, 1964, стр. 283 (выступление по докладу Э. Бенвениста).

венных морфов. Точно так же с л о в о, с одной стороны, выступает как некоторая абстрактная единица — «слово вообще» и (в этом качестве его иногда называют лексемой) как реальное слово, характеризующееся реальным звуковым обликом.

В онтологии языка единицы, составляющие уровни, существуют в виде классов конкретных единиц, которые в абстрактной форме выступают как абстрактные единицы. Абстрактные единицы, например, фонема или морфема, отражают упорядоченность и организацию конкретных единиц, каждая из которых может быть рассмотрена как «представитель» абстрактной единицы. В известном смысле, можно, по-видимому, говорить, что единицы одного уровня представлены в виде абстрактных и конкретных единиц. И хотя абстрактные единицы не имеют самостоятельного (вне конкретных единиц) существования, они дают название данному уровню и рассматриваются как собственно уровневые единицы именно в силу того, что они отражают упорядоченность конкретных единиц, входящих в данное уровневое объединение [46]).

Поскольку абстрактные единицы существуют в конкретных, постольку, например, наряду со словоупотреблением «конкретное слово состоит из морфов» правомерно выражение «слово состоит из морфем».

Что касается второго поставленного выше вопроса, то надо отметить следующее. Слово как единица словесного уровня представляет собой комбинацию морфем, однако не всякая комбинация морфем образует синтаксически самостоятельную единицу — слово. Комбинация морфем может быть синтаксически несамостоятельной частью слова — основой (например, во флективных языках, где основа есть часть слова за вычетом «изменяющейся части» слова). Комбинация фонем — слог только в некоторых, например, в так называемых изолирующих языках (китайский, вьетнамский и др.), есть звуковая оболочка морфемы или слова. Во многих других языках слог есть лишь фонетическая единица — «дуга произносительного напряжения», которая не совпадает со звуковой оболочкой морфемы. Наконец, во всех языках предложение есть сочетание слов, но не всякое сочетание слов есть предложение. Комбинация слов может быть с л о в о с о ч е т а н и е м.

Такие единицы, как с л о г, о с н о в а, с л о в о с о ч е т а н и е «состоят из» единиц соответствующих уровней, но они не обладают качественно новыми свойствами, необходимыми для квалификации их как единиц другого уровня (слог не обязательно есть носитель смысла, основа есть несамостоятельная часть слова, словосочетание не обладает свойством предикативности, а, как и слово, обладает номинативной функцией).

Следовательно, не всякая комбинация единиц одного уровня образует единицу вышестоящего уровня. Для образования единицы более высокого уровня требуется появление нового качества. Наличие единиц типа перечисленных выше, позволяет, по-видимому, говорить о существовании в языках единиц, находящихся вне основных уровневых объединений и образующих своего рода промежуточные межуровневые слои единиц. По своим свойствам такие единицы, однако, тяготеют к единицам тех уровней, из которых они составлены. Все это свидетельствует о сложности уровневой организации языка и требует специальных исследований [47].

---

[46] В свете сказанного вряд ли правомерно относить к разным стратумам языка такие единицы, как фон и фонема, морф и морфема и т. д., как это сделано у С. Лэма (S L a m b, указ. соч., стр. 20), если понимать уровень, или стратум языка в онтологическом смысле, а не в смысле уровня анализа.

[47] Наличие промежуточных, переходных случаев вообще весьма характерно для языковых явлений. К языку в полной мере применимы слова Ф. Энгельса о несовместимости с теорией развития hard and fast lines (Ф. Э н г е л ь с, Диалектика природы,

*

В отличие от таких единиц, как фонема, морфема и слово, являющихся, говоря словами Л. В. Щербы, принадлежностью репертуара языка «как системы», конкретное предложение является принадлежностью речи. Предложение уже не средство, а продукт применения языка, результат речевой деятельности. Если названные выше единицы обладают, согласно А. И. Смирницкому, свойством воспроизводимости в готовом виде [48], то предложение обладает свойством производимости в речи. Поэтому предложение и определяется как единица речи.

Та иерархичность отношений, которая характеризует отношения единиц разных уровней в системе языка, характеризует также и отношения единиц языка, например, слов, и такой единицы речи, как предложение. В свободно образуемой в речи единице — предложении (как уже говорилось, предложение есть система, несущая информацию) обнаруживается тот же системный принцип отношения более низких и более высоких образований, характеризуемый в терминах «состоит из...» или «входит в...»: предложения состоят из слов, слова входят в предложение. Более высокое образование качественно отлично от составляющих его частей. Предложение выражает и несет связную информацию, или, говоря словами школьной грамматики, выражает относительно законченную мысль. Слово же выражает отдельные смыслы (значения), которые сами по себе не составляют связной информации.

Помимо предложений, речевыми образованиями (единицами речи) могут быть и некоторые свободно образуемые в речи слова типа *стосабельный*, *трехсотсабельный* и т. д. (не говоря уже о так называемых свободных словосочетаниях). Слова — единицы речи состоят из морфем точно так же, как состоят из морфем воспроизводимые в готовом виде слова — единицы языка [49]. Принцип «состоит из....» применим и к собственно единицам языка, и к образуемым из них единицам речи. В конечном счете, единицы речи состоят из единиц языка. Компонентами предложения могут быть как слова — единицы языка, так и слова — единицы речи (например, *в деревню прибыл пятидесятисабельный отряд*). Морфемы никогда не производятся в речи. Они всегда являются принадлежностью языка «как системы». В речевой же системе — предложении, морфема и предложение оказываются связанными в единой иерархической цепочке, где морфема и предложение оказываются крайними точками этой цепи. Морфема входит в предложение, предварительно войдя в состав слова, которое, будучи делимо на морфемы, выступает как неделимый элемент более высокой системы — предложения.

Схематически систему иерархической зависимости, обнаруживаемой в речевой системе, несущей информацию, можно изобразить следующим образом:

Морфема —— слово —— предложение

(простоты ради я оставляю в стороне все остальные единицы).

Таким образом, оказывается, что единицы низших уровней, например, морфемы и образуемые ими уровни, принадлежат языку как средству, а

в кн.: К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 2-е изд., т. 20, стр. 527), т. е. об отсутствии абсолютных граней, разделяющих явления, что, конечно, ни в малой мере не отрицает наличия у явлений качественной определенности, позволяющей различать сами эти явления.

[48] См.: А. И. Смирницкий, Синтаксис английского языка, М., 1957, стр. 14.

[49] Различие слов — единиц языка и слов — единиц речи состоит лишь в том, что слова — единицы речи являются результатом свободного комбинирования морфем по стандартному правилу. Подробнее см.: В. М. Солнцев, указ. соч., стр. 148—160.

единицы высших уровней, например, предложения и образуемый ими уровень, принадлежат речи, т. е. применению языка. Слова же, если считать их единицами некоторого среднего уровня (более высокого, чем уровень морфем, и более низкого, чем уровень предложений), могут принадлежать как собственно языку (воспроизводимые слова), так и речи (производимые слова). В силу этого этот уровень, в отличие от низших и высших уровней, включает как единицы языка, так и единицы речи. Если язык есть орудие или средство, а речь—применение этого средства, то речь можно считать «языком в работе», в функционировании. Для языка как средства общения словесный уровень является высшим уровнем. Образованные с помощью единиц этого уровня единицы, как правило, уже принадлежат речи (за исключением фразеологизмов и идиом).

Системное свойство языка как средства — уровневая организация не только выявляется в речи, но и сама присуща речи как таковой. Поэтому уровневая организация охватывает и язык как средство, и его применение — речь. Низшие уровни характеризуют только сам язык как средство, высшие — характеризуют речь как применение языка. Отнесение низших уровней к языку, а высших — к речи является следствием того, что язык есть такая система (упорядоченное множеством элементов), из элементов которой в процессе речи образуются различные упорядоченные системы, несущие информацию. Правила же образования речевых систем заложены в самом языке как средстве [50].

*

Уровневая организация языка есть объективное свойство системы языка. В свете изложенного выше, уровень языка можно определить как предельно широкую совокупность относительно однородных единиц (сверхкласс или сверхпарадигму), которые в пределах своего уровня не обнаруживают иерархических отношений друг к другу, но реализуют все свои синтагматические и парадигматические отношения. Единицы, принадлежащие одному уровню, характеризуются качественным своеобразием, отличающим их от единиц других уровней, с которыми они не вступают ни в синтагматические, ни в парадигматические отношения, но только в иерархические отношения.

В общей системе языка уровни представляют собой определенные подсистемы, обладающие своей внутренней упорядоченностью, т. е. структурой. Уровни связаны между собой в единой системе языка через свои единицы.

Выявление уровней системы языка имеет важное значение для раскрытия сущности системной организации языка и познания его природы.

Уровни как особенность организации языкового материала предполагают и соответствующие «уровни его анализа». Если понимать под уровнями анализа этапы, или фазы рассмотрения языкового материала, то таких уровней может оказаться значительно больше, чем уровней организации языка. Единицы, составляющие один какой-либо уровень языковой системы, могут (и обычно должны) рассматриваться поэтапно, с разных сторон, с разными целями. Фонема может рассматриваться как целостное средство различения звуковых оболочек двусторонних единиц и как объект, обладающий определенными свойствами (например, различительными при-

[50] Единство системы уровней, охватывающей как явления языка, так и явления речи, нашло свое отражение в самом заглавии упоминавшейся работы Фр. Данеша и К. Гаузенбласа: «Проблематика уровней с точки зрения структуры высказывания и системы языковых средств».

знаками). Во втором случае, очевидно, можно говорить о рассмотрении фонемы в плане ее различительных признаков, т. е. об «уровне анализа» фонемы с точки зрения ее определенных свойств. Однако такой уровень рассмотрения еще не свидетельствует о наличии единиц, составляющих самостоятельный уровень организации языка. Различительные признаки являются свойствами объектов (фонем), принадлежащих одному уровню.

«Уровни анализа» зависят от выделяемых исследователем для рассмотрения свойств и сторон объектов, т. е. связаны с точкой зрения на объекты познающего эти объекты субъекта. «Уровни организации» представляют собой объективные особенности устройства объекта (языка). Их выделение зависит только от правильности нахождения их объективных признаков и свойств, различающих их в самом системном объекте.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1972

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

А. В. БОНДАРКО

К ТЕОРИИ ПОЛЯ В ГРАММАТИКЕ — ЗАЛОГ И ЗАЛОГОВОСТЬ
(На материале русского языка)

I. Поля, рассматриваемые в этой статье (мы называем их функционально-семантическими), представляют собой группировки языковых элементов, для которых характерны следующие черты: 1) наличие общих инвариантных семантических функций у элементов, образующих данную группировку; 2) взаимодействие не только однородных, но и разнородных элементов, в частности грамматических и лексических; 3) структура, в которой определяющую роль играют следующие признаки: а) членение «центр (ядро) — периферия»; б) постепенные переходы между компонентами данной группировки и разными группировками, частичные пересечения, «общие сегменты» [1].

Необходимо различать: а) поле как особый тип системы — группировки, связей и взаимодействия языковых элементов в самой языковой действительности, т. е. поле как объективную данность [2] и б) принцип поля, т. е. подход к фактам языка с точки зрения теории поля как отражение этой объективной данности в приемах лингвистического анализа. Между структурой поля в объекте анализа и «полевым подходом» к языковым явлениям существует основное отношение детерминации: структура объекта определяет приемы его исследования [3].

---

[1] Данное определение во многом опирается на существующие работы по проблеме поля применительно к грамматическим и связанным с ними явлениям, прежде всего, если иметь в виду литературу последнего времени,— работы В. Г. Адмони, Е. В. Гулыги и Е. И. Шендельс, Фр. Данеша, Г. С. Щура, А. А. Хадеевой-Быковой (ссылки даны в последующем изложении). См. библиографию в статье: Г. С. Щ у р, О новом и старом в теориях поля в лингвистике, «Уч. зап. [Ярославск. пед. ин-та]», 73, 1970. Наша трактовка функционально-семантического поля основана главным образом на исследовании вида, времени и других категорий русского глагола. Мы сосредотачиваем внимание на тех полях, в центре которых находятся грамматические категории.

[2] О структуре поля как объективном свойстве системы языка см.: В. Г. А д м о н и, Основы теории грамматики, М.— Л., 1964, стр. 49; см. также: Г. С. Щ у р, О соотношении между некоторыми категориями в лингвистике, «Уч. зап. фак-та ин. яз. [Тульск. пед. ин-та]», 2, 1969, стр. 234.

[3] Каждая черта «полевого подхода» так или иначе связана с лингвистической традицией. Последняя, как правило, обходилась без самого термина «поле», но замечала и разрабатывала многое из того, чем занимается теория поля. Качественная специфика «полевого подхода» заключается прежде всего в концентрации и систематизации ряда принципов и приемов анализа, которые раньше не рассматривались как единое целое, а также в том, что некоторые стороны лингвистического анализа подчеркиваются, эксплицируются и детализируются в контексте современных трактовок языковых систем. Принцип поля представляет одну из сторон системного (в частности, структурно-функционального) анализа языковых фактов.

Изложим основные соображения о каждом признаке функционально-семантического поля в отдельности [4].

1. Общность семантических функций. Здесь речь идет о таких функциях, как выражение модальных, темпоральных, аспектуальных, залоговых отношений. Семантико-функциональная общность служит основой, на которой объединяются разнородные языковые элементы — морфологические, синтаксические, словообразовательные, лексические [5]. Эти элементы различны по принадлежности к той или иной стороне языка, по структурной организации и другим своим свойствам, но общность семантических функций объединяет их, создавая возможность их взаимодействия.

Такая общность означает принадлежность семантических элементов, выраженных различными языковыми средствами, к определенной семантической зоне. Инвариантной для этой зоны является лишь наиболее общая семантическая черта, находящаяся как бы на вершине иерархии (например, для поля темпоральности — выражение временных отношений), тогда как на более низких ее ступенях широко представлено семантическое варьирование. Каждое из языковых средств, относящихся к данному полю, имеет свое специфическое значение — либо грамматическое, либо лексическое, либо словообразовательное. Функционально-семантическое поле не охватывает эти значения полностью, оно отбирает лишь сопоставимые друг с другом семантические элементы и интегрирует их. Например, в лексическом значении глаголов типа *обещать*, *надеяться*, *мечтать* для выражения темпоральных отношений релевантен лишь элемент потенциальной отнесенности действия, раскрывающего содержание обещания, надежды и т. д., к будущему (*обещал приехать* и т. п.).

Семантические функции составляющие план содержания рассматриваемых полей, не тождественны понятийным (логическим, мыслительным) категориям, хотя и связаны с ними, опираются на них. Функционально-семантические поля — это конкретно-языковые двусторонние единства, план содержания которых включает в себя семантические элементы в интерпретации именно данного языка. Отсюда вытекает «поверхностная» трактовка таких полей. Это не исключает связи с глубинным уровнем: семантические функции, носителями которых являются элементы данного поля, представляют собой поверхностную реализацию определенных глубинных понятийных категорий. Понятийные категории глубинного уровня, с одной стороны, реализуются в вариантах общезначимых, а с другой — в таких вариантах, которые составляют специфическую особенность данного языка или группы языков. Поэтому план содержания определенного поля в изучаемом языке разнороден: здесь переплетаются универсальные и неуниверсальные элементы. Так, в семантическом содержании категории вида (ядра поля аспектуальности в славянских языках), с одной стороны, обнаруживаются признаки, которые не являются специфическими только для славянских языков (длительность, процессность, повторяемость или неповторяемость и т. д.), а с другой стороны, сильно проявляется специфическая конкретно-языковая интерпретация характера протекания действия, не имеющая абсолютно адекватного соответствия в других языках; таков, например, признак неделимой целостности дей-

[4] Эти замечания дополняют характеристику функционально-семантических полей, данную в кн.: А. В. Бондарко, Грамматическая категория и контекст, Л., 1971, стр. 3—75.

[5] Семантическая общность как основа группировок языковых явлений, разумеется, не новый принцип. На этой общности базируются, в частности, концепция Ф. Брюно, теория понятийных категорий О. Есперсена и И. И. Мещанинова, теория модальности В. В. Виноградова.

ствия, присущий совершенному виду в отличие от несовершенного [6]. Этот семантический признак при переводе со славянских языков может теряться без ущерба для основного смысла высказывания, так как непосредственно не отражает свойств самих действий во внеязыковой действительности, а представляет собой собственно языковую интерпретацию характера протекания действия, закрепившуюся в семантической стороне грамматического строя славянских языков и приобретшую свойство обязательности.

2. Взаимодействие явлений, относящихся к разным сторонам языка. Это свойство [7] отличает функционально-семантические поля от других разновидностей языковых систем, охватывающих лишь однородные элементы, например, только морфологические или только лексические. Взаимодействие компонентов поля имеет конкретное лингвистическое выражение, в частности, оно проявляется во влиянии определенных лексико-грамматических разрядов на парадигму «соседней» морфологической категории. Ср., например, влияние способов действия на парадигму вида, влияние разрядов вещественных, собирательных, отвлеченных и конкретных существительных на парадигму числа. Таким образом, здесь представлено парадигматическое взаимодействие. К типу синтагматического взаимодействия относятся проявления сочетаемости элементов поля в случаях типа *вчера были...* — **вчера будем*.

В области грамматических категорий и связанных с ними явлений обычно взаимодействуют языковые средства, относящиеся, как уже сказано, к разным сторонам языка (морфологической, синтаксической, словообразовательной, лексической), но к одному его уровню, в частности, к уровню слова [8]. Таковы примеры, приведенные выше. Однако возможно и взаимодействие элементов разных уровней. В качестве примера можно привести соотношение видовых форм (уровень слова) и определенных типов предложения, структура которых заключает в себе кратно-соотносительные конструкции (уровень предложения).

Принцип поля при анализе грамматических категорий предполагает особое внимание к распределению языковых средств при выражении плана содержания данного поля, к роли каждого из них в общем комплексе взаимодействующих элементов, к вопросам «чем выражено?», «как выражено?».

3. Основные признаки структуры функционально-семантического поля:

1) Членение «центр (ядро) — периферия». Трудно найти более общую черту строения лингвистических (и не только лингвистических) объектов, чем наличие, с одной стороны, центральных, а с другой — периферийных явлений. Естественно, что издавна многие исследователи отмечают эту черту при анализе фактов языка. Спецификой «полевого подхода» в данном случае является специальное внимание к критериям такого членения.

Противопоставление «центр — периферия» многосторонне. Укажем важнейшие признаки его членов, лежащие в основе критериев их выделения [9].

---

[6] Попытки некоторых исследователей переносить семантику совершенного и несовершенного вида в полном ее объеме на неславянские языки, в частности, на немецкий, не имеют, на наш взгляд, достаточных оснований.

[7] Важные стороны взаимодействия грамматических и лексических фактов языка отмечены в ст.: Е. И. Шендельс, О грамматико-лексическом подходе к языку, «Лингвистика и методика в высшей школе», 5, М., 1970.

[8] О необходимости различать уровни и стороны языка см. в кн.: «Грамматическая категория и контекст», стр. 11—12.

[9] Каждый из этих признаков так или иначе уже отмечался в литературе.

а) Сосредоточение, максимальная концентрация специфических признаков, характеризующих данную группировку (центр) — разреженность таких признаков (периферия) [10]. В качестве примера можно привести концентрацию дифференциальных семантических признаков в грамматической категории вида как ядре поля аспектуальности в русском языке [11] в отличие от периферии этого поля. Среди периферийных компонентов аспектуальности представлены средства, выражающие отдельные аспектуальные функции (ср., например, *долго* как показатель длительности, наречия *иногда*, *часто*, *обычно* и т. д. — показатели нелокализованности действия во времени, ср. также значения способов действия — одноактного, многоактного, дистрибутивного, ограничительного и т. д.). Однако аспектуальные функции здесь рассеяны, рассредоточены среди множества средств — отдельных лексем и их группировок. Аспектуальные семантические признаки в данной области не сосредоточены в замкнутой системе оппозиций. Не только вид, но и другие морфологические категории (время, наклонение, лицо, число и т. д.) представляют собой такие системы противопоставленных друг другу рядов грамматических форм, в которых сконцентрированы дифференциальные семантические признаки, наиболее полно отражающие специфику плана содержания не только данной морфологической категории, но и всего функционально-семантического поля в целом.

Из того факта, что специфические признаки данной группировки языковых явлений сосредоточены в центре, а для периферии характерны разреженность признаков, пересечения с другими группировками, обладающими иными признаками, вытекает следующее общее соображение по поводу дефиниций в грамматике (и не только в грамматике). В определениях таких явлений, как, например, значения грамматических категорий (скажем, категорий падежа, залога), важно ориентироваться прежде всего именно на центр. Далеко не всегда можно дать определение, которое было бы действительно в полной мере и для периферийных зон изучаемого объекта, где его признаки сталкиваются с признаками смежных явлений. Дефиниции, которые стремятся во что бы то ни стало охватить и эти периферийные области, нередко проигрывают в содержательной определенности. Вероятно, для некоторых наиболее сложных объектов целесообразно сначала формулировать определение, рассчитанное на центр, а затем вносить отдельные частные коррективы для периферийных зон (очень важно не гиперболизировать и не искажать такой подход к дефинициям, так как здесь велика опасность оправдать принципом поля просто недостаточные и неточные определения).

б) Сосредоточение связей, отношений, нахождение данного явления в области пересечения тех линий, которые связывают элементы данной группировки, участие в максимальном числе оппозиций (центр) — рассредоточение сетки связей, их ослабление, проявление той или иной степени изолированности (периферия) [12]. В рассматриваемых нами морфологеческих категориях русского глагола в наибольшей мере сосредоточены

---

[10] Важность этого критерия подчеркивает В. Г. Адмони (указ. соч., стр. 51). Близка к этому точка зрения Фр. Данеша, который приписывает центру свойство компактности, а периферии — диффузности (Fr. D a n e š, The relation of centre and periphery as a language universal, TLP, 2, 1966).

[11] См.: А. В. Б о н д а р к о, Вид и время русского глагола (значение и употребление), М., 1971, стр. 10—21.

[12] Некоторые исследователи выдвигают на первый план высокую степень интеграции как признак центра, имея в виду степень участия того или иного элемента в отношениях, характеризующих данную систему (см.: J. V a c h e k, On the integration of the peripheral elements into the system of language, TLP, 2, стр. 23), участие в наибольшем числе дистинктивных оппозиций (M. R o m p o r t l, Zentrum und Peripherie im phonologischen System, там же, стр. 103).

не только семантические признаки соответствующих полей, но и связи, отношения компонентов морфологической категории к этим признакам. В морфологической категории сконцентрирован целый комплекс грамматических оппозиций. Периферийные компоненты полей темпоральности, модальности и т. д. также могут формировать оппозиции. Ср., например, *прежде* : *теперь* : *потом*; *вчера* : *сегодня* : *завтра*; *только что* : *давно* и т. д. Такие оппозиции, однако, рассредоточены в широкой области лексики. Микросистемы, в которых они устанавливаются, не отличаются ни последовательностью, ни замкнутостью, ни парадигматичностью. Оппозиции в данной области вообще не являются обязательными. Так, можно отметить отдельные способы действия (например, прерывисто-смягчительный, сопроводительный, взаимный), которые представляют собой относительно изолированные лексико-грамматические (словообразовательные) разряды, не образующие оппозиций.

Концентрация специфических признаков влечет за собой и концентрацию связей, отношений. Эти черты центральных явлений в области грамматики можно рассматривать как некоторое сложное единство, характеризующееся общим свойством концентрации, интеграции. Данным комплексом, лежащим в основе наиболее существенных критериев членения «центр—периферия», в значительной мере обусловливаются другие черты рассматриваемого членения.

в) Максимальная функциональная нагрузка (центр) — уменьшение такой нагрузки (периферия) [13]. Высокая функциональная нагрузка как свойство центральных явлений вытекает из указанных выше двух основных черт центра: сосредоточение специфических признаков вместе с концентрацией связей влечет за собой увеличение функциональной нагрузки, позволяет концентрировать емкий семантический потенциал. Таков, в частности, потенциал морфологических категорий, о которых говорилось выше.

г) Наибольшая специализированность данного языкового средства или системы таких средств для реализации определенной семантической функции (центр) — меньшая степень специализации, побочная роль в реализации данной функции (периферия) [14]. Максимальная специализация как особенность центра обусловлена высокой организацией системы средств с концентрированными специфическими признаками и отношениями. Ср., с одной стороны, категорию времени, специально предназначенную для выражения темпоральных отношений, а с другой — лексические компоненты темпоральности типа *давно*, *прошлым летом*, *десять лет тому назад*, *завтра*, *через месяц* и т. п., не являющиеся специальными выразителями абстрактных темпоральных отношений.

д) Регулярность, высокая частота употребления данного языкового элемента (центр) — нерегулярность или меньшая регулярность, меньшая употребительность (периферия) [15]. Эта черта центральных языковых явлений вытекает из высокой концентрации признаков и связей, а также из специализированного выражения значительной функциональной на-

---

[13] См.: Fr. Daneš, указ. соч., стр. 13. Своеобразная шкала оценок функционально-семантической нагрузки построена в ст.: А. А. Хадеева-Быкова, К вопросу о степени сфокусированности функционально-семантических полей предложных обстоятельств (на материале английского языка), «Труды [Военного ин-та ин. яз.]», Иностранные языки, 5, М., 1969.

[14] Ср.: Е. В. Гулыга, Е. И. Шендельс, Грамматико-лексические поля в современном немецком языке, М., 1969, стр. 10; ср. также: А. В. Бондарко, Система времен русского глагола (в связи с проблемой функционально-семантических и грамматических категорий). Автореф. докт. диссерт., Л., 1968, стр. 5—6.

[15] Данный критерий отмечается многими исследователями; см., в частности: Fr. Daneš, указ. соч., стр. 13; Е. В. Гулыга, Е. И. Шендельс, указ. соч., стр. 10.

грузки. Если речь идет о грамматических категориях, то регулярность их функционирования обусловлена еще одним важным фактором — свойством обязательности, присущим этим категориям в языках флективно-синтетического типа.

Рассмотренный ряд признаков центра и периферии не является исчерпывающим. В частности, можно было бы отметить регулирующую и консолидирующую роль центральных явлений по отношению к периферийным. Эти признаки, однако, имплицитно уже представлены в предшествующем изложении или, по крайней мере, непосредственно из него вытекают. Отмеченные пять признаков достаточно характеризуют основные черты центра и периферии.

Вопрос об иерархии критериев рассматриваемого членения чрезвычайно сложен. В целом более или менее очевидно доминирующее положение первых двух черт (концентрации признаков и связей) по отношению к другим признакам. Сколько-нибудь устойчивый иерархический порядок среди этих последних черт установить пока не представляется возможным. Вопрос о критериях осложняется тем, что в каждом конкретном случае значимость того или иного признака может повышаться по сравнению с другими.

Для функционально-семантических полей характерна постепенность перехода от центра к периферии. Таковы, например, границы парадигмы наклонения как морфологического ядра поля модальности. Речь идет. в частности, о парадигме императива. Основными (центральными) формами повелительного наклонения в русском языке являются формы типа *подумай(те)*. К этому ядру парадигмы примыкают формы совместного действия типа *подумаем(те)*, *будем(те) думать*, *давай(те) думать*. С основными формами императива их объединяют такие признаки, как значение побуждения, императивная интонация, наличие аффикса *-те*. Однако эти формы отличаются от основных неполной парадигматичностью, недостаточностью формальной характеристики, ограниченностью охвата лексики, стилистическими ограничениями, особым отношением к лицу, не характерным для основных форм императива. Еще дальше от центра находятся аналитические конструкции типа *пусть думает*. Одними своими признаками они сближаются с основными формами императива, а другими — отличаются от них: в частности, побуждение в данном случае не обращено к лицу (предмету)-субъекту действия (*Пусть стол останется здесь* и т. п.), при таких аналитических конструкциях нормой является наличие подлежащего. Эти конструкции, таким образом, лишь примыкают к парадигме повелительного наклонения, но не могут рассматриваться как ее полноправные члены. Для «полевого» подхода к парадигмам подобного типа характерен отказ от принципа «да — нет», «это парадигма, а это не парадигма». Для рассматриваемого подхода характерны поиски центра парадигмы как зоны сосредоточения ее наиболее специфических признаков и учет периферийных «зон затухания специфичности», примыкающих к центру явлений, втянутых в сферу влияния парадигмы, но лишь отчасти к ней относящихся, составляющих в значительной мере ее ареал, ближайшее и более отдаленное окружение.

2) Постепенные переходы, частичные пересечения. Эти явления нередко отмечались лингвистами (в частности, А. М. Пешковским, Л. В. Щербой и В. В. Виноградовым) [16]. «Переходные случаи» — не исключение из правила о членении целого на отдельные части,

[16] Из работ последнего времени см.: А. Ф. Лосев, Введение в общую теорию языковых моделей, «МГПИ имени В. И. Ленина», № 307, 1968; В. В. Бабайцева, Переходные конструкции в синтаксисе. Конструкции, сочетающие свойства двусоставных и односоставных (безличных именных) предложений, Воронеж, 1967.

а закономерное проявление одной из важных сторон полевой структуры языковых группировок.

Пересечения полей основаны на множественности признаков языковых явлений. По одному признаку данное явление относится к одному полю, по другому — к «соседнему» полю, пересекающемуся с данным, так что в целом рассматриваемые языковые явления могут оказаться причастными к нескольким полям [17].

Один из примеров пересечений элементов функционально-семантического поля — соотношение ряда частных видовых значений (эти значения, соотнесенные с их выражением, могут трактоваться как аспектуальные микрополя) [18].

Нельзя говорить о переходности от любого микрополя к любому. Все зависит от конфигурации микрополей: одни из них оказываются связанными, другие — отделенными друг от друга. В области частных значений совершенного вида (микрополей, в которых семантическую основу, «фон» создает совершенный вид) постепенные переходы связывают конкретно-фактическое значение со всеми остальными значениями — наглядно-примерным, потенциальным и суммарным; кроме того, «промежуточные случаи» обнаруживаются на границах между наглядно-примерным и потенциальным значениями. Среди микрополей, группирующихся вокруг несовершенного вида, также наблюдаются контакты между определенными, но не всеми семантическими кругами. Так, обобщенно-фактическое значение связано с конкретно-процессным, неограниченно-кратным и ограниченно-кратным, но не контактирует с постоянно-непрерывным и потенциально-качественным значениями.

Примером, отражающим пересечение нескольких аспектуальных микрополей, могут служить часто встречающиеся в грамматиках высказывания типа *Птицы летают*; *Рыбы плавают*: здесь представлен «общий сегмент» микрополей постоянно-непрерывного, неограниченно-кратного и потенциально-качественного значений.

Постепенные переходы как проявление непрерывности значений, «семантического континуума» следует отличать от такого наложения или совмещения значений, при котором они реализуются параллельно, не смешиваясь и не представляя никаких промежуточных случаев. Таково, например, совмещение суммарного и наглядно-примерного значений совершенного вида. «Утро он встречал так: дождется восхода солнца, трижды, по привычке, перекрестится на него, умоется родниковой водой и пойдет осматривать бахчу» (Троепольский, Записки агронома).

Принцип поля не противоречит признанию цельности и дискретности языковых явлений: речь идет о стремлении учесть диалектическое соотношение цельного и нецельного, дискретного и недискретного в языковой действительности. Изучая поля, мы стремимся познать как узлы средоточения специфики вычленяющихся и противопоставленных друг другу целостных языковых явлений, так и зоны совмещения и взаимодействия признаков разных единств.

Рассмотренные черты функционально-семантического поля неравноценны с точки зрения их специфичности именно для данного типа языковых группировок. С этой точки зрения выделяются первые две черты. Общность семантических функций (именно семантических, а не каких-либо иных) отличает функционально-семантические поля от других типов язы-

[17] См.: В. Г. Адмони, указ. соч., стр. 48.

[18] О частных видовых значениях см.: Ю. С. Маслов, Глагольный вид в современном болгарском литературном языке (значение и употребление), сб. «Вопросы грамматики болгарского литературного языка», М., 1959, стр. 231 и сл.; А. В. Бондарко, Вид и время русского глагола..., стр. 21—42.

ковых полей, например, от полей, элементы которых объединены общностью эмоционально-экспрессивных функций. Взаимодействие не только однородных, но и разнородных языковых элементов также является специфической чертой функционально-семантических полей, отличающей их от других типов группировок и систем в языке, например, от лексико-семантических полей, представленных однородными лексическими элементами, от фонетических систем, морфологических категорий и т. д. Что же касается признаков структурной организации рассматриваемых единств (структура типа «центр — периферия», постепенные переходы, общие сегменты), то они важны для функционально-семантических полей, однако эти черты имеют гораздо более широкую сферу распространения, они свойственны множеству языковых явлений за пределами функционально-семантических полей. Иначе говоря, эти черты характерны для них, но не только для них, что вполне естественно, поскольку данные признаки структурной организации языковых объектов отражают какие-то более общие закономерности строения и взаимоотношения объектов, изучаемых разными науками.

«Полевой подход» к грамматическим категориям создает дополнительные возможности для анализа взаимоотношений систем грамматических форм с окружающей их лексико-грамматической и лексической средой. Изучение связей с этой средой расширяет круг причинно-следственных зависимостей, которые могут быть выявлены при исследовании грамматического строя языка.

Применение принципа поля в грамматике встречается с серьезными трудностями. Возникает опасность абсолютизации и гиперболизации понятия поля. Уже начинает проявляться «мода на поля». Приложение термина «поле» ко всевозможным языковым явлениям без необходимых оснований приводит к возможности дискредитации лишь начинающего складываться способа описания языковых фактов в общих рамках системного анализа. Не успев утвердиться в области грамматики, принцип поля начинает приобретать отпечаток банальности, тривиальности.

На наш взгляд, нет никакой необходимости называть и считать полями самые разнообразные факты языка — такие, как части речи, лексико-грамматические разряды, предложение, члены предложения, обособление, однородность и т. д. О поле целесообразно говорить лишь при всей полноте признаков, существенных для этого понятия по принимаемому определению, причем применительно именно к определенному типу группировок языковых фактов, а не к отдельным фактам, явлениям, единицам. Важно проводить различие между полем и полевой структурой [см. пункт 3 1) и 2)], те или иные стороны которой действительно свойственны множеству языковых явлений (например, частям речи, морфологическим категориям, парадигмам, словообразовательным разрядам и т. д.).

II. Попытаемся теперь применить принцип поля к рассмотрению залога русского глагола. Представляется необходимым различать з а л о г как грамматическую категорию и более широкое (включающее, помимо залога, и другие компоненты) поле з а л о г о в о с т и. В русском языке (и в целом ряде других языков) залоговость — это функционально-семантическое поле, создаваемое взаимодействием разнородных языковых средств (морфологических, синтаксических, словообразовательных, лексических), служащих для выражения языковой семантической интерпретации отношения действия к субъекту и объекту.

Рассмотрим основные черты структуры поля залоговости в русском языке. Выделить грамматический центр этого функционально-семантического поля нелегко. В данном случае речь может идти о центральном положении не одной оппозиции, а нескольких, как нам представляется, — двух.

К центру поля залоговости принадлежит оппозиция актива и пассива (не приводим здесь аргументов, так как это достаточно ясно). Данная оппозиция является морфолого-синтаксической. Морфологическая ее сторона заключается в том, что форма отдельно взятого глагольного слова в одних случаях полностью определяет залог, а в других — предопределяет (в принципе, при прочих благоприятных условиях) возможность образования обоих залогов. Случаи первого рода: *встречает*, *идет*, *встречающий*, *идущий* (актив); *встреченный*, *встречаемый* (пассив). Случаи второго рода: *встречается*, *встречающийся*; подобные возвратные образования могут выступать как в активе (*Я впервые встречаюсь с ним*), так и в пассиве (*Такие выступления встречались восторженно*). Синтаксическая сторона рассматриваемой оппозиции заключается в том, что актив и пассив представлены и выражены не только в формах глагола, но и за его пределами — в соотношении глагола-сказуемого с подлежащим и дополнением. По существу речь идет об активной и пассивной конструкциях, об активном и пассивном оборотах, где глагол — лишь один из участников выражения залоговых отношений. В целом оппозиция «актив — пассив» выделяется в грамматической системе языка на основе факта семантической и формальной противопоставленности соответствующих конструкций (уровень предложения, синтаксическая сторона языка), опирающихся в их глагольной части на определенные морфологические залоговые средства глагола, отчасти достаточные, отчасти недостаточные для залоговой характеристики слова (уровень слова, морфологическая сторона языка).

Морфологическую основу актива составляют невозвратные глаголы, в том числе действительные причастия, а морфологическую основу пассива — страдательные причастия. Залоговая принадлежность этих образований может быть определена чисто морфологически, в отвлечении от конкретного лексического наполнения, от словообразовательного разряда, от синтаксической конструкции. Так, если известно лишь то, что налицо невозвратный глагол (в любой форме, кроме формы страдательного причастия), то тем самым известно, что это глагол (причастие) действительного залога. Что же касается возвратных глаголов (в том числе причастий), то их распределение между активом и пассивом, употребление в активной или пассивной конструкции зависит от многих факторов: от лексического значения глагола, от словообразовательного разряда, к которому принадлежит данный глагол, а также от вида, лица, наклонения и времени. В тех случаях, когда все эти факторы допускают функционирование данного образования не только в активе, но и в пассиве, залог определяется лишь типом синтаксической конструкции.

Разумеется, и при употреблении морфологически характеризованных залоговых образований актив выражается не только глаголом, но и синтаксической конструкцией, сочетанием глагола с подлежащим и дополнением (если они представлены) в их отношении к субъекту и объекту. Однако различие заключается в том, что в случаях типа *Конференцию организует наш институт*, *Конференция организована нашим институтом* синтаксическая характеристика залога накладывается уже на «готовую» морфологическую характеристику, тогда как в случаях типа *Конференция организуется нашим институтом* синтаксическая характеристика оказывается решающей, поскольку морфологическое выражение в данном отношении является неопределенным, недостаточным [19].

---

[19] Замечание о терминологии. Наряду с недифференцированным употреблением двух пар терминов — «актив и пассив», «действительный и страдательный залог», на наш взгляд, возможна некоторая их дифференциация. В рамках нашей трактовки русского залога актив и пассив — более широкие понятия, чем действительный и стра-

Вслед за рядом ученых [20] мы придерживаемся той точки зрения, что противопоставление актива и пассива охватывает всю глагольную лексику. Существует не больше оснований выводить несоотносительные по залогу образования типа *лежать* за пределы залога, чем несоотносительные по виду образования (ср. тот же глагол *лежать*) за пределы вида.

Наша трактовка семантики актива и пассива не отличается от широко распространенных истолкований. Актив (*Эту проблему решают геологи*): действие представлено как исходящее от носителя глагольного (процессуального) признака, как имеющее центробежную направленность по отношению к нему; субъект (производитель действия) выступает в роли подлежащего, находится в центре предложения. Пассив [*Эта проблема решается геологами*; *Эта проблема решается* (*решена*)]: действие представлено как направленное на носителя глагольного признака [21], как центростремительное по отношению к нему [22]; в центре предложения, в позиции подлежащего, находится объект, испытывающий на себе действие, субъект же либо занимает периферийное положение, выступая в роли дополнения и представляя источник «воздействия со стороны», либо полностью устраняется.

К грамматическому центру поля залоговости относится также морфологическая оппозиция возвратных и невозвратных глаголов. Имеются в виду не частные словообразовательные разряды глаголов типа собственно-возвратных или взаимно-возвратных. Подобные разряды относятся к периферии залоговости. Речь идет о более высоком уровне грамматической абстракции — обо всех возвратных глаголах в системе языка в их отношении ко всем невозвратным. Общим значением возвратных глаголов является значение интранзитивности [23]. Невозвратные глаголы являются немаркированным членом оппозиции, т. е. не содержат в своей семантике данного признака, они могут быть как транзитивными, так и интранзитивными [24]. Таким образом, с семантической точки зрения здесь представлено противопоставление интранзитивных и «транзитивно-интранзитивных» образований. Это противопоставление выходит далеко за пределы соотносительных глаголов. Соотносительными или несоотносительными могут быть отдельные глаголы или группы глаголов (ср. *радовать — радоваться*), рассматриваемое же противопоставление относится к плоскости грамматической (морфологической) системы языка, где любой возвратный глагол является носителем морфологически выраженного признака интранзитивности и противостоит в этом отношении любому

дательный залог. Последние два термина целесообразно употреблять в более специальном, морфологическом смысле, скажем, определяя глагол *приготовить* как глагол действительного залога, а причастие *приготовлен* — как страдательное причастие (причастие страдательного залога). Термины же «актив» и «пассив» имеют более широкое значение — по отношению как к уровню предложения, к активной и пассивной конструкциям, так и к уровню слова, к морфологической системе языка (в последнем случае — когда нет необходимости специально подчеркивать морфологическую сторону залога).

[20] См., в частности: B. Havránek, Genera verbi v slovanských jazycích, I, v Praze, 1928, стр. 14—15.

[21] Понятие «носитель глагольного признака» охватывает не только подлежащее. Ср., например, случаи типа *К проблеме, решенной геологами...* В таких случаях становится особенно очевидной важность этого понятия для характеристики залога.

[22] О различительных признаках центробежности/центростремительности см.: М. И. Гухман, Развитие залоговых противопоставлений в германских языках. Опыт историко-типологического исследования родственных языков, М., 1964, стр. 8—9.

[23] См.: Ф. Ф. Фортунатов, О залогах русского глагола, ИОРЯС, IV, кн. 4, 1899, СПб., стр. 1155.

[24] См.: R. Jakobson, Zur Struktur des russischen Verbums, «Charisteria Gvilelmo Mathesio... oblata», Pragae, 1932, стр. 77.

невозвратному глаголу как морфологически по данному признаку не характеризованному.

Принадлежность противопоставления возвратных и невозвратных глаголов к грамматическому центру поля залоговости обусловливается следующими основными факторами: 1) признак интранзитивности, получающий в данной оппозиции морфологическое выражение, является существенным для семантики залоговости: отсутствие направленности действия на прямой объект, сосредоточенность (в этом смысле) в сфере субъекта — это семантическая характеристика, определяющая языковую интерпретацию отношения действия к объекту, но затрагивающая и отношение к субъекту; 2) признак интранзитивности в данном случае лежит в основе грамматической оппозиции, стоящей как бы над лексикой и над отдельными лексико-грамматическими разрядами — над разрядами собственно-возвратных, взаимно-возвратных глаголов и т. д.

Если говорить об иерархии рассматриваемых залоговых противопоставлений, то на первое место должна быть поставлена оппозиция «актив — пассив». Ее доминирующая роль обусловлена несколькими факторами. Один из них — более высокая «степень грамматичности», которой может достигать противопоставление. В области морфологически характеризованных в отношении актива — пассива образований, безусловно, во всяком случае в пределах одного вида—либо совершенного, либо несовершенного,— представлены оппозиции словоизменительного типа, формы одного и того же слова (ср. *написал*, *написавший — написан*, *написанный*; *требует*, *требующий — требуемый*) [25]. Что же касается противопоставления возвратных — невозвратных глаголов, то оно целиком должно быть отнесено к классификационному типу. Как известно, присоединение постфикса *-ся* во многих случаях влечет за собой изменение лексического значения (ср. *бить* и *биться*, *носить* и *носиться*, *вернуть* и *вернуться*). Возможные случаи совпадения лексического значения невозвратного и возвратного образований (ср. *анализирует*, *анализирующий — анализируется*, *анализирующийся*) не обладают достаточной регулярностью для того, чтобы можно было говорить о формах одного и того же слова, о словоизменении (ср. видовые пары в области перфективации—типа *строить — построить*, которые ввиду их нерегулярности нельзя причислять к словоизменению). Другой фактор, обусловливающий первенство оппозиции актива и пассива в залоговой иерархии, состоит в том, что в основе данного противопоставления лежат наиболее специфические семантические признаки в сфере залоговости, связанные с изменением направленности действия по отношению к носителю глагольного признака, с изменением соответствия субъекта и объекта подлежащему и дополнению. Наконец, важно то, что возвратность — невозвратность занимает подчиненное положение по отношению к противопоставлению «актив — пассив» в том смысле, что она служит для него одним из различительных средств. Следовательно, в центре залоговости основным грамматическим (морфолого-синтаксическим) ядром является противопоставление актива и пассива, тогда как оппозиция возвратных и невозвратных глаголов занимает в этой центральной области относительно периферийное положение. Поэтому собственно залогом, грамматический категорией залога в русском языке, по-видимому, следует признать лишь противопоставление актива — пассива.

---

[25] Если это видовая пара, являющаяся результатом имперфективации (*рассмотреть — рассматривать* и т. п.), члены которой есть основания считать формами одного и того же слова, то можно говорить о залоговом противопоставлении словоизменительного типа и по отношению к обоим видам (*рассматривает*, *рассматривающий*, *рассмотрел*, *рассмотревший — рассматриваемый*, *рассмотренный*, *рассмотрен*).

Сложность проблемы залога в русском и других славянских языках в значительной мере обусловлена тем, что оппозиция актива и пассива оказывается сопряженной со «второй залоговой оппозицией» — противопоставлением возвратных — невозвратных глаголов. Сопряженность этих оппозиций находит отражение в трехчленной системе морфологических залоговых образований [26]:

1. Невозвратные глаголы действительного залога (в том числе действительные причастия)	2. Возвратные глаголы (в том числе причастия)	3. Страдательные причастия

Первый и третий члены данной трихотомической системы образуют антонимическую оппозицию (разновидность эквиполентной) по признакам активности — пассивности (А + : П + , или, что то же самое, А +: А—, или П—: П+). Второй член, занимающий срединное, промежуточное положение между этими полюсами, является немаркированным в данном отношении (А ∓, П ∓).

Та же система морфологических залоговых образований служит для выражения залоговой оппозиции, основанной на признаке интранзитивности. Второй компонент рассматриваемой системы характеризуется данным признаком (И+), выступая как маркированный член привативной оппозиции по отношению к невозвратным глаголам (для которых И ∓). Страдательные причастия также обладают признаком интранзитивности (И+) [27]. Следовательно, по данному признаку страдательные причастия объединяются с возвратными глаголами и противостоят невозвратным глаголам как морфологически в этом отношении не маркированным.

Схема трех рядов морфологических залоговых образований кажется нестройной, неупорядоченной, не основанной на едином принципе членения. Но именно такова система, отраженная в данной схеме, потому что в ней совмещены две разные оппозиции. Она и не может быть иной, если в ее основе лежат разные признаки.

Одно из проявлений асимметричности рассматриваемой системы заключается в том, что морфологически характеризованное выражение пассива страдательными причастиями оказывается неравноправным по отношению к более широкому и более регулярному морфологическому выражению

---

[26] Выражение «залоговые образования» охватывает формы одного и того же слова (ср. *забывший — забытый*) и разные слова (ср. *забыть* и *забыться*).

[27] Переходный глагол в этой форме не может проявить необходимый признак переходности — сочетаемости с прямым дополнением (в этом отношении причастный пассив типа *Дача построена* аналогичен возвратному — *Дача строится*). Страдательное причастие, таким образом,— это непереходная форма глагола, форма, выступающая в позиции непереходности, где прямое дополнение исключено. Такая трактовка основана на том, что транзитивность/интранзитивность — это свойство глагола (или определенной глагольной формы), неотделимое от плана языкового выражения, а не самостоятельный чисто семантический признак действия. При другом подходе, если опираться лишь на логическое понятие перехода действия на объект, мы должны были бы признать наличие транзитивности не только в случае *Дача построена*, но и в случае *Дача строится* (действие и здесь переходит на объект), что было бы явно неверно. В действительности в случаях *Дача строится*, *Дача построена* представлена не транзитивность, а центростремительная направленность действия, что совсем не одно и то же: центростремительная направленность предполагает, что объект представлен как носитель глагольного признака, транзитивность же связана с языковой интерпретацией объекта как зависимого от действия. Транзитивность (прямая переходность) налицо лишь там, где представлена или возможна сочетаемость глагола с прямым дополнением (ср. иную точку зрения в статье: В. Н. Сидоров, И. С. Ильинская, К вопросу о выражении субъекта и объекта действия в современном русском литературном языке, ИАН ОЛЯ, 1949, 4, стр. 349).

актива. Правда, страдательным причастиям в выражении пассива отчасти помогают возвратные глаголы, но и это не устанавливает равновесия, так как возвратные глаголы служат и активу. В этой асимметричности отражен действительно неодинаковый удельный вес актива и пассива в системе языка и в процессе его функционирования, отражена более специальная и более ограниченная роль пассива по сравнению с активом в процессе коммуникации.

Рассмотренная трехчленная система залоговых образований существенна для морфологического строя русского языка, для глагола, но ее не следует абсолютизировать. Морфологические залоговые образования — действительные, страдательные и возвратные — находятся на службе синтаксических залоговых конструкций — активной и пассивной.

Предлагаемая трактовка залога во многом связана с русской грамматической традицией, хотя и отличается от нее. Система трех рядов морфологических залоговых образований, о которой говорилось выше, соответствует традиционной морфологической системе, выделяемой в области причастий, где различаются причастия действительные, возвратные и страдательные. Мы лишь распространяем этот принцип на глагол в целом (не отождествляя, однако, три ряда морфологических залоговых образований с залогами). Важный аспект связи с традицией — учет не только отношения актива — пассива, но и возвратных — невозвратных глаголов [28]. Специфической особенностью предлагаемой трактовки категории залога (мы сейчас оставляем в стороне понятие залоговости) является попытка разделить вопрос о залоговых оппозициях и вопрос о морфологических средствах выражения залоговых отношений. Другой особенностью является попытка установить, как связаны друг с другом разные залоговые оппозиции, как распределена между ними функциональная нагрузка.

Обратимся теперь к зоне, переходной от центра к периферии, и к собственно периферии поля залоговости.

К центру поля залоговости непосредственно примыкает лексико-синтаксическая оппозиция переходности/непереходности. Эта оппозиция связана с противопоставлением актива и пассива, поскольку она обусловливает соотносительность или несоотносительность активного и пассивного оборотов. Налицо также функциональная связь переходности/непереходности с возвратностью/невозвратностью. Эти оппозиции, образуя особую функционально-семантическую сферу внутри залоговости — сферу транзитивности/интранзитивности, взаимодействуют, дополняют друг друга. Противопоставление возвратного и невозвратного глаголов морфологически маркирует интранзитивность, но оставляет невыраженным различие транзитивности/интранзитивности в области невозвратных глаголов. Это различие передается лексико-синтаксическим способом — сочетаемостью или несочетаемостью с винительным падежом прямого объекта (у возвратных глаголов интранзитивность оказывается выраженной дважды, избыточно — и морфологически, и лексико-синтаксически).

В целом в грамматическом центре залоговости и в области, примыкающей к центру, выделяются две частично пересекающиеся функционально-семантические сферы: сфера активности — пассивности, имеющая грамматическое (морфолого-синтаксическое) выражение, и сфера транзитивности — интранзитивности, охватывающая взаимодействующие друг с другом морфологические, лексико-синтаксические и словообразовательные

[28] См., в частности: В. В. Виноградов, Русский язык, М.— Л., 1947, стр. 629—641.

средства. Последняя сфера выходит за пределы грамматического центра залоговости, охватывая отчасти и периферийную область.

У лексико-синтаксического противопоставления переходности/непереходности, основанного на сочетаемости — несочетаемости с прямым дополнением, есть черты как центральности, так и периферийности. К первым относится семантика данной оппозиции, существенная для залоговости. Далее, важно то, что любой глагол так или иначе определяется лексико-синтаксически по отношению к этой оппозиции. Она характеризуется регулярностью функционирования. Периферийность же проявляется в зависимости переходности — непереходности от лексического значения и синтаксического поведения отдельных глаголов и глагольных групп (в этом смысле переходность не интегрирована, а «рассеяна» в глагольной лексике). Если постфикс *-ся* — общий признак, который «механически» решает вопрос об интранзитивности на уровне морфологической системы языка, то вопрос о лексико-синтаксической переходности/непереходности решается особо для разных словообразовательных типов, сплошь и рядом для каждого глагола, а нередко и для разных значений и типов употребления одного и того же глагола.

Грань между центром и периферией залоговости труднее всего провести именно в рассматриваемой области. Трудно решить вопрос, относится ли лексико-синтаксическая переходность/непереходность к центру или нет. Если не относится, то понятие центра залоговости оказывается более «грамматичным», в большей степени сосредоточенным на выражении залоговых отношений в самом глаголе и с этой точки зрения более строгим, но ущербным в том смысле, что в центральную зону залоговости включается лишь морфологическое выражение транзитивности/интранзитивности, само по себе недостаточное (для всей области невозвратных глаголов), а лексико-синтаксическое выражение оказывается вне этой зоны. Если же отнести и лексико-синтаксическую переходность/непереходность к центру, то он окажется не «чисто грамматическим» (морфолого-синтаксическим), а смешанным, более пестрым и разнородным комплексом, включающим в себя не только морфологические и синтаксические, но и лексико-синтаксические компоненты.

Предварительно мы отдали предпочтение более строгому грамматическому подходу, не включая лексико-синтаксическую переходность/непереходность непосредственно в центральную зону залоговости и рассматривая эту оппозицию лишь как примыкающую к этой зоне. Однако в принципе нельзя исключить возможность иного решения, при котором центр залоговости понимался бы как функциональный комплекс, состоящий из двух оппозиций: актива — пассива и транзитива — интранзитива (включая не только морфологическое, но и лексико-синтаксическое выражение последней оппозиции). При таком решении определяющим оказался бы не структурно-грамматический, а функциональный принцип.

К собственно периферийной области залоговости, с нашей точки зрения, относятся словообразовательные разряды возвратных глаголов — глаголы собственно-возвратные (*беречься*, *защищаться* и т. п.), взаимно-возвратные (*видеться*, *обниматься*), обще-возвратные (*веселиться*, *сердиться* и т. п.), косвенно-возвратные (*строиться*, *прибраться*) и т. д. [29]. Указанные разряды глаголов на *-ся* во многом аналогичны способам действия глаголов, разрядам имен существительных собирательных, вещественных, отвлеченных и конкретных. Подобные лексико-грамматические разряды

[29] См.: В. В. Виноградов, указ. соч., стр. 629—639; см. также: Н. А. Янко-Триницкая, Возвратные глаголы в современном русском языке, М., 1962.

не опираются на специальную систему форм, хотя и имеют грамматическое выявление.

Значения залоговых разрядов как бы накладываются на общую семантическую основу всех возвратных глаголов — значение интранзитивности. Другой стороной той семантической основы, на которую наслаиваются эти дополнительные оттенки, является значение актива (см. приведенные выше примеры) или (иногда) пассива (ср. пассивно-потенциальное значение в случаях типа *Книга легко читается*).

В рассматриваемых случаях проявляется своего рода иерархия семантических признаков в сфере залоговости: 1) признаки активности — пассивности, 2) признаки транзитивности — интранзитивности, 3) дополнительные периферийные оттенки, наслаивающиеся на первые два типа признаков.

На периферии залоговости находятся также такие явления, как выражение взаимного значения сочетанием глагола со своеобразными взаимными местоимениями *друг друга*, *друг с другом* и т. п. Ср. также отмеченный С. Е. Яхонтовым «лексический пассив» типа *Он терпит обиды* [30], *Они испытывают давление со стороны* (грамматически это актив, но лексически передается пассивность носителя глагольного признака). Примеры периферийных явлений в области залоговости можно было бы умножить.

Поле залоговости перекрещивается с другими функционально-семантическими полями. Так, залоговость пересекается с персональностью (ср. отношение определенно-личных, неопределенно-личных, обобщенно-личных и безличных конструкций к активу и пассиву, а также отношение к пассиву 1 и 2-го лица, с одной стороны, и 3-го лица, с другой). Можно отметить также пересечения с аспектуальностью (ср., в частности, разное отношение возвратного и причастного пассива к глагольному виду), модальностью, темпоральностью, падежностью.

Рассмотрим некоторые аспекты пересечения залоговости с персональностью. С полем персональности связано особого рода отношение к субъекту. Изменение этого отношения не приводит к переходу от актива к пассиву и наоборот. Данное отношение связано с наличием или отсутствием членов предложения, соответствующих субъекту. Ср. *Недостатки нами устраняются* и *Недостатки устраняются* — в обоих случаях представлен пассив. Ср. также *Недостатки устраняют наши* сотрудники и *Недостатки устраняют* — в обоих примерах актив. В последнем случае сохраняется центробежная направленность действия, с той, однако, особенностью, что носитель глагольного признака здесь выступает не как вербализованный и конкретный, а как подразумевающийся и неопределенный.

Особенно сложный случай — соотношение оппозиции «актив — пассив» и безличности. В случаях типа *Дорогу занесло*, когда нет субъекта-подлежащего, но есть объект-дополнение, еще в какой-то степени сохраняется центробежная направленность действия: налицо языковое выражение направленности на объект, представленный дополнением,—конечный пункт направленности, хотя отсутствует начальный (нет носителя глагольного признака). Поэтому, при всей специфичности таких случаев, есть основания относить их не только формально, но и семантически к активу. Сложнее обстоит дело в случаях типа *Светает*, *Вечереет*, когда нет ни субъекта, ни объекта. В таких случаях формально-морфологически представлен действительный залог (поскольку налицо невозвратный глагол), но го-

[30] См.: С. Е. Яхонтов, Конструкции, называемые пассивными, в китайском языке, сб. «Категория залога. Материалы конференции», Л., 1970, стр. 45—46.

ворить о центробежной направленности глагольного действия нельзя, поскольку нет ни носителя глагольного признака, ни объекта-дополнения. Эти случаи могут быть истолкованы по-разному, в частности как нейтрализация семантического противопоставления по признаку направленности действия в результате «столкновения» залоговости с безличностью.

Подход к залогу с точки зрения теории поля в известном отношении противостоит универсально-типологический теории залога [31]. Эти концепции находятся в отношении дополнительности. Разные точки зрения в данном случае связаны с направленностью исследования на разные стороны изучаемого объекта, с различием сферы, приемов и целей анализа.

В отличие от универсально-типологической теории полевой подход к залогу имеет конкретно-языковой характер. Речь идет об определенном «устроении» средств выражения залоговых отношений в данном конкретном языке. Ни один язык не выражает всех в принципе возможных залоговых отношений и ни один язык не выражает эти отношения лишь грамматическими средствами. Каждый язык осуществляет выбор из «залогового потенциала», из потенциально возможного комплекса залоговых отношений, причем в разных языках залоговая функциональная нагрузка по-разному распределяется среди морфологических, синтаксических, словообразовательных и лексических средств. В разных языках обнаруживаются различия в конфигурации залоговых элементов, в их соотношении, в границах поля залоговости, в картине пересечений с другими функционально-семантическими полями. Естественно, что универсально-типологическая теория залога не ставит перед собой задачу специального изучения таких конкретных группировок средств выражения залоговых отношений.

Понятие поля залоговости важно для сопоставительных исследований. Возможно и целесообразно сопоставительное изучение структуры залоговости в исследуемых языках. Такой анализ позволит установить черты сходства и различия в распределении и взаимодействии разнородных средств выражения залоговых отношений. в конфигурации пересечений залоговости с другими функционально-семантическими полями. При сопоставительном анализе полей залоговости сохраняется свойственный полевому подходу конкретно-языковой и преимущественно индуктивный характер исследования, отличающий этот подход от универсально-типологической теории залога.

[31] См., в частности: А. А. Холодович, Залог, сб. «Категория залога. Материалы конференции», Л., 1970; В. С. Храковский, Конструкции пассивного залога (определение и исчисление), там же.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1972

В. К. ЖУРАВЛЕВ

К ПРОБЛЕМЕ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ФОНОЛОГИЧЕСКИХ ОППОЗИЦИЙ

1. Проблеме нейтрализации фонологических оппозиций Н. С. Трубецкой придавал «исключительно большое значение», считая нейтрализацию «одним из краеугольных камней» фонологии [1]. Действительно, характер и направление нейтрализации позволяют наиболее объективно установить реальные отношения между фонемами, определить характер фонологических оппозиций и систему дифференциальных признаков. Диахроническая фонология немыслима без понятия нейтрализации. Большинство обозримых фонологических изменений сводится к конвергенции двух фонем и дивергенции (расщеплению) одной фонемы; эти процессы связаны с изменением соотношений между позициями нейтрализации и релевантности двух конвергирующих фонем или дивергирующих аллофонов одной фонемы. Конвергентно-дивергентные процессы обязательно проходят через стадию нейтрализации.

Пожалуй, нет ни одного языка, система нейтрализации которого была бы полностью описана [2]. Система фонологических нейтрализаций и описание случаев диссимиляции и ассимиляции, аккомодации — совершенно не одно и то же, хотя бы потому, что это разные уровни — фонологический и фонетический.

По отношению к проблеме нейтрализации фонологических оппозиций лингвисты делятся на два противоположных лагеря. Принципиально не признают нейтрализацию представители ленинградской школы Л. В. Щерба, Д. Джоунз, представители американской школы — К. Пайк, Ч. Хоккет, З. С. Харрис и другие. Принципиально признают нейтрализацию фонологических оппозиций Н. С. Трубецкой и Н. Н. Дурново, «пражцы», московская школа; из зарубежных фонологов наиболее последовательным сторонником нейтрализации является А. Мартине. Последний предпринял попытку несколько модифицировать [3] теорию нейтрализаций, разработанную Трубецким. Некоторая модификация теории нейтрализации предпринята и московской школой, в частности, В. Н. Сидоровым был введен термин «гиперфонема» [4]. Московская фонологическая школа с ее учением о позициях сильных и слабых, о вариантах и вариациях, с учением Р. И. Аванесова о сильных и слабых фонемах и о перекрещиваю-

---

[1] Н. С. Трубецкой, Основы фонологии, М., 1960, стр. 87.

[2] Наиболее детально с этой точки зрения изучен русский язык благодаря усилиям московской фонологической школы. За последнее время появились две диссертации на эту тему, см.: Л. И. Богораз-Бухман, Фонологическая нейтрализация на уровне дифферентонов и фонем в русском языке, М., 1964; В. М. Бельдиян, Звуковая система современного русского языка и вопросы нейтрализации фонем, М., 1968.

[3] A. Martinet, Un ou deux phonèmes, AL, I, 1959.

[4] См.: А. А. Реформатский, De la notion des oppositions, «Travaux de l'institut de linguistique», V, II, Paris, 1958; его же, Из истории отечественной фонологии, М., 1970, стр. 62—68.

щихся рядах чередований внесла значительный вклад в теорию фонологических нейтрализаций.

После Трубецкого появился весьма значительный фонологический материал, описаны многие языки и диалекты, предприняты некоторые попытки модификации и переосмысления теории нейтрализации вплоть до попыток приспособить это явление к генеративной грамматике [5]. Имеющийся фонологический материал уже не умещается в рамки классификации нейтрализаций, предложенной Н. С. Трубецким.

В предлагаемой работе обсуждается вопрос о принципах классификации фонологических нейтрализаций, а это в понимании Н. С. Трубецкого одновременно и правила нейтрализации.

2. Общую формулу нейтрализации фонологической оппозиции можно записать следующим образом: $P_r + (a : b) \rightarrow P_n + \emptyset : c$, где a, b — нейтрализуемые, c — нейтрализованная, P_n (f) — нейтрализующее. Две фонемы, составляющие фонологически существенную оппозицию, т. е. различающиеся в позициях релевантности (P_r), не различаются в позиции нейтрализации (P_n); в качестве представителя архифонемы вместо двух ($a : b$) фонем выступает нечто третье (c). Так, например, в португальском языке [6] оппозиция ($s : z$) нейтрализуется в абсолютном исходе ($—\#$) и представителем архифонемы выступает /š/, т. е. $P_r + (s : z) \rightarrow P_n\ (—\#) + \emptyset : š$.

Очевидно, все нейтрализации можно квалифицировать, исходя из компонентов нейтрализации: 1) по характеру нейтрализуемых оппозиций ($a : b$); 2) по характеру представителя архифонемы (c); 3) по характеру позиций, обуславливающих нейтрализацию (P_n); 4) по характеру нейтрализации в целом.

3. По характеру нейтрализуемой оппозиции ($a : b$) можно различать несколько классов нейтрализации. Н. С. Трубецкой считал, что нейтрализоваться могут лишь привативные оппозиции. Привативные оппозиции, как известно, характеризуются тем, что отношение между фонемами данной оппозиции заключается лишь в наличии или отсутствии одного признака, т. е. $(a : b) = A_m\ (A : \bar{A})$, где знаком A_m обозначена архифонема, то общее, что объединяет эти две фонемы, а символом (A) обозначено наличие (A) или отсутствие ($\bar{A}$) признака, различающего эти фонемы, например, наличие — отсутствие признака звонкости нейтрализуемой оппозиции русского языка.

Исследование явления нейтрализации показывает, что нейтрализоваться могут и эквиполентные оппозиции. В эквиполентной оппозиции фонемы противопоставляются по двум признакам одновременно, при этом наличие одного признака обуславливает отсутствие другого: $(a : b) = A_m\ (A : B) = A_m\ (A\bar{B} : \bar{A}B)$. Примером нейтрализации эквиполентной оппозиции может послужить русская нейтрализация ($a : o$) в безударном положении: $(a : o) = A_m\ (A\bar{B} : \bar{A}B)$ — нижний подъем (компактность, A), нелабиализованная ($\bar{B}$), не нижний подъем (некомпактная, $\bar{A}$), лабиализованная (B). В позиции нейтрализации выступает ($\bar{A}\bar{B}$) — некомпактная, нелабиализованная. Этим требованиям может удовлетворять /ʌ/ и /ъ/, их функционирование обуславливается уже иными дополнительными факторами.

Иногда привативные и эквиполентные оппозиции имеют общий член и выстраиваются в цепочку оппозиций. Естественно, некоторые из этих оппозиций могут нейтрализоваться, что и позволяет установить признаки,

[5] Ch. E. Cairns, Markedness, neutralization and universal redundancy rules, «Language», 45, 4, 1969, стр. 864.

[6] Н. А. Катагощина, Е. М. Вольф, Сравнительно-сопоставительная грамматика романских языков, М., 1968, стр. 51.

на которых строятся эти оппозиции. Так, например, в эскимосском языке [7] нейтрализация (*к* : *х*) в позиции перед глухим согласным ($\bar{A}$) осуществляется в пользу /*х*/;—одновременно нейтрализуется и (*к* : *г*) перед звонким (*A*) в пользу звонкого (*г*). Это означает, что оппозиция (*х* : *г*) построена на признаке звонкости, а оппозиции (*к* : *х*) и (*к* : *г*) построены на признаке фрикативности (*B*). Признак глухости для, к, не является релевантным, здесь имеет место цепочка оппозиций (*х* : *к* : *г*). Цепочка оппозиций представлена в орочском языке [8] (*н* : *ң* : *г*), где нейтрализуются оппозиции:

$$P_{\text{г}} + \left\{ \begin{array}{l} (г : ң) - P_{п}\ (н) \\ (ң : н) - P_{п}\ (к) \end{array} \right\} + \emptyset : ң$$

Цепочки оппозиций в марийском языке [9] (*в* : *п* : *м*), (*д* : *т* : *н*), (*г* : *к* : *нг*) организованы иначе. Здесь нейтрализуются эквиполентные оппозиции смычный глухой ($A\bar{B}$) ~ несмычный звонкий ($\bar{A}B$) в пользу смычного звонкого (AB), встречающегося лишь в данной позиции (*б*, *Д*, *Г*). Позиция нейтрализации — после гомоорганного носового (*м*, *н*, *ң*). Английские (*p* : *b*) так же составляют эквиполентную оппозицию: глухой ($\bar{B}$), придыхательный (A) ~ звонкий (B), непридыхательный ($\bar{A}$). В позиции нейтрализации (после начального /*s*/) выступает $\bar{A}\bar{B}$ — непридыхательный глухой /*p*/, ср.: *bin* : *pin* : *spin* [10].

Н. С. Трубецкой полагал, что нейтрализоваться могут лишь одномерные позиции, но, очевидно, нейтрализуются и многомерные [11]. В одномерных позициях основание для сравнения характеризует лишь данную пару фонем и не присуще никакому другому члену той же системы, т. е. архифонема данной пары (A_{m1}) не совпадает ни с какой другой архифонемой (A_{m2}), $A_{m1} \neq A_{m2}$. Если несколько расширить понятие архифонемы, т. е. вывести его за рамки привативных оппозиций Н. С. Трубецкого, то под явление нейтрализации можно подвести и случаи стирания фонологических различий у многомерных оппозиций. У многомерных оппозиций совокупность общих признаков, характеризующих данную оппозицию (A_{m1}), совпадает с архифонемой другой оппозиции, т. е. $A_{m1} = A_{m2}$. В русском языке, например, оппозиция (*з'* : *ш*) многомерна. Архифонема (A_m) данной пары может характеризоваться как фрикативная, не заднеязычная, не губная, она будет совпадать с архифонемой других оппозиций: (*с* : *с'*), (*з'* : *с*), (*ж* : *ш*) и т. п. Оппозиция (*з'* : *ш*) как и (*с* : *ж*), нейтрализуется в положении перед /*ч'*/, представителем архифонемы выступает аллофон /*ш'*/ [12]. В коми-зырянском и коми-пермяцком языках, по свидетельству В. И. Лыткина [13], предшествующий мягкий согласный уподобляет себе последующий (*j*), в результате чего получается два мягких согласных. Это означает нейтрализацию многомерной оппозиции: совокупность признаков (A_m) присуща всем мягким согласным данного языка и фонеме /j/.

[7] Ср.: Г. А. Меновщиков, «Языки народов СССР», V, стр. 368.

[8] Ср.: В. А. Аврорин, «Языки народов СССР», V, стр. 191.

[9] Ср.: И. С. Галкин и др., Современный марийский язык. Фонетика, Йошкар-Ола, 1960, стр. 97 [у Трубецкого дана несколько иная трактовка (указ. соч., стр. 261)].

[10] S. A. Schane, On the non-uniqueness of phonological representations, «Language», 44, 4, 1968, стр. 709.

[11] Положение Трубецкого о том, что нейтрализоваться могут лишь одномерные привативные оппозиции, считается центральным не только в теории нейтрализации, но и в фонологии Трубецкого вообще. Чтобы примирить это положение с фактами, можно идти лишь двумя путями: либо свести все оппозиции к одномерным привативным, либо расширить понятие архифонемы и само понятие нейтрализации. Одна из причин спора между двумя ведущими фонологами современности (Р. Якобсон и А. Мартине), очевидно, заключается в этом.

[12] Ср.: М. В. Панов, Русская фонетика, М., 1967, стр. 223.

[13] В. И. Лыткин, «Языки народов СССР», III, стр. 285, 303.

4. По характеру представителя архифонемы (c) нейтрализации могут быть подразделены на несколько родов. Понятия «архифонема» и «представитель архифонемы», думается, можно оставить. Термин «гиперфонема», предложенный В. Н. Сидоровым, будет означать фонологическую единицу, член подсистемы единиц, функционирующих в позиции нейтрализации. Так, по А. А. Реформатскому [14], в безударной позиции после твердых согласных выступают в русском языке три гиперфонемы:

$$\begin{matrix} и/э & & у \\ & а/о & \end{matrix}$$

К гиперфонемам в таком случае причисляется /$у$/, не подвергающаяся нейтрализации.

Архифонема означает иное — то общее двух противопоставленных нейтрализующихся фонем, что остается за вычетом признаков, которые различают данную пару фонем. Представитель архифонемы — нейтрализованный член (определенный вариант, аллофон), выступающий в позиции нейтрализации на месте двух нейтрализуемых фонем ($a : в) \rightarrow c$. Представитель архифонемы может совпадать с одним из членов оппозиции: $c = a$, $c = b$. По свидетельству А. Лескина [15], в сербском языке долгий гласный сокращается перед новым /$о$/ из прежнего /l/: *béla* — *bȅo*. Это означает, что в позиции перед /$о$/ оппозиция долгий ~ краткий гласный ($\overline{V} : V$) нейтрализуется в пользу краткого. В некоторых украинских говорах (по реке Сан) [16] оппозиция ($k : g$) нейтрализуется в положении после звонких в пользу звонкого: *knižga*, *kładga* = *книжка*, *кладка*. В то же время нередко представитель архифонемы не совпадает ни с одним из членов нейтрализуемой оппозиции ($c \neq a$, $c \neq b$). Если совпадение представителя архифонемы с одним из членов оппозиции более характерно для привативных и одномерных оппозиций, то несовпадение, как правило, характеризует эквиполентные и многомерные оппозиции. Исключения из этого правила легко объяснимы воздействием позиции нейтрализации.

Случаи несовпадения представителя архифонемы с членами оппозиции бывают двоякого рода. В первом случае представитель архифонемы совпадает с какой-либо третьей фонемой, встречающейся и в других позициях ($c = d$), где возможны фонологически существенные оппозиции с членами нейтрализуемой оппозиции ($a : b \rightarrow c$, но $c : a$, $c : b$ возможны). Это, например, уже приведенный случай в португальском, где фонологически существенные оппозиции составят не только ($s : z$), но и ($s : š$). Очевидно, оппозиция ($s : z$) в португальском эквиполентна. В башкирском языке [17] в позиции после глухих согласных многомерные оппозиции ($л : н$), ($д : н$), ($д : л$) нейтрализуются, представителем архифонемы выступает /$т$/ во всех трех случаях:

$$P_{\text{г}} + \left\{ \begin{matrix} л : н \\ д : н \\ д : т \end{matrix} \right\} \rightarrow \underset{(C)}{P_{\text{п}}} \quad + \emptyset : m$$

Во втором случае представитель архифонемы не совпадает не только с членами нейтрализуемой оппозиции ($c \neq a$, $c \neq b$), но и ни с одной из фонем данного языка, оставаясь аллофоном, свойственным лишь данной

[14] А. А. Реформатский, Из истории отечественной фонологии, М., 1970, стр. 64.
[15] A. Leskien, Grammatik der Serbo-Kroatischen Sprache, Heidelberg, 1914, стр. 80.
[16] J. Zilyński Opis fonetyczny języka ukraińskiego, Kraków, 1932, стр. 114.
[17] Н. К. Дмитриев, Грамматика башкирского языка, М., 1948, стр. 38 и сл.

позиции. Так в белуджском языке [18] в абсолютном исходе противопоставление ($i : \bar{e}$), ($u : \bar{o}$) не актуально: перед паузой фонемы /*i*, *u*/ сливаются с фонемами /$\bar{e}$, $\bar{o}$/, при этом /$\bar{e}$, *o*/ сокращаются, а (*i*, *u*) удлиняются. Это значит, что здесь происходит нейтрализация двух эквиполентных оппозиций: верхний (A), краткий ($\bar{B}$) ~ неверхний ($\bar{A}$), долгий (B), а в позиции нейтрализации выступает ($\bar{A}\bar{B}$) — неверхний краткий аллофон (краткие /e/, /o/ не выступают как самостоятельные фонемы). Здесь, таким образом, проявляется тенденция к симметрии фонологических систем и заполнению «пустых клеток»:

долгие		краткие		аллофоны кратких	
$\bar{i}$	$\bar{u}$	*i*	*u*	*i*	*u*
$\bar{e}$	$\bar{o}$	—	—	(*e*)	(*o*)
$\bar{a}$		*a*		*a*	

В осетинском языке [19] эквиполентные оппозиции звонкий (A), непридыхательный ($\bar{B}$) ~ глухой ($\bar{A}$), придыхательный (B) (*б* : *п*, *д* : *т*, *дз* : *ц*, *дж* : *ч*, *г* : *к*) нейтрализуются в позиции после глухого спиранта (*с*, *х*, *фъ*), представителем архифонемы и здесь выступает «минусовой» коррелят ($\bar{A}\bar{B}$) — глухой непридыхательный, преруптив, «смычный 4 разряда». Преруптивы в осетинском — пока позиционно обусловленные аллофоны. Но это — уже предпосылка возможного фонологического противопоставления абруптив — преруптив, характерного для многих языков и диалектов кавказского ареала.

Представитель архифонемы может совпадать и с обоими членами оппозиции ($c = a/b$); появление того или другого члена оппозиции при этом обуславливаются дополнительными факторами. Так, например, в испанском языке [20] оппозиция ($m : n$) в имплозивной позиции (перед согласным) нейтрализуется, и представителем архифонемы выступает /*m*/, если за ним следует губной согласный /*p*, *b*, *m*, *f*/ или /n/ перед негубным согласным /*t*, *d*, *k*, *g*/: $P_r + (m : n) \rightarrow P_{n(C)} + \emptyset : m/n$. Такой результат нейтрализации возможен не только для привативных, но и для эквиполентных оппозиций. Например, в осетинском языке эквиполентные оппозиции по глухости — звонкости и придыхательности — непридыхательности нейтрализуются и представителем архифонемы выступает звонкий после гласных, сонорных и звонких шумных или глухой в позиции перед глухим [21]: $P_r + (C^+ : C) \rightarrow P_n + \emptyset$: C^+/C.

Н. С. Трубецкой полагал, что при нейтрализации привативных оппозиций в качестве представителя архифонемы выступает, как правило, немаркированный член оппозиции: $c = A_m$ ($\bar{A}$). Это считается доказанным [22]. Наблюдения над случаями нейтрализации эквиполентных оппозиций подтверждают это правило: и здесь в качестве представителя архифонемы обычно выступает «минусовой коррелят»: $c = A_m$ ($\bar{A}\bar{B}$).

При нейтрализации многомерных оппозиций немаркированный представитель архифонемы слишком абстрактен для реализации в реальном звуке. В этом случае происходит сложение признаков архифонемы и той фонемы, которая обуславливает нейтрализацию. Так, в русском языке многомерные оппозиции (*з* : *ш*), (*с* : *ж*), (*с* : *ш*), (*з* : *ж*) в позиции перед шипящими нейтрализуются, представителем архифонемы выступает то

[18] В. С. Соколова, Очерки по фонетике иранских языков, I, М., 1953, стр. 48.
[19] Г. С. Ахвледиани, Грамматика осетинского языка, I, Орджоникидзе, 1963, стр. 59.
[20] Н. А. Катагощина, Особенности фонологической системы современных иберо-романских языков, М., 1970, стр. 139.
[21] Ср.: М. И. Исаев, «Языки народов СССР», I, стр. 241.
[22] Ch. E. Cairns, Markedness, neutralization and universal redundancy rules, стр. 875; Н. А. Катагощина, указ. соч., стр. 133.

общее, что их объединяет; оно осложнено признаками фонем, обуславливающих нейтрализацию (глухая или звонкая шипящая): $A_m + CD$:/шшыт', ижжыт', раш'шо́т, гру́ш ш'ик/. В башкирском языке [23] серия многомерных и эквиполентных оппозиций (*л* : *н*), (*н* : *т*), (*д* : *н*), (*д* : *л*), (*д* : *т*), (*д* : *ҙ*) нейтрализуются на стыке морфем, и в качестве представителя архифонемы выступает архифонема плюс общие признаки фонем, обусловивших нейтрализацию. А именно: /*т*/ — позиция после глухих, /*л*/ — позиция после гласных, /*ҙ*/ — в остальных случаях.

Однако и маркированный член оппозиции также может выступать в качестве представителя архифонемы. Это бывает в привативных и эквиполентных оппозициях, в тех случаях, если фонема, обусловившая нейтрализацию, обладает тем же признаком, на основании которого противопоставляются данные члены оппозиции: $c = A_m\ (+A)$, $c = A_m\ (+AB)$ или $A_m(+C)$. Здесь нет противоречия с положением о немаркированности архифонемы, ибо «маркированность» представителя архифонемы обусловлена позицией. Так, в селькупском языке [24] привативные (*к* : *ӈ*), (*ӈ* : *к*) и эквиполентные (*ӈ* : *ң*) оппозиции нейтрализуются в положении перед /*ӈ*/, и в качестве представителя архифонемы выступает /*ӈ*/. Другие нейтрализации в том же языке подтверждают тезис Н. С. Трубецкого о том, что при нейтрализации обнаруживается родство оппозиций [25]. Так, корреляция носовой — неносовой смычный в позиции перед несмычным /*с*/ и /*л*/ нейтрализуется и представителем архифонемы выступает архифонема, маркированная признаками фонем, обусловивших нейтрализацию:

P_r	$P_n\,(c)$	$P_n\ (л)$
п : *м*	*п*	β A_m—губной + сонорный
т : *н*	*с*	*л* A_m—переднеязычн. + сонорный
к : *ң*	*к*	*ң* A_m—заднеязычн. ± сонорный

В этом случае характер нейтрализации позволяет определить направление маркированности: так как представитель архифонемы почти во всех случаях неносовой, маркированным членом оппозиции следует считать носовой коррелят.

Однако есть случаи, где как будто наблюдается несоответствие кардинальному положению Н. С. Трубецкого о немаркированном характере архифонемы. Например, в киргизском языке [26] оппозиция (*п* : *б*) нейтрализуется, представителем архифонемы в позиции конца слова выступает немаркированный член оппозиции /*п*/, а в позиции начала слова — маркированный /*б*/:

$$P_r + \left\{ \begin{matrix} (п : б) \\ A_m\,(\bar{A} : A) \end{matrix} \right\} \rightarrow P_n \quad (\neq) + \begin{cases} \emptyset : п \,/\, б \\ \emptyset : A_m\ (\bar{A}/A) \end{cases}$$

Сюда не относится озвончение глухих в русском языке /*лугбы* = *лук* и *луг*/. Здесь «плюс» обусловлен позицией.

Вслед за Н. С. Трубецким считается [27], что при нейтрализации вокалических оппозиций представителем архифонемы выступает крайний член оппозиции. В таком случае его следует считать немаркированным, если кардинальное положение теории нейтрализации верно не только для консонантизма, но и для вокализма. Однако в любой фонологической теории, при любом фонологическом описании системы вокализма именно крайние

[23] Ср.: Н. К. Дмитриев, указ. соч., стр. 38; А. А. Юлдашев, «Языки народов СССР», II, стр. 177.
[24] Ср.: Е. Д. Прокофьева, «Языки народов СССР», III, стр. 398.
[25] Н. С. Трубецкой, указ. соч., стр. 86 и сл., 260.
[26] Б. М. Юнусалиев, «Языки народов СССР», II, стр. 483.
[27] Н. А. Катагощина, указ. соч.

члены вокалических оппозиций всегда считаются маркированными: верхний — неверхний, нижний — ненижний, компактный — некомпактный, диффузный — недиффузный. Представить себе иное описание вокалической системы с немаркированными крайними членами оппозиций едва ли возможно. Очевидно, это и будет исключением из общего правила о немаркированном характере представителя архифонемы. В некоторых редких случаях может выступать и маркированный член оппозиции как представитель архифонемы, даже тогда, когда маркированность не обусловлена характером позиции нейтрализации.

Попутно следует добавить, что и из правила относительно крайнего члена есть исключения. Так, в украинском языке [28] оппозиция (*е* : *и*) в безударном положении нейтрализуется, согласно общему правилу, в пользу крайнего члена /*и*/ — в литературном языке и части южных говоров, но реже (по говорам) наблюдается нейтрализация и в пользу среднего члена — именно в этом случае немаркированный член оппозиции выступает представителем архифонемы: $P_r + (е \quad и) \rightarrow P_n (\breve{V}) \rightarrow ø : е$. Там же встречается и нейтрализация (*о* : *у*) в пользу /*о*/, в тех же условиях нейтрализации. Наряду с обычной нейтрализацией эквиполентной оппозиции (*а* : *о*) в пользу немаркированного представителя архифонемы в белорусских говорах [29] существует нейтрализация в пользу маркированного представителя архифонемы: $P_r + (а : о) = V (A\bar{B} : \bar{A}B) \rightarrow P_n + (ø : о) = V (AB)$. Вероятно, и /*о*/ позиции нейтрализации здесь более широкие, низкого подъема: *сомова́р*, *порохо́т*.

5. По характеру позиции нейтрализации (P_n) все нейтрализации фонологических оппозиций подразделяются на несколько видов. Критерии классификации 1) место позиции нейтрализации относительно фонемы, обуславливающей нейтрализацию; 2) направление нейтрализации относительно развертывающейся звуковой цепи; 3) характер воздействия позиции нейтрализации; 4) отношение между фонемой, обуславливающей нейтрализацию, и членами нейтрализуемой оппозиции.

1) По месту позиции нейтрализации нейтрализующиеся фонологические оппозиции можно подразделить на: а) контактные ($\underline{P_n}$); б) дистактные ($\underline{\underline{P_n}}$), в) контактно-дистактные ($\underline{\underline{\underline{P_n}}}$).

Чаще встречаются контактные нейтрализации. Они наиболее характерны для консонантизма, хотя возможны и для вокалических нейтрализаций. Ср., например, умеренное яканье в русском диалектном языке; ср. обусловленность представителя архифонемы мягкостью последующего согласного при нейтрализации оппозиции (*а* : *е*) в болгарских говорах: *л'а́ту* — *л'е́т'ин*, *шл'а́па* — *шл'е́п'и*.

Дистактные нейтрализации наиболее характерны для вокалических оппозиций. Так, в словацком языке оппозиции долгих и кратких гласных ($\bar{V} : V$) нейтрализуются в пользу немаркированного члена оппозиции (ø : *V*), если гласный предшествующего слога долгий. К дистактным вокалическим нейтрализациям можно отнести общеизвестные многочисленные случаи гармонии гласных в агглютинирующих тюркских и угро-финских языках, где качество представителя архифонемы аффикса обусловлено качеством гласной фонемы корня [30]. Дистактная консонантная нейт

[28] Ф. Т. Жилко, Нейтралізація фонологічних оппозицій в українській мові, «Фонологический сборник», Донецк, 1968, стр. 143.

[29] Н. Т. Войтович, О структурном параллелизме типов безударного вокализма и нарушениях его в белорусских говорах, ВЯ, 1971, 2, стр. 85.

[30] Ср.: А. М. Щербак, Сравнительная фонетика тюркских языков, М., 1970, стр. 65, где дается иная фонологическая трактовка этого явления; там же дана литература.

рализация встречается значительно реже. Так, по данным Балкарова [31], в некоторых диалектах адыгских языков оппозиции по твердости — мягкости шипящих нейтрализуются и представителем архифонемы выступает либо мягкий, либо твердый шипящий, если в последующих слогах есть соответственно мягкий или твердый шипящий. Любопытный пример дистактной нейтрализации дает осетинский язык [32]: оппозиции по глухости — звонкости согласных нейтрализуются в пользу звонкого коррелята, если в последующих слогах есть глухой (абруптивный или придыхательный), и это проявляется в заимствованиях, например, русск. *полковник* = осет. *булкъон*. В целом же, с учетом нейтрализации по глухости — звонкости, для осетинского характерна контактно-дистактная нейтрализация P_n.

2) По своему направлению нейтрализации делятся на а) прогрессивные $\overrightarrow{P_n}$, собственно, $P_n + (\emptyset : c)$, б) регрессивные $\overleftarrow{P_n}$, собственно, $(\emptyset : c) + \overrightarrow{P_n}$; в) прогрессивно-регрессивные, $\overleftrightarrow{P_n}$, $\underleftrightarrow{P_n}$, собственно, $P_n + (\emptyset : c) + \overleftarrow{P_n}$.

Прогрессивные ($\overrightarrow{P_n}$) консонантные нейтрализации наиболее характерны для урало-алтайских агглютинирующих языков, несколько реже они встречаются в языках флективных. Нередки случаи и прогрессивной вокалической нейтрализации, они охватывают многочисленные случаи палатальной или лабиальной гармонии гласных.

Регрессивные нейтрализации ($\overleftarrow{P_n}$) возможны не только во флективных, но и в агглютинативных языках.

Прогрессивно-регрессивные нейтрализации бывают различными. В одних случаях фонемы, обуславливающие нейтрализацию, стоят одновременно и перед, и после представителя архифонемы; ср. например, нейтрализацию в интервокальном положении, которую можно обозначить символом $\overleftrightarrow{P_n}$. В других случаях наблюдается сочетание прогрессивной и регрессивной нейтрализации для одной и той же нейтрализуемой оппозиции: данная оппозиция нейтрализуется в положении после одного класса прогрессивно, но, попав в положение перед другим классом фонем, она нейтрализуется регрессивно, что можно обозначить символом $\underleftrightarrow{P_n}$. Хорошим примером такой нейтрализации может служить нейтрализация по глухости — звонкости в осетинском языке. Сюда же можно отнести нейтрализацию оппозиции (*с* : *ш*) в чувашском языке [33], где представитель архифонемы /*ш*/ выступает рядом с /*ш*/, обуславливающим нейтрализацию, независимо от того, стоит ли /*ш*/ перед или после нейтрализуемой оппозиции: $P_r + (с : ш) \rightarrow \underleftrightarrow{P_n}\,(ш) + \emptyset : ш$.

К прогрессивно-регрессивной нейтрализации можно отнести и сочетание регрессивной нейтрализации с прогрессивно-регрессивной нейтрализацией первого подвида ($\overleftrightarrow{P_n}$). Так, в алеутском [34] языке конечные щелевые /*x*/ и /*x*'/ увулярный/ под влиянием последующего звонкого или в интервокальном положении озвончаются:

$$P_r + \left\{ \begin{matrix} x : z \\ x' : z' \end{matrix} \right\} \rightarrow \left\{ \begin{matrix} \overleftarrow{P_n} & (C^+) \\ \underleftrightarrow{P_n} & (VCV) \end{matrix} \right\} + \emptyset : \left\{ \begin{matrix} z \\ z' \end{matrix} \right.$$

[31] Б. Х. Балкаров, Фонетика адыгских языков, Нальчик, 1970, стр. 44.
[32] Г. С. Ахвледиани, Грамматика осетинского языка, стр. 59.
[33] И. А. Андреев, «Языки народов СССР», II, стр. 46.
[34] Г. А. Меновщиков, «Языки народов СССР», V, стр. 388.

Особую группу прогрессивно-регрессивных (или регрессивно-прогрессивных) нейтрализаций составляют случаи, когда представитель архифонемы одновременно является и фонемой, обусловливающей нейтрализацию. Так, например, в кумыкском языке [35] оппозиция (*м* : *б*) нейтрализуется в пользу носового в позиции после носового, и одновременно оппозиция (*м* : *н*) нейтрализуется перед губным в пользу губного. В этом случае нейтрализация оказывается взаимообусловленной:

$$+\begin{cases} P_r + (м : б) \longrightarrow & P_n(N) + \emptyset : м \\ P_r + (м : н) & \overrightarrow{P_n}\ (б) + \emptyset : м \end{cases}$$

$$P_r + (м : б) + (м : н) \rightarrow P_n + \emptyset : м + м$$

В результате этого имеем в кумыкском языке: *н* + *м* → *мм* и *н* + *б* → → *мм*.

Другие коррелятивные оппозиции кумыкского языка такого положения и взаимообусловленности не дают:

$$P_r + \begin{Bmatrix} (н : g) \\ (н : л) \end{Bmatrix} \rightarrow \underset{\rightarrow}{P_n(N)} \quad + \emptyset : н, \text{ т. е., } \begin{array}{r} н + л = нн \\ н + g = нн \\ м + g = мн \end{array}$$

$$P_r + (м : н) \rightarrow P_{n(I)} \quad + \emptyset : м, \text{ т. е. } \begin{array}{r} н + п = мп \\ н + б = мм \end{array}$$

Для нейтрализаций фонологических оппозиций в венгерском языке [36] характерно наложение прогрессивного и регрессивного принципа. Серия оппозиций (*t* : *d*), (*t* : *d'*), (*d* : *d'*), (*c* : *t*) и др. нейтрализуется в положении перед /*s*/, в качестве представителя архифонемы выступает /*c*/ — это регрессивная нейтрализация. Одновременно в позиции после /*c*/ оппозиция (*s* : *c*) нейтрализуется в пользу /*c*/. И здесь, как и в кумыкском, представитель архифонемы является одновременно фонемой, обуславливающей нейтрализацию, т. е. имеет место взаимообусловленная прогрессивно-регрессивная нейтрализация. В результате этого в венгерской орфографии наблюдается: *t* + *sz* → *cc*, *d* + *sz* → *cc*, *gy* + *sz* → *cc*, *c* + *sz* → *cc*. Точно такая же нейтрализация перед /š/ в венгерском дает /čč/.

Весьма схожие по характеру и результатам нейтрализации наблюдаются в словацком языке [37]: оппозиции (*d* : *t*), (*d'* : *t'*), (*d* : *t'*), (*d'* : *t*) нейтрализуются в позиции перед /*s*/ и перед /*š*, *č*/, в результате взаимообусловленной прогрессивно-регрессивной нейтрализации общим представителем архифонемы выступает соответственно /*cc*/ или /*čč*/.

3) По характеру воздействия фонемы, обусловившей нейтрализацию, на представителя архифонемы нейтрализации фонологических оппозиций делятся на а) ассимилятивные, б) диссимилятивные и в) ассимилятивно-диссимилятивные.

Под ассимилятивной нетрайлизацией понимается тот случай, когда фонема, обусловившая нейтрализацию, имеет тот же признак (*A*), что и представитель архифонемы; при P_n (*A*) $c = A_m + A$, тогда у двух рядом стоящих фонем — у представителя архифонемы и у фонемы, обусловившей нейтрализацию, общий признак (*A*) можно вынести за скобку: P_n (*A*) + + ø (A_{m_1}: A_{m_2}) *A*. При этом общий признак (или признаки), вынесенный за скобку, может иметь как положительное, так и отрицательное значение. Так, в кабардинском языке нейтрализации оппозиций глухой

[35] Ср.: А. А. Молдаев, Фонетика кумыкского литературного языка. Канд. диссерт., Махачкала, 1967, стр. 150.

[36] К. Е. Майтинская, Венгерский язык, I, М., 1955, стр. 78.

[37] Ср.: O. Schulrová, Úvod do fonetiky slovenčtíny, Bratislava, 1970, стр. 82—83.

придыхательный ($\bar{A}B$) ~ звонкий непридыхательный ($A\bar{B}$) ~ абруптивный, глухой непридыхательный ($\bar{A}\bar{B}$) формально выражаются так [38]:

$$P_r + \begin{Bmatrix} (C^+ : C) \\ C\,(\bar{A}B : A\bar{B}) \end{Bmatrix} \rightarrow \begin{matrix} P_n\,(\bar{A}B) + (C_1 + C_n)\bar{A}B \\ P_n\,(A\bar{B}) + (C_1 + C_n)\bar{A}\bar{B}, \end{matrix}$$

т. е. оппозиция глухой ~ звонкий нейтрализуется — перед звонким выступает общий положительный признак (B), а перед абруптивным представителем архифонемы выступает абруптивный — при общих отрицательных признаках ($\bar{A}\bar{B}$).

В случае диссимилятивной нейтрализации при положительном значении признака P_n (A) имеем отрицательное значение того же признака у представителя архифонемы $c = A_m + (\bar{A})$ — и наоборот, при P_n ($\bar{A}$) $c = A_m + (A)$. В современном хинди [39] нейтрализуется оппозиция по придыхательности (A) перед придыхательным (A) в пользу непридыхательного: $P_r + C\,(A : \bar{A}) \rightarrow P_{n(A)} + C\,(\bar{A}) : \varnothing$. В бурятском языке [40] нейтрализуется оппозиция по силе ($d : t$). В позиции после сильных согласных выступает слабый /d/, а после слабых согласных — сильный /t/.

Ассимилятивно-диссимилятивная нейтрализация реализуется как наложение двух разнонаправленных нейтрализаций одной и той же оппозиции. Так, в калмыцком языке [41] оппозиция ($s : c$) нейтрализуется, представителем архифонемы выступает /c/ в позиции после /t/ ассимилятивно, а после /s/ — диссимилятивно. Сложный характер ассимилятивно-диссимилятивной нейтрализации можно констатировать в ботлихском языке [42], где оппозиции по назальности ($б : м$), ($р : н$) в позиции перед носовым гласным нейтрализуются ассимилятивно в пользу назального, но одновременно после носовых согласных оппозиции по назальности гласных нейтрализуются диссимилятивно, в пользу неносового: $\{(C : N) \rightarrow \underset{\leftarrow}{P_n}\,(V_n) + \varnothing : N\} + \{(V : V_n) \rightarrow P_n\,(N) + \varnothing : V\}$

4) Отношение фонемы, обусловившей нейтрализацию, к нейтрализуемой оппозиции может быть описано четырьмя случаями: член данной (a) или родственной (a_1) оппозиции; член данной (A) или родственной (A_1) корреляции.

Под корреляцией понимается несколько оппозиций, строящихся на одном (или двух) общем признаке (признаках).

Если фонема, обусловившая нейтрализацию, является одновременно и членом нейтрализуемой оппозиции, то фактически P_n (a) либо P_n (b) при нейтрализации ($a : b$). Если же P_n является членом данной корреляции, то общим у ($a : b$) и P_n должен быть признак (или признаки) в положительном или отрицательном значении. В карачаево-балкарском языке [43] оппозиция ($д : н$) нейтрализуется и представителем архифонемы выступает /$н$/ в положении после /$н$/, т. е. $(д : н) \rightarrow P_{n(H)} + \varnothing : н$, как и вообще после всех носовых /$м$, $н$, $ң$/; $(д : н) \rightarrow P_{(N)} + \varnothing : A_{m(N)}$. Нейтрализация здесь обусловлена признаком (N назальность) той же корреляции, в которую входит и данная оппозиция.

Если фонема, обусловившая нейтрализацию, не является членом той же оппозиции или корреляции, то она является членом родственной оп-

[38] Б. Х. Балкаров, указ. соч., 1970, стр. 42—43.
[39] К. Гуру, Грамматика хинди, I, М., 1957, стр. 64.
[40] Ср.: Н. Д. Бураев, Звуковой состав бурят-монгольского языка, Канд. диссерт., Л., 1956, стр. 295.
[41] П. Ц. Биткеев, Экспериментальное исследование звукового строя калмыцкого языка. Канд. диссерт., Л., 1965, стр. 131.
[42] Ср.: Т. Е. Гудава, «Языки народов СССР», IV, стр. 293.
[43] М. А. Хабичев, «Языки народов СССР», II, стр. 216.

позиции или корреляции. Обычно такие отношения наблюдаются при взаимодействии консонантных и вокалических оппозиций. Так, например, в русском языке, противопоставление твердых и мягких согласных нейтрализуется перед /*e*/ (за исключением случаев типа [дэпо]) в пользу мягкого коррелята, а в украинском, наоборот, в пользу твердого; ясно, что признаки мягкости согласных и переднего ряда гласных родственны. В хиналугском языке [44] коррелятивные оппозиции по лабиальности согласных нейтрализуются в позиции перед лабиализованными гласными в пользу немаркированного члена. В агульском языке [45] та же корреляция нейтрализуется лишь в позиции перед /*u*/.

Позиция нейтрализации (P_n) может характеризоваться также степенью полноты влияния оппозиций, обуславливающих нейтрализацию. Обуславливать нейтрализацию могут оба члена оппозиции (или корреляции). В этом случае оппозиция нейтрализуется рядом как с маркированным (A), так и с немаркированным членом оппозиции или корреляции ($P_n = A, \bar{A}$). Такая нейтрализация называется двусторонней. Примером двусторонней нейтрализации является нейтрализация по глухости — звонкости в русском и других языках [46], где нейтрализация происходит как рядом со звонким, так и с глухим согласным. В коми-зырянском языке [47] глухой согласный под влиянием следующего звонкого озвончается, но обратный процесс оглушения звонкого не наблюдается. Это — односторонняя нейтрализация.

Односторонняя нейтрализация обуславливается, как правило, маркированным членом. Немаркированный член оппозиции относится уже к позиции релевантности: ($P_n = A$, $P_r = \bar{A}$). Так, в русском языке оппозиция по твердости — мягкости согласных (C' : C) нейтрализуется в положении перед гласным переднего ряда ('V) (ср.: *соль — соление*, *солить* и *стол — в столе*, *столик*). Перед гласным заднего ряда твердые и мягкие согласные различаются, хотя на это правило накладываются некоторые ограничения.

5. По характеру нейтрализации $P_n + (a : b) \rightarrow P_r + \varnothing : c$ можно различать следующие типы: 1) структурные нейтрализации, обуславливаемые структурой слова, 2) контекстные нейтрализации, обуславливаемые контекстом, т. е. качеством соседних фонем; 3) нейтрализации смешанного, структурно-контекстного типа.

Примером структурной нейтрализации могут служить нейтрализации безударных гласных в русском литературном языке, но различные типы яканья следует отнести к структурно-контекстной нейтрализации, так как они обуславливаются не только безударным положением, но и качеством соседнего согласного (умеренное яканье) или качеством ударенного слога (диссимилятивное яканье). В башкирском языке [48] можно отметить интересный случай структурной нейтрализации оппозиций глухой (сильный) ~ звонкий (слабый) для (*к*, *қ*, *п*,: *г*, *б*); при этом в позиции начала слова выступает слабый, а в конце слова — сильный (глухой) коррелят оппозиций. К структурно-контекстной нейтрализации следует отнести и случаи вокалической гармонии в урало-алтайских агглютинирующих языках, где нейтрализация и ее характер обусловлены не только положением в аффиксе (или в неначальном слоге), но и качеством гласной корневой морфемы (или начального слога). Иногда факторы, обуславливающие характер нейтрализации, находятся в сложном взаимодействии. Так, на-

[44] Ю. Д. Дешериев, «Языки народов СССР», IV, стр. 659.
[45] А. А. Магометов, «Языки народов СССР», IV, стр. 562.
[46] Ср.: Р. Грабис, «Языки народов СССР», I, стр. 466 (латышский язык).
[47] В. И. Лыткин, «Языки народов СССР», III, стр. 285.
[48] А. А. Юлдашев, «Языки народов СССР», II, стр. 177.

пример, в луговом наречии марийского языка [49] структурная нейтрализация отчленяет не только аффиксы (палатальная гармония ряда, resp. нейтрализация гласных переднего ряда), но и конечный слог (лабиальная гармония, resp. нейтрализация *ö*, *о* ~ *э*); характер представителя архифонемы обусловливается контекстом: качеством гласного корневой морфемы (передний ~ задний ряд) и одновременно качеством ударенной гласной (лабиализованная ~ нелабиализованная).

Особый подтип нейтрализации составляют такие нейтрализации, где структурная нейтрализация совпадает с контекстной. Так, например, в современном русском языке нейтрализация согласных по глухости — звонкости позиции конца слова, являясь структурной, совпадает с контекстной нейтрализацией в позиции перед глухими согласными. Таким образом, в целом русская нейтрализация оппозиций согласных по глухости — звонкости является структурно-контекстной.

6. По степени полноты нейтрализации можно разбить на несколько типов. Полные коррелятивные нейтрализации охватывают все оппозиции, входящие в данную корреляцию; при этом позиция нейтрализации обусловлена всеми членами той же или родственной оппозиции. В калмыцком [50] языке корреляция среднеязычный (A) ~ несреднеязычный ($\bar{A}$) согласный ($\hbar$, ʒ, ɲ, λ ~ t, d, n, l) нейтрализуется в позиции перед среднеязычным (A) в пользу среднеязычного: $P_r + C\,(A : \bar{A}) \rightarrow P_n\,(A) + \varnothing : CA$. В язгулямском языке [51] все оппозиции согласных, входящих в корреляцию лабиализации ($x^0 : x$, $\gamma^0 : \gamma$, $\check{x}^0 : \check{x}$, $k^0 : k$, $g^0 : g$), нейтрализуются в позиции перед лабиализованным согласным (все члены родственной корреляции) и перед нелабиализованным согласным (та же корреляция); в позиции нейтрализации выступает немаркированный член (нелабиализованный согласный): $P_r + (C^0 : C) \rightarrow P_n \left\{{V \atop C}\right\} + \varnothing : c$.

Коррелятивная нейтрализация является неполной (частичной), если нейтрализуются не все оппозиции, входящие в данную корреляцию. Так, в русском языке реально нейтрализуются в позиции конца слова лишь 10 из 11 пар по звонкости — глухости — все, кроме /*г*' : *к*'), так как /*к*'/ не выступает в этой позиции. Внутри слова в этой нейтрализации участвует лишь 5 пар из 10 возможных /*т* — *д*, *т*' — *д*', *с* — *з*, *с*' — *з*', *к* — *г*/. Коррелятивная нейтрализация в эвенкийском является частичной, так как нейтрализуются лишь три из четырех возможных оппозиций. Здесь в позиции после носового /*м*, *н*, *н*', *ӈ*/ нейтрализуются в пользу носового оппозиции (*м* : β), (*ӈ* : *г*) и (*н* : *р*). Это свидетельствует и о том, что отношения между /н/ и /р/ основаны на признаке назальности.

Оппозиционные нейтрализации охватывают лишь одну оппозицию, нейтрализующуюся рядом с членом одной какой-либо оппозиции. Так, в каракалпакском языке [52] оппозиция (*м* : *н*) нейтрализуется перед /*б*/, в качестве представителя архифонемы выступает /*м*/, что и проявляется как регрессивная ассимиляция *н* + *б* → *м* + *б*. В киргизском языке [53] многомерная оппозиция (*з* : *ш*) нейтрализуется в позиции перед /*с*/, представителем архифонемы выступает /*с*/.

Коррелятивно-оппозиционные нейтрализации охватывают несколько нейтрализующихся оппозиций, входящих в данную корреляцию, но позиция нейтрализации обусловлена лишь одной какой-либо оппозицией. Так,

---

[49] Л. П. Грузов, Фонетика, диалектов марийского языка в историческом освещении, Йошкар — Ола, 1965, стр. 140 и сл.
[50] П. Ц. Биткеев, указ. соч., стр. 130.
[51] Ср.: О. А. Константинова, «Языки народов СССР», V, стр. 68—71.
[52] Н. А. Баскаков, «Языки народов СССР», II, стр. 303.
[53] Б. М. Юнусалиев, «Языки народов СССР», II, стр. 483.

в андийском языке [54] оппозиция гласных по признаку лабиальности (^0V = о, *u*, $V \neq e$, *i*) нейтрализуется в позиции после согласного /*b*/, представителем архифонемы выступает маркированный член (^0V = *о*, *u*) т. е. $P_r + (^0V : V) \rightarrow P_n (b) + \emptyset : {}^0V$.

Оппозиционно-коррелятивная нейтрализация охватывает лишь одну оппозицию, нейтрализующуюся рядом с членами родственной корреляции. Так, в кабардинском языке [55] оппозиция (*е* : *о*) нейтрализуется в позиции между маркированными членами консонантной корреляции по лабиальности. В гагаузском языке [56] оппозиция (*н* : *л*) нейтрализуется в пользу /*н*/ после всех носовых согласных.

7. По отношению к реальной действительности нейтрализации можно подразделить на реальные и потенциальные. Реальные — те, которые фиксируются в данной фонологической системе на данном этапе ее развития. Потенциальные — те, которые могут реализоваться на основании той системы оппозиций, которая сложилась в данной системе. Реализация потенциальных нейтрализаций может осуществляться на последующих этапах развития данной системы или в близких диалектных фонологических системах.

Это, прежде всего, те случаи, когда не все оппозиции, входящие в корреляцию, нейтрализуются или вызывают нейтрализацию. Это, далее, те случаи, когда в коррелятивной нейтрализации участвуют не только фонемы, но и аллофоны.

Так, до недавнего времени оппозиция (*к* : *к'*) в русском языке была фонологически несущественной, (*к* : *к'*) были вариантами одной фонемы, нейтрализация (*к* : *к'*) в позиции перед гласными переднего ряда была потенциальной, но строго обуславливалась коррелятивной нейтрализацией твердых и мягких согласных. Можно полагать, что и древний процесс *кы* → → *к'и* в определенной мере связан с обусловленностью появления потенциально нейтрализуемой оппозиции (*к'* : *к*) в эпоху формирования коррелятивной нейтрализации (*С'* : *С*). В современном русском языке существуют глухие и звонкие аллофоны сонорных фонем (*отедз бы*) (*додж'бы*). Их появление, безусловно, связано с системой коррелятивных нейтрализаций по глухости — звонкости и твердости — мягкости в современном русском языке, обуславливающих появление потенциальных нейтрализаций, а в данном случае появление именно этих, а не каких-либо других аллофонов. Тенденция к симметрии, к заполнению «пустых клеток», очевидно, объясняется наличием соответствующих коррелятивных нейтрализаций. Видимо, не случайно формулы конвергенции и дивергенции фонем Е. Д. Поливанова напоминают формулу нейтрализации: $a \times b \rightarrow c$ и $a \rightarrow b \div c$, $P_r + (a : b) \rightarrow P_n + (\emptyset : c)$. Совпадение двух фонем в одной или расщепление одной фонемы на две трудно представить без этапа нейтрализации.

8. Отношение между позицией релевантности и позицией нейтрализации является весьма важной характеристикой нейтрализуемой оппозиции. В некоторых случаях оппозиция реализуется лишь в одной позиции, все прочие возможные позиции в данном языке оказываются позициями нейтрализации. Так, например, в чувашском языке [57] оппозиции сонорных по долготе реализуются лишь в интервокальном положении, а все остальные возможные позиции являются позициями нейтрализации, в качестве представителя архифонемы высту-

[54] И. И. Церцвадзе, «Языки народов СССР», IV, стр. 278—279.
[55] Б. Х. Балкаров, указ. соч., стр. 46, 96—97.
[56] Ср.: Л. А. Покровская, «Языки народов СССР», II, стр. 112.
[57] И. А. Андреев, «Языки народов СССР», II, стр. 45.

нает немаркированный член оппозиции (краткий сонорный). Это слабые оппозиции, они, как правило, свидетельствуют либо о дефонологизации фонем, либо о фонологизации прежних аллофонов. Сила оппозиции прямо пропорциональна числу позиций релевантности, дифференциации (D) и обратно пропорциональна числу позиций нейтрализации (N). Естественно, чем больше число коррелятивных пар (n), тем сильнее оппозиция. Можно в каждом конкретном случае вычислить силу фонологической нейтрализуемой оппозиции [58] по формуле:

$$F = n\frac{D}{N}$$

9. Подводя итог всему сказанному, можно предложить следующую схему:

Классификация фонологических нейтрализаций:

по характеру нейтрализации в целом $P_n + (a : b) \rightarrow P_n + \varnothing : c$

A. 1) структурная
2) контекстная
3) структурно-контекстная

B: 1) коррелятивная
2) оппозиционная
3) коррелятивно-оппозиционная
4) оппозиционно-коррелятивная

по характеру нейтрализуемой оппозиции ($a : b$)

A. 1) привативная $(a : b) = A_m\,(A\colon \bar{A})$
2) эквиполентная $(a : b) = A_m\,(A\bar{B} : \bar{A}B)$

B. 1) одномерная $A_{m_1} \neq A_{m_2}$
2) многомерная: $A_{m_1} = A_{m_2}$

по характеру представителя архифонемы (c)

A: 1) $c = a,\ c = b,\ c = a/b$
2) $c \neq a,\ c \neq b,\ c = d$

B: 1) $c = A_m\,(\bar{A})$
2) $c = A_m\,(\overline{A\bar{B}})$

C: 1) $c = A_m + A$
2) $c = A_m + AB$
3) $c = A_m + CD$

по характеру позиции нейтрализации (P_n)

A: 1) контактная ($\underline{P_n}$)
2) дистактная ($\overline{P_n}$)
3) контактно-дистактная ($\underset{\cdots}{\overline{P_n}}$)

B: 1) прогрессивная ($\overrightarrow{P_n}$)
2) регрессивная ($\overleftarrow{P_n}$)
3) прогрессивно-регрессивная ($\underset{\longleftrightarrow}{P_n}$, $\underset{\rightleftarrows}{P_n}$)

C: 1) ассимилятивная
2) диссимилятивная
3) ассимилятивно-диссимилятивная

Д: 1) член данной оппозиции: $P_n\,(a)$
2) член данной корреляции: $P_n\,(A)$
3) член родствен. оппозиции: $P_n\,(a_1)$
4) член родствен. корреляции: $P_n\,(A_1)$

Е: 1) односторонняя: $P_n\,(A),\ P_r\,(\bar{A})$
2) двусторонняя: $P_n\,(A,\ \bar{A})$

[58] В. К. Журавлев, Понятие силы фонологической оппозиции, сб. «Фонетика фонология, грамматика», М., 1971.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1972

Г. ДЁРФЕР

МОЖНО ЛИ ПРОБЛЕМУ РОДСТВА АЛТАЙСКИХ ЯЗЫКОВ РАЗРЕШИТЬ С ПОЗИЦИЙ ИНДОЕВРОПЕИСТИКИ?

В последние годы заметно увеличилась литература по проблеме родства алтайских языков [1]; в частности, эта проблема обсуждается и на страницах журнала «Вопросы языкознания» [2]. Недавно вышла в свет книга, целиком посвященная этой проблематике и затрагивающая ряд методических вопросов исследования [3]. На статье Л. Г. Герценберга «Алтаистика с точки зрения индоевропеиста», помещенной в этой книге, я хотел бы остановиться особо — прежде всего потому, что мои возражения автору касаются ключевых вопросов алтаистики.

В первых двух разделах этой статьи приводятся некоторые общие замечания к проблеме доказательств праязыкового родства вообще, преимущественно с индоевропеистической точки зрения; третий раздел касается моей статьи о соответствиях тюркским долгим гласным в тунгусском [4].

По поводу первых двух разделов статьи следует признать, что взгляды мои и автора во многом сходятся. Так, на стр. 38 и сл. приводятся критические исправления к статье Дж. Клоусона, действительно, не вполне совершенной в методическом отношении (теми средствами, какими пытался сделать это Дж. Клоусон, теорию алтайского праязыкового родства опровергнуть нельзя [5]). Правда, в то же время представляется, что сам Л. Г. Герценберг также еще не сказал последнего слова в этом вопросе (см. стр. 41, пункты 6 и 7). Тем не менее благодаря этому дискуссия по сложной проблеме алтаистики обогатилась и стала более плодотворной.

Что же касается сопоставлений алтайских лексем, производимых на стр. 41—42, то их, напротив, приходится признать по большей части ошибочными (см. особенно пункт 7 на стр. 41). Многие из этих сопоставлений вряд ли могут быть признаны кем-либо из алтаистов, независимо от того, выступает тот за или против алтайской гипотезы. Автор сравнивает, например, монг. *üsür-* «опрыскивать» и тюрк. *äs-* «рассеивать», а также тюрк. *us-* «иметь жажду»; монг. *üjmege* «приводить в беспорядок» и тюрк. *um* «расстройство (желудка)»; монг. *ülegü* «излишек», «лучше» и тюрк. *el* «народ», а также тюрк. *ula-* «присоединять» (стр. 41). В результате такого сопоставления оказывается, что монгольскому *ü* соответствуют тюрк. *ä*, *e*, *u*. Здесь проявляется чисто индоевропеистический образ мышления: в индоевропейском праязыке, как известно, действовал аблаут, т. е. изменение корневого гласного; поэтому разноязычные индоевропейские формы, которые показывают различные гласные, тем не менее могут быть изначально

---

[1] Под «алтайскими языками» здесь разумеются тюркские, монгольские, тунгусские.

[2] См.: Дж. К л о у с о н, Лексикостатистическая оценка алтайской теории, ВЯ, 1969, 5; Л. Л и г е т и, Алтайская теория и лексикостатистика, ВЯ, 1971, 3, и др.

[3] «Проблема общности алтайских языков», Л., 1971 (при разборе статьи Л. Г. Герценберга страницы этой книги приводятся в тексте).

[4] См.: «Die Entsprechung der türkischen Langvokale im Tungusischen», UAJb. 40, Hf. 1—2, 1968.

[5] См.: Л. Л и г е т и, указ. соч.

родственными. В алтайском, как представляется, аблаута не было [6]. Л. Г. Герценберг все же мог бы предположить широко распространенный систематический алтайский аблаут, если бы он сперва явственно доказал его существование, установил бы, какие аблаутные ряды имеются в алтайском и т. п. Пока это не сделано, у нас нет оснований предполагать ad hoc и a priori аблаут в алтайском.

Своеобразна аргументация на стр. 34—35. Автор сначала приводит ряд «сходных» слов в алтайских языках, например монг. *a'ula* «гора» = = маньчж. *alin*, тюрк. *til* «язык» = монг. *kelen*; даже тюрк. *qān* «кровь» и монг. *čisun* кажутся ему «сходными». Далее он замечает, что «целый ряд других» (стр. 35) подобных случаев «сходства» слов имеется в алтайских языках. При этом предполагается, что эти факты можно объяснить только двумя способами. Либо такие соответствия, как монг. *a'ula* = маньчж. *alin* и т. п., надо рассматривать как регулярные. В таком случае, стало быть, в более ранние периоды истории в алтайских языках должно было бы существовать гораздо больше сопоставимых слов, чем их представлено в настоящее время, «...тогда и родство алтайских языков не вызывает сомнений...» (стр. 35). Или же эти соответствия отвергаются как не отвечающие звуковым корреспонденциям, которые установлены посредством компаративистического метода,— «но тогда молчаливо предполагается... родство алтайских языков» (стр. 35).

По поводу обоих способов объяснения заметим следующее.

Во-первых, избыток совпадающих слов сам по себе совсем еще не доказывает родства языков. Например, лексика классического османско-турецкого языка чуть ли не на 90% состояла из персидских слов (которые, в свою очередь, часто восходят к арабскому первоисточнику), и, тем не менее, это тюркский язык, а не индоевропейский. Вопрос доказательства родства языков по существу является не количественным, но качественным.

Во-вторых, при помощи компаративистического метода звуковые корреспонденции могут быть установлены не только для изначально родственных слов, но также и для заимствований. Например, для персидских заимствований в турецком можно привести точные звуковые соответствия (в том числе $x > h$, $\bar{a} > a$, $a > e$ и т. д.). Один только Л. Г. Герценберг мог бы «молчаливо предположить» здесь языковое родство.

Тот факт, что, в частности, в тюркско-монгольских соответствиях различаются по меньшей мере два слоя (например, тюрк. z = монг. r, но также и монгольскому s), истолкован сторонниками алтайской гипотезы таким образом, что один слой состоит из изначально родственных слов, а второй — из заимствованных. Но точно также можно предположить и другое, а именно: что один слой представлен более старыми заимствованиями, а второй — более новыми. И тогда, естественно, можно установить звуковые законы для обоих слоев.

В-третьих, подобная аргументация, если ее применять последовательно, приводит к абсурдному результату. Именно так можно было бы аргументировать общность любых языков мира (и придти к тезису Тромбетти о «единстве языков мира»). Таким путем можно было бы доказать, что полинезийско-индонезийские языки якобы родственны индоевропейским. Здесь, прежде всего, имеется ряд как будто бы несомненных случаев вроде малайск. *dua* «два» = русск. *два*, латинск. *duo* и т. д. (Из подобных примеров можно легко составить ряды — даже в соответствии со звуковыми законами — и притом для самых различных языков мира. Естественно, еще легче сде-

[6] Спорадические случаи, вроде тюрк. *bän* «я» : *bi-ni* «меня» структурно не играют сколько-нибудь значительной роли.

лать это для языков, которые, как алтайские, имели тесные территориальные контакты, приведя в этих целях обширный материал сопоставлений. Правда, легче всего это произвести в отношении действительно родственных языков — но в этом случае потребуется выполнить еще и совсем иные условия, помимо наличия ряда сходных слов). Далее можно было бы сказать, что есть еще много сходных слов, например, малайск. *andjing* «собака» = лат. *canis*, яванск. *pat* «четыре» = рум. *patru*. Если придерживаться логики аргументации Л. Г. Герценберга, то подобные «схождения» можно объяснить только так, что либо и эти «соответствия» являются регулярными, и в таком случае надо предполагать в полинезийско-индонезийских и индоевропейских языках в ранние периоды еще большее число «сопоставимых» слов, либо эти «соответствия» не отвечают звуковым корреспонденциям, и тогда молчаливо постулируется «родство» таких языков.

Не представляются мне убедительными и объяснения, которые даны алтайским числительным и многим другим явлениям; однако в рамках журнальной статьи затронуть все эти вопросы невозможно. Остановимся более подробно на третьем, фонетическом разделе разбираемой статьи.

Прежде всего автор показывает здесь, что звук одного из индоевропейских языков может восходить к различным звукам праязыка, например, др.-инд. *a* — к и.-е. **a*, **e*, **o*, šwa secundum, а др.-инд. *i* — к и.-е. **i*, šwa primum, и это доказывается уже сопоставлением с древнегреческим (стр. 43).

«В свете этого опыта индоевропеистики» (стр. 43) в статье оспаривается то мое утверждение (точнее — тот факт), что тюркскому долгому гласному соответствует краткий гласный не только в монгольском (который не знает долгих гласных вообще), но и в тунгусском (в котором долгие гласные есть), а это, в свою очередь, указывает на путь заимствования из тюркского в монгольский и далее — в тунгусский [7]. Герценберг полагает, что имеются другие возможности объяснять этот факт (стр. 44):

a) В алтайском праязыке существовала долгая гласная, которая претерпела сокращения в монгольском и тунгусском и сохранилась только в тюркском.

Это утверждение противоречит, однако, тому факту, что тунгусскому в принципе были свойственны долгие гласные. Можно было бы спросить себя, почему же как раз в примерах, цитированных из моей статьи, тюркский сохраняет долготу, а тунгусский ее утратил? Обусловлена ли утрата долготы гласной в тунгусском позиционно? В статье, однако, не сообщается никаких сведений о позиционных условиях.

Мало того: тюркской долгой гласной соответствует в тунгусском почти всегда (совершенно ясно, что это никак не случайно) краткая гласная. Но тогда этот факт как раз следовало бы объяснить. Необходимость этого приводит нас к нижеследующей интерпретации, содержащейся в пункте *c* (см. ниже), ибо в пункте *a* не представлено никакой особой возможности для этого.

b) Первоначально краткая алтайская гласная в некоторых позициях в тюркском удлинялась. Но в каких именно позициях? Автор не дает никаких конкретных сведений, ограничиваясь лишь констатацией абстрактной возможности такого удлинения. Более детальные исследования показывают, однако, что оппозиция «долгая гласная: краткая гласная» в тюркском никогда не была позиционно обусловленной. Например, и долгую гласную, и краткую гласную можно наблюдать как в односложных, так и в многосложных словах (*āb* «охота»: *at* «лошадь», *āla* «пестрый»: *qara* «черный»),

[7] Ср., например: тюрк. *bāy* «богатый» (лучше *bây*, см. ниже) = монг. *bayan*, тунг. *bayan*.

после и перед всеми возможными согласными и т. д. Нельзя указать и какого бы то ни было морфологического условия, на основе которого можно было бы объяснить распределение количественных характеристик гласных.

Заявление автора о том, что «Дёрфер недостаточно убедительно отвергает возможность фонетического компенсаторного удлинения в тюркском» (стр. 44)[8], представляется мне неосновательным. Такие случаи, как, например, монг. *bol-* «становиться» = тюрк. *bōl-*, не указывают на существование изначальной, позднее утраченной алтайской конечной гласной (т. е. тюрк. *bōl-* имеет долгую гласную без утраты конечной гласной, и, таким образом, компенсаторное удлинение исключается). Можно также сослаться на факты, когда в тюркском в первом слоге двусложных корней представлена как долгая, так и краткая гласная, например, *āla* «пестрый», *bȫ̄ri* «волк», но также *kiši* «человек», *qara* «черный». Здесь компенсаторное удлинение исключается явным образом. Можно найти и случаи, когда тюркский утратил первичную гласную в ауслауте и, тем не менее, имеет краткую гласную в основе, например монг. *siqa-* «давить, жать» = тюрк. *sïq-* (не **sī̈q-*), монг. *quča* «баран» = тюрк. *qoč* (не **qōč*) и т. п. Если бы возникло желание обосновать это (совершенно ненужное) положение о компенсаторном удлинении, потребовалась бы целая система в высшей степени усложненных гипотез, предлагаемых ad hoc.

c) В соответствии с предлагаемым «путем постулирования отдельной фонемы в праязыке для каждого соответствия» в разбираемой статье устанавливаются (стр. 44).

тюрк. $\overline{V}$ ~ монг. V ~ тунг. V ~ * праалт. $\overline{V}$
тюрк. V ~ монг. V ~ тунг. V ~ * праалт. V

Но как при этом объяснить сокращение алтайской долготы в тунгусском? Л. Г. Герценберг приводит здесь четыре примера (из моей статьи), в которых представлено соответствие тюрк. $\overline{V}$ ~ монг. $V'V$ ~ тунг. $\overline{V}$ (стр. 44):

тюрк.		монг.	эвенк.
ūčá	«спина»	~ *u'učá*	~ *uguča*
kȫ̄rük	«пузырь»	~ *kȫ'ȫrge*	~ *kūrgę*
tōr	«сеть»	~ *to'or*	—
bātur	«богатырь»	~ *ba'atur*[9]	~ *bātur*

Монгольские примеры наводят автора «на мысль о просодическом происхождении долгот», и предлагается такая картина (стр. 44):

Праалт.	Тюрк.	Монг.	Тунг.
$\grave{V}$ [—]	V	V	V
$\acute{V}$ [— ˊ]	$\overline{V}$	$V'V$	$\overline{V}$ (например, тюрк. *kȫ̄rük*...)
$\overline{V}$ [ˊ —]	$\overline{V}$	V	V (например, тюрк. *bāy*...)

При таком толковании лишь долгота с интонированием — ˊ сохранилась не только в тюркском, но также и в тунгусском; долгота же с интонированием ˊ —, напротив, осталась только в тюркском, а в тунгусском оказалась сокращена. На основе этого толкования для каждого звукового соответствия отдельных алтайских языков постулируется особая фонема в праалтайском, т. е. с точки зрения методической разработки проблемы — точно так, как в подобных случаях принято делать в индоевропеистике. В соответствии с этим делается и заключение: «Опыт индоевропеистики

[8] Точнее говоря: удлинения первоначально краткой гласной как компенсации утраты гласной в ауслауте.

[9] Впрочем, современное монгольское произношение чаще всего, но не всегда показывает долготу, например: орд. *ūča*, *kȫ̄rgȫ*, *tor* (!), *bātur*.

показывает, что выводы сравнительно-исторического алтайского языкознания вполне достоверны...» (стр. 45—46).

Тот факт, что звук данного языка может восходить к различным звукам праязыка, заметим между прочим, хорошо известен алтаистам. Так, например, среди монголистов общепризнано, что монг. *i* восходит как к древнему **i*, так и к древнему **ï*; почти все алтаисты признают, что тюрк. 0 (в начале слова) восходит как к *0, так и к **p*-.

Последующие мои возражения изложу вкратце.

1. Тот факт, что тюркской долгой гласной в тунгусском регулярно соответствует краткая гласная, я совсем не рассматриваю в качестве единственного доказательства последовательности заимствования «тюркский > монгольский > тунгусский». Напротив, во многих моих работах подобран для этого целый ряд доказательств, внутри системы которых упомянутый факт составляет всего лишь крупицу[10]; в IV томе «Türkische und mongolische Elemente im Neupersischen» собранный материал сопоставляется еще раз.

Можно было бы подчеркнуть, что теория, которой я придерживаюсь, является как бы синтезом старой гипотезы, гласящей, что алтайские языки родственны, и точки зрения Клоусона, утверждающего, что, когда речь идет о тех общих словах в тюркском и монгольском, которые обозначаются как «алтайские», следует разуметь под ними сравнительно новые (датируемые VI в. н. э.) тюркские заимствования в монгольском. В выдвигаемом мною положении дело идет фактически также о тюркских заимствованиях в монгольском (и о монгольских заимствованиях в тунгусском), но о заимствованиях, относящихся к весьма отдаленным временам[11], так сказать, о заимствованиях на уровне праязыков,— как раз именно такие заимствования стоят очень близко к изначально родственным словам. Исходя из этого, можно объяснить, с одной стороны, многие (никоим образом не поверхностные) сходства между алтайскими языками[12]; с другой стороны, получает обоснование и тот факт, что эти языки никак не могут доказательно рассматриваться как родственные, т. е., в противоположность опыту индоевропеистики, родство алтайских языков до настоящего времени оспаривается.

2. Тот факт, что наряду со случаями, когда тюркской долгой гласной соответствуют краткие гласные в монгольском и тунгусском (например, тюрк. *bāy* «богатый» = монг., тунг. *bajan*), наблюдаются и отмечавшиеся выше четыре примера с иным соответствием — тюрк. $\bar{V} \sim$ монг. $V'V \sim$

---

[10] В специальном разделе «Замечания о родстве так называемых алтайских языков» I тома моего труда «Türkische und mongolische Elemente im Neupersischen» исследуются условия, выполнение которых требуется для доказательства языкового родства вообще; в результате установлено, что алтайские языки не отвечают этим условиям. В подтверждение этому много частных исследований содержится в II—IV томах (Wiesbaden, 1965, 1967, IV—в печати). В рецензии на кн. D. R. Fokos-Fuchs, Rolle der Syntax in der Frage nach Sprachverwandtschaft (UAJb, 36, fasc. 1—2, 1965) предлагается оценивать сходства в синтаксисе алтайских и уральских языков исключительно в плане типологическом, но не генетическом, а в рецензии на кн. B. Collinder, Hat das Uralische Verwandte? (IF, 71, Hf. 1—2, 1966) выдвигается понятие «динамической случайности», т. е. развития сходства через причинно не мотивированную конвергенцию.

[11] См. об этом в моих статьях: «Zur Verwandtschaft der altaischen Sprachen» (IF, 71, Hf. 1—2, 1966), «Homologe und Analoge Verwandtschaft» (IF, 72, Hf. 1—2, 1967), «Zwei wichtige Probleme der Altaistik» (JSFOu, $69_{,4}$, 1968).

[12] Ср.: «Türkische Lehnwörter im Tadschikischen», Wiesbaden, 1967, прежде всего — стр. 57—72, где показано, что при очень глубинном смещении двух неродственных языков могут заимствоваться даже так называемые базисные слова, например числительные, обозначения частей тела, а также суффиксы. Но в то же время и при глубинных заимствованиях все же сохраняются явственные различия, например, в глагольной системе,— и такие различия характерны для алтайских языков.

~ тунг. $\overline{V}$ (тюрк. *ūča* = монг. *u'uča* и т. п.)[13], может быть легко истолкован с учетом того, что здесь представлены различные слои заимствований, относящиеся к различному времени и различным территориям (т. е. восходящие к различным древнетюркским диалектам). Хорошо известно, что определенному звуку праязыка могут соответствовать различные звуки в заимствующих языках,— особенно если этот первоначальный звук изменялся на разных стадиях языкового развития. Так, например, древнегерманскому **w-* (билабиальному) во французском соответствует *g-* (ср. нем. *warten*/ /*vartn̥*/, др.-герм. *wardōn* = франц. *garder*), а поздненемецкому (нововерхненемецкому) *v-* (дентолабиальному) во французском соответствует *v-* (нем. *walzer*/*valtsr̥*/ = франц. *valse*). Итак, вышесказанное никоим образом не может быть истолковано как праалтайский феномен.

Далее. В моей статье «Die Entsprechung der türkischen Langvokale im Tungusischen» приводится также и случай тюрк. *tōz* «береза» = монг. *tous* (= калмык. *tōs*). Однако этот пример, даже и с точки зрения сторонников алтайской теории, не зависит от родства алтайских языков (тюрк. *-z* = монг. *-s* указывает в любом случае на заимствование). Этот пример ясно показывает: даже и в современных заимствованиях еще случается иногда, что тюркской долготе равным образом соответствует долгота в монгольском.

Кроме того, бросается в глаза, что отмечено тридцать четыре случая, когда тюрк. $\overline{V}$ = монг., тунг. *V* (тюрк. *bāy* = монг., тунг. *bajan*), и только четыре, где тюрк. $\overline{V}$ = монг. *V'V*. Это действительно неравное распределение. Однако и среди этих четырех примеров в одном случае в современном монгольском представлена краткость (ср. современное ордосское и и т. д. *tor*, но монг.-письм. *to'or*). Далее, для этих четырех примеров имеется только три тунгусских соответствия — и те распадаются, в свою очередь, на два типа: в двух из этих соответствий представлена $\overline{V}$ (*kūrgę*, *bātur*), а в одном — сочетание кратких гласных одинакового качества с согласной *VgV* (*uguča*). Можно ли, в самом деле, столь разобщенные единичные примеры противопоставлять тридцати четырем ясным примерам, которые подтверждают сформулированное мной положение?

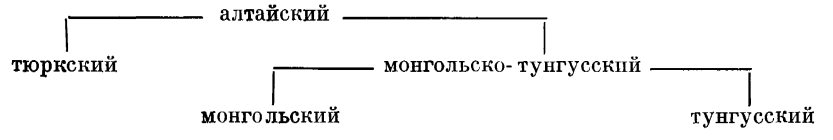
Представляется, что эти тунгусские примеры могут быть объяснены иначе: эвенк. *uguča* должно быть прямым заимствованием из монгольского, именно восходить к старой форме **uγuča* (разумеется, здесь могло быть подражание тюркскому интонированию *ûča*, см. ниже, пункт 4). Здесь *-g-* сохранился точно так, как и в тех монгольских словах, которые не подтверждаются тюркским материалом, например: монг. *irüge-* «молиться», баргузинско-эвенк. *hirugē-*, солонск. *irügē-* (ср., однако, маньчж. *firu-* с утраченным *-g-*). Напротив, эвенк. *kurgę*, ламутск. *kūrgę* происходит не непосредственно из монгольского, но проникло в северотунгусский из южнотунгусского (разумеется, эвенк. *kurgę* со своей краткой гласной могло происходить также из бурят. диалектн. **kürge*, совр. бурят. *xürxe*, ср. бурят.-письм. *xörxe*). Утрата *-g-* типична для южнотунгусского. Ср.: маньчж. *hu'u-* «раздувать кузнечные меха», нанайск. *kuggę* «кузнечные меха», ульчск. *kuę'ę*, орокск. *koddo*, *kudu*, удэйск. *kugę*, орочск. *kuggę*, негидальск. *kuigę*, *kudgę*. Слово это не восходит к прамонг. **körgä*, но к **kögörgö*. Это может быть подтверждено и такими чисто монгольскими словами, не имеющими тюркских соответствий, как, например, монг. *uγuta*, *uuta* «мешок» (средневековомонг. *hu'uta*) = нанайск. *potačan*, ульчск. *potačan*, удэйск.

[13] Во всяком случае, это никак не противоречит тому положению, что в прамонгольском, по всей вероятности, не было долгих гласных, и ни монгольский, ни дагурский, не указывают на изначальные монгольские долгие гласные (см. об этом в нашей статье «Langvokale im Urmongolischen?», I — JSFOu, $65_{:4}$, 1964, II — $70_{:1}$, 1970).

putasa (из-за *p-* — заимствование из нанайского), орочск. *hutaka* — но также эвенк. *hutakān* (но не нечто вроде* *hugutakān*), ламутск. *hutkān*, негидальск. *hotaxān*, солонск. *utx̃a*. Таким образом, слово утратило в северотунгусском *-g-*; это явно монгольское заимствование, которое проникло через южнотунгусский. Этот путь можно было бы восстановить в следующем виде: ранне-монг. **puguta* > южнотунг. **puguta* (а в уменьшительной форме, которая продуктивна именно в тунгусском, — **pugutakān; pugutačān*), позднее, когда * *puguta* преобразовалось в **puuta* и далее — в **pūta* > **puta*, последняя проникла в северотунгусский. Таких примеров имеется множество. Именно сюда относится также эвенк., ламутск. *bātur* «герой» = нанайск. *bātor*, маньчж. *baturu* < прамонг. *baγatur*. Это монгольское слово нельзя, однако, возводить непосредственно к др.-тюрк. *bātur*[14]; напротив, оно восходит к древнему жужанскому (žuan-žuan, resp.— аварскому) титулу, который уже в китайских источниках представлен как слово, состоящее из трех слогов: *mo-γo-du*. Это слово соединило в себе множество проблем, между тем, как предложенный упрощенный подход не считается со сложным положением вещей. Вообще, все трудности и противоречия, с которыми мы сталкиваемся в этой группе немногочисленных примеров (в частности, почему монгольскому *-V'V-* в эвенкийском соответствует то *-VgV-*, то *-V̄-*, то *-V-*?), не могут быть разрешены средствами прямолинейной гипотезы о родстве алтайских языков. Гибкое учение о заимствованиях, признающее, что заимствования различными «волнами» в разное время проникали в алтайские языки, представляется здесь более целесообразным и действенным.

Короче говоря, имеется ясный нормальный случай: соответствие тюрк. *V̄* = монг. *V* = тунг. *V*; наряду с ним есть некоторые разобщенные примеры, объяснять которые нужно в соответствии с обстоятельствами их бытования в языке.

3. Бросается в глаза, что тунгусские формы всегда скрупулезно точно соответствуют монгольским. Речь идет не только о краткости гласных (тюрк. *bāy* = монг., точно так же и тунг. *bayan*), но и о поразительных примерах вроде тюрк. *āla* «пестрый» = монг. *alaγ* = эвенк. *alag*, маньчж. *alha* и т. д. (морфологическое соответствие); тюрк. *yōl* «дорога», побочное значение: «счастье» = монг. *jol* «счастье» = эвенк. *jol* «счастье» (семантическое соответствие); тюрк. *qānat* «отдельные части, из которых состоит решетка юрты» = монг. *qana* (в новомонгольском это *-n*-основа, т. е. <**qanan*, без тюркского *-t*; этот тюрк. *-t* явно воспринимался путем ложного его вычленения как показателя мн. числа, и поэтому было сконструировано «правильное» ед. число *qana* ~ *qanan*) = эвенк. *kana*, солонск. *xana*, маньчж. *hana* и т. д. Большое число таких точных соответствий тунгусского монгольскому следует рассматривать в их совокупности, которая не может основываться только на случайности. Представляется также невозможным, исходя из теории «генеалогического древа», реконструировать развитие:



Точно так же нельзя, опираясь на «теорию волн», признать более тесное объединение («языковой союз») монгольского и тунгусского — подобное объединение обычно способствует появлению большего числа сходств также и у языков, изначально родственных. Такие типичные случаи, как лож-

[14] См. об этом: «Türkische und mongolische Elemente im Neupersischen», II, стр. 368—371.

ное вычленение того или иного «грамматического показателя», со всей ясностью указывают на заимствование. Впрочем, я вообще сомневаюсь в действенности как теории «родословного древа», так и «теории волн» [15].

4. Л. Г. Герценберг конструирует для праалтайского языка три просодических единицы — $\grave{V}$, $\acute{V}$, $\tilde{V}$ (стр. 44). В настоящее время представляется возможным доказать, что в тюркском, действительно, были три изначальных просодических единицы, например, для звука *a* : *a* (краткий, примерно соответствующий $\grave{V}$), $\bar{a}$ (простой долгий, без падения тона, примерно соответствует $\tilde{V}$), $\hat{a}$ (дифтонгический долгий, с падающим тоном, приблизительно соответствующий $\acute{V}$). Подтверждение этому обнаруживается в халаджском, языковой группе, открытой в Центральном Иране [16]. См., например, в халаджском *hat* «лошадь» < пратюрк. **pat*(*a*), *bāš* «голова» < < пратюрк. **bāš* (*a*), *ât* «имя» < пратюрк.* *ât*(*a*) [17]; ср. у Махмӯда Кāшғарӣ *at*, *bāš*, *āt*; в туркменском *at*, *baš*, *āt*, т. е. простая долгота в туркменском подверглась сокращению. Подобное неодинаковое отношение тюркских языков к вокалическим долготам разного качества можно рассматривать совсем в параллель к предположению Герценберга, что в тунгусском сохраняется только праалт. *$\acute{V}$, напротив, *$\grave{V}$ подверглась сокращению; более того, добытый материал, как нам представляется, может служить подтверждением этого предположения. Теперь соответствуют, причем уже не приблизительно, пратюрк., халадж. **a*, **ā* = монг., тунг. *a* и пратюрк., халадж. **â* = монг., тунг. *a'a*, *ā*; одновременно нормальными являются соответствия пратюрк., халадж. **a*, **ā*, **â* (все вместе) = монг., тунг. *a*[18]; редкие случаи монг., тунг. *a'a*, *ā* должны быть объяснены совсем иначе (см. выше). В лучшем случае эта теза могла бы быть спасена, если бы принять, что в праалтайском было ч е т ы р е просодических единицы, например тюрк. **a* < праалт. **á* (краткая, с повышающимся тоном), тюрк. **ā* < праалт. **à* (краткая, с понижающимся тоном), тюрк. **â* < < праалт. **á* (долгая, с повышающимся тоном, дает монг., тунг. *a*) и соответственно тюрк. **â* > праалт. **à* (долгая, с понижающимся тоном, дает монг., тунг. *a'a*, *ā*); подобная система представлена в сербскохорватском языке. И тем не менее, это всего лишь рискованная гипотеза, ибо ни один из алтайских языков не указывает непосредственно на такую систему, которая весьма усложнена (сербскохорватская система возникла лишь как вторичная; к тому же, индоевропейские системы, подобные намеченной, нельзя сразу прямо переносить на другие языковые группы).

5. На стр. 45 Л. Г. Герценберг упрекает меня в том, что мною «не рассматривается множество других возможных схем: тюрк. $V \sim$ мо. $V \sim$ тунг.-ма. $\tilde{V}$ и др.», помимо тех, которые были изучены. Надо сказать, что (еще до написания моей статьи) я пытался найти примеры и доказательства иных схем, но безуспешно. Подобного рода соответствия не подтверждаются. И сам автор не смог привести ни одного примера такого типа.

---

[15] См.: «Bemerkungen zur linguistischen Klassifikation», IF, 76, 1971.

[16] G. D o e r f e r, Die Türksprachen Irans, «Türk dili araştırmaları yıllığı. Belleten», Ankara, 1969, стр. 17; е г о ж е. Das Chaladsch, eine neuentdeckte archaische Türksprache, ZDMG, Supplementa I, 1969, стр. 722; G. D o e r f e r, W. H e s c h e, H. S c h e i n h a r d t, S. T e z c a n, Khalaj materials, Bloomington — The Hague, 1971, стр. 183—267; Г. Д ё р ф е р, О состоянии исследования халаджской группы языков, ВЯ, 1972, 1.

[17] Устанавливаемое развитие халадж. *a* < пратюрк. **a*, *ā* < **ā*, *â* < **â* подсказано самим материалом, и опровергнуть его трудно. Итак, в тюркском праязыке было три просодических единицы, и теория оппозиций **a* : **ā* : **â* дает им наиболее правдоподобное и простое объяснение.

[18] Таким образом, как раз и пратюрк. **bâya*(*n*) «богатый» > монг., тунгусск. *bayan*.

6. Многие детали в рассматриваемой статье освещаются ошибочно. Во всяком случае, из тех, по мнению автора, «бесспорно» родственных алтайских слов, которые он приводит на стр. 41—42, многие неприемлемы даже для сторонников алтайской гипотезы (например, монг. *on* «год» — тюрк. *ön-* «выступать»); из двадцати тюркско-монгольских сопоставлений я со своей стороны мог бы принять лишь восемь. Ряд ошибок проистекает из незнания более ранних ступеней развития тюркских языков. Например, соответствие монг. *nabči* «лист» = тюрк. *yapraq* ошибочно потому, что древнейшая тюркская форма — *yalpɪrγaq*, из которой лишь вторично происходит *yapɪrγaq*, а еще позднее—*yapraq*. Значительная же часть ошибок основывается на том, что и.-е. аблаут переносится на алтайские языки.

7. И, наконец, методически наиболее весомая ошибка: алтаистику нельзя уподоблять индоевропеистике. У них совсем различное содержание, и многое из того, что в индоевропейских языках может быть вполне действенным, совершенно не относится к алтайским языкам. Пора раз и навсегда освободиться от предвзятости «трижды святой индоевропеистики», как ее иронически называет мой учитель К. Менгес.

Ни один из алтайских языков, например, не обнаруживает какого бы то ни было разрушения старой падежной системы, которое в индоевропейской языковой группе типично для английского или французского. Напротив, алтайские языки в этом отношении производят впечатление консервативных (для индоевропейских языков консервативность падежной системы наблюдается в русском и, в еще большей мере, в литовском). Примечательно при этом, что тунгусский, письменно зафиксированный в более позднюю пору (тексты датируются XV веком), производит впечатление наибольшей древности (не только в отношении падежной системы), а тюркский, письменные памятники которого известны для гораздо более раннего времени (VIII в.),— наименее архаичен [19].

Во всяком случае можно довольно точно реконструировать тюркский, монгольский и тунгусский праязыки путем простого сравнения внутри каждой из этих языковых групп отдельно, даже и не привлекая к сравнению другие алтайские группы. Последние уточняющие детали дает сравнение этих трех языковых групп между собою. Подобное сравнение позволяет установить три изначальных структуры, которые в методическом отношении несопоставимы с индоевропейской языковой структурой.

По этой причине рискованным является методический прием, продемонстрированный на стр. 38: получается, что факт различия между алтайскими словами для основных понятий (различия в «так называемой устойчивой лексике») можно не считать аргументом против родства алтайских языков, поскольку автор при этом ссылается на то, что в современных индоевропейских языках существуют подобные же различия и, тем не менее, эти языки родственны. Из сопоставляемых в статье рядов слов возьмем слова со значением «луна»: в монгольском * *sara* (современная форма *saran* является аналогическим образованием по отношению к *naran* «солнце»), тюрк. **pây* (в соответствии с халадж. *hây*, иначе: тюрк. *ây*), тунг. **biĭga*. Далее приводятся такие индоевропейские формы, как русск. *луна*, новогреч. φεγγάρι, франц. *lune*, новоирл. *gealach*, нем. *Mond*, санскр. *candra*, которые равным образом являются весьма различными,—но они и не могли бы быть оценены как доказательство против прародства индоевропейских языков.

Против такого приема можно возразить следующее.

Во-первых, нельзя признать методически удачным то, что алтайские праформы, сопоставляются с современными индоевропейскими формами.

[19] Ср.: N. P o p p e, Vergleichende Grammatik der altaischen Sprachen, Tl. 1, Wiesbaden, 1960, стр. 6; K. H. M e n g e s, Die tungusischen Sprachen, в кн.: «Handbuch der Orientalistik», 1 : 5 : 3 — Tungusologie, Leiden — Koln, 1968, стр. 23.

В самом деле алтайские тексты, из которых извлечены эти слова, датируются никак не XX веком, а соответственно VIII, XIII, XV веками. (Кроме того, сравнение заимствований позволяет проникнуть еще глубже на многие столетия, например, сделать это для старых монгольских заимствований в тунгусском, где их древний облик подтвердил древнейшие монгольские формы [20]). Столь же неудачно и то, что слова отдельных языков из различных индоевропейских языковых групп (например, немецкого вместо прагерманского) ставятся на одну доску с соответствующими праформами целых алтайских языковых групп. Из алтайских языковых групп (точно так же, как и из индоевропейских) нам известны не только единичные языки, но целый ряд языков. В действительности внутри самих алтайских языковых групп имеется ряд предпосылок, которые позволяют в плане истории языков работать намного лучше, чем это может предположить индоевропеист. Во всяком случае, при изучении других языковых семей (например, банту) были достигнуты удовлетворительные результаты, хотя эти языки были засвидетельствованы в гораздо более позднем состоянии, нежели алтайские. Теперь общеизвестно, что тем больше соответствий обнаруживается у родственных языков (соответственно: у языковых ветвей), чем глубже в них проникают во временно́м отношении и чем больше отдельных языков (соответственно: диалектов) охватывают при изучении: например, для лат. *tacere* «молчать» в современном верхненемецком нет соответственного слова, но ср. ср.-в.-нем. *ver-dagen*, гот. *ƒahnan*. Подобными способами, с одной стороны, углубления материала, а с другой — его расширения следовало бы воспользоваться и в алтаистике.

Во-вторых, здесь не принимается во внимание, что в качестве соответствий к *Mond* (в поэтическом языке оно может обозначать «месяц», например: «viele Monde vergingen») выступают русск. *месяц*, новогреч. μήν, ирл. *mī*, санскр. *mās-*. Здесь представлен как раз типичный для индоевропейских языков случай: там, где, на первый взгляд кажется, не существует ничего общего, более точное диахроническое исследование обнаруживает, тем не менее, сопоставимые явления. Это, однако, совершенно не типично для алтайских языков: **sara*, **pây*, **biāga* были и остаются разобщенными формами, и не обнаруживается соответствий, например, монгольскому *sara* в тюркском слове со сходным значением. (Соответствия вроде монг. *pon* «год» = маньчж. *fon* «время», во всяком случае, весьма редки).

В-третьих. Для индоевропейских языков характерно еще и другое — при более точном исследовании часто оказывается, что индоевропейские слова различных языков родственны друг с другом не непосредственно, но восходят к общим корням. Так, русск. *луна*, лат. *luna* хотя и не родственны нем. *Mond*, однако, русское и латинское слово произведены от чисто индоевропейского корня **louk/leuk*, дериват которого равным образом представлен и в немецком (ср. *Licht* «свет», *leuchten* «светить»). Вообще представляется, что в индоевропейском для передачи основных понятий используется значительно больше корневых образований, чем в алтайских языках, — это еще одно основополагающее структурное различие между алтайскими и индоевропейскими языками, которое ни в коем случае нельзя оставлять без внимания. Именно поэтому так опасно достижения, полученные при исследовании индоевропейских языков, применять к алтайским языкам, структурированным совершенно иначе. Если в индоевропейских языках имелось, по-видимому, сравнительно небольшое число корней, от

[20] См.: N. P o p p e, On some ancient Mongolian loan-words in Tungus, «Central Asiatic journal», XI, 3, 1966.

которых благодаря сильно развитому словопроизводству было получено большое количество основ, то, напротив, в алтайском, как представляется, существовало и прежде значительно большее число корней. Герценберг сам на стр. 39 объясняет, как возникали различия отдельных индоевропейских форм: иногда это «результаты дивергенционного развития в пределах ряда семантических полей и групп», иногда это производные слова от различных корней — но так или иначе, в конечном счете материал отдельных индоевропейских языков, если проникать в него все глубже, позволяет объяснять эти различия из общего индоевропейского фонда соответствий. Но именно такой метод едва ли применим к алтайским языкам: монг. **sara*, тюрк. **pây*, тунг. **biāga* каждое само по себе являются четко разграниченными, так сказать, монолитными единствами; ни одно из этих слов не может быть найдено ни в одном из других алтайских языков непосредственно; ни одно из этих слов не может быть объяснено из какого-либо корня, засвидетельствованного в том или ином алтайском языке.

По сути дела, стало быть, не обязательно, чтобы слова языков изначально родственных (или, соответственно, тех, родство которых доказывается) были бы взаимосвязаны между собой (в этом смысле обоснована критика статьи Дж. Клоусона Герценбергом), необходимо только, чтобы были взаимосвязаны корни таких слов. В индоевропейском такая взаимосвязь корней реально существует, а в алтайском — нет [21].

У меня складывается впечатление: чем глубже языковеды проникают в индоевропейские языки, тем более убеждаются — при всех лежащих на поверхности различиях — в их первоначальной общности. И напротив: чем глубже проникают в алтайские языки, тем более убеждаются — при всех их поверхностных сходствах — в изначальной разобщенности алтайских языков. Это свое впечатление я мог бы обосновать, опираясь на проведенные мною исследования; ограничусь, однако, кратким, чисто информативным объяснением.

а) В алтайских языках не представлены полные звуковые соответствия. Это становится особенно очевидным, если для сравнения обратиться к тому, как это представлено в индоевропейских языках. В отдельных индоевропейских языках, в общем, можно все фонемы возвести к первичным индоевропейским фонемам, и для всех фонем индоевропейского праязыка, в свою очередь, имеются соответствия в отдельных индоевропейских языках. (И если некоторые звуки, как например, [*b*], [*th*] встречаются несколько реже, то это касается всех индоевропейских языков). Совсем иначе обстоит дело в алтайских языках. Например, для слов, которые в монгольском имеют в начальной позиции *m-*, в тюркском нет соответствий. Если бы монгольским словам с *m-* можно было бы в тюркском найти соответствия в виде слов с другим согласным в анлауте, например, с *b-*, тогда не было бы пробела в звуковых соответствиях, и звуковые системы монгольского и тюркского языков можно было бы свести к совместимой первичной системе. В действительности таких соответствий нет; совсем напротив: для всех многочисленных монгольских слов, которые

[21] Работы об алтайских корнях чрезвычайно редки и к тому же содержат изрядное число ошибок; единственное сколько-нибудь объемистое исследование в этой области см.: N. Poppe, Remarks on some roots and stems in Mongolian, «Silver jubilee volume of the Zinbun-Kagaku-Kenkyusyo», Kyoto, 1954, стр. 294—300.

В. П. Шмид высказал предположение, что алтаистам, по-видимому, чуждо понятие корня — см. его рецензию на книгу H. Poppe «Vergleichende Grammatik der altaischen Sprachen», [IF, 69, Hf. 3 (1964), 1965]. В этом, действительно, есть значительная доля истины; подобное утверждение находит себе объективное обоснование в том именно, что в алтайских языках не столь чрезмерно употребление производных от корня слов, как в индоевропейских языках.

начинаются на *m-*, в тюркском не обнаруживается вообще никаких сопоставимых слов — ни таких, которые тоже имели бы в анлауте *m-*, ни слов с начальным *b-*, ни слов с каким-либо другим согласным в анлауте. (Исключение: когда в ближайшем слоге следует назальный — но это исключение только кажущееся, так как в подобных случаях монг. *m-* возникло из *b-*, ср. *bi* «я»: *minu* < **binu* «мой» и т. д.). Из девяти приведенных Н. Поппе тюркско-монгольских примеров [соответствия к монг. *mengge* «родимое пятно, родинка», *moyinoγ* «подгрудок (меховой шкурки)», *mungqaγ* «глупость», *mügere-* «мычать, реветь», *möngke* «вечный», *monč̌oγ* «ожерелье», *meriyen* «пестрый», *miqan* «мясо», *muqu-* «затупить» [22]] пять корней имеют в своем составе назальные *-ng*, *-n*; *mügere-* соответствует тюрк. *büŋür-* (таким образом — точно так же с *ŋ*; к тому же оно, вероятно, звукоподражательное); *meriyen* — всего лишь рифмующееся слово («слово-эхо») в парном *eriyen meriyen*, оно не является самостоятельным [23]; хотя монг. *miqan* «мясо» связывается с тюрк. *biqïn* «почки; пахи», семантически они не однозначны; в случае с *muqu-* Поппе сам помечает соответствующие тюркские слова как заимствования из монгольского.

В монгольском есть целый ряд звуков, для сопоставления которых в тюркском нельзя найти соответствующих слов. Напротив, в тюркском нет звука, для которого в монгольском не было бы соответствий. Но это может означать только то, что звуковая система, общая для монгольского и тюркского, определенно тюркская (точнее: пратюркская). А это, в свою очередь, значит, что, когда говорят об «алтайских» элементах, в действительности речь идет о тюркских заимствованиях в монгольском. (Все другие предположения, как это легко показать, ведут к логическому противоречию). Иначе говоря: в то время как индоевропейские языки обнаруживают совместимую первичную звуковую систему (исходя из которой можно объяснить все звуки в отдельных языках), тюркский и монгольский указывают на несовместимые прасистемы [24]: в особенности монгольская имеет несопоставимые звуки. Поэтому тюркский и монгольский не могут быть родственны; речь может идти только о тюркских заимствованиях в монгольском. Подобные соображения могут быть высказаны и в отношении монгольского и тунгусского (здесь дело идет о монгольских заимствованиях в тунгусском). Именно этот первый пункт в цепи других доказательств изначальной разобщенности алтайских языков изложен здесь несколько подробнее для того, чтобы показать, с какими сложными соображениями связана проверка алтайской гипотезы; во всяком случае, для этого совершенно недостаточным оказывается простое сравнение лексического материала. Большинство исследователей, которые поддерживают алтайскую гипотезу, довольствуются тем лишь, что подбирают ряд сопоставлений из отдельных слов, которые хоть сколько-нибудь схожи друг с другом, но не исследуют системы звуков в целом.

b) В алтайских языках сплошь и рядом можно найти только разобщенные сопоставимые слова (соответственно — сопоставимые корни) и редко удается провести сопоставления внутри семантически связанных лек-

---

[22] N. P o p p e, Vergleichende Grammatik..., стр. 34—36, 37.

[23] Рифмующихся парных слов такого типа, в которых второй компонент начинается на *m-*, в монгольском, как и в тюркском, много; причем этот второй компонент обычно лишен смысла (см., например: L. B e s e, Zwillingswörter im Mongolischen, «Acta Orient. Hung.», VII, 2—3, 1957, стр. 200—206): *xoni moni* «овцы» и т. п., при этом *moni* как самостоятельное слово не существует.

[24] Несоответствия в алтайских фонологических системах, более того — их принципиальная несовместимость будут показаны в подготовляемой мною книге «Versuch einer vergleichenden Phonetik der altaischen Sprachen». Указания на эту несовместимость см.: «Türkisch *-n* > tschuwaschisch *-m*?», UAJb, 39, Hf. 1—2, а также: «Türkische und mongolische Elemente im Neupersischen», I, стр. 57—63.

сических групп. Но и там, где имеются эти последние, они, скорее всего, указывают на заимствование. Например, в алтайских языках является общей терминология, связанная с разведением верблюдов. Но и здесь речь идет об очень новых заимствованиях, ср. монг. *tayiɬaγ* «верблюд-двухлетка» = тюрк. *taylaq*, при том, что тюркское слово представляет собой производное от тюрк. *tay* «двухлетняя лошадь», которое восходит к более древнему *tań*. А это свидетельствует о том, что монгольское слово могло быть заимствовано только приблизительно с X в., когда тюрк. *ń* перешло в *y*. С точки зрения культурно-исторической также можно доказать, что первоначально Camelus bactrianus постепенно распространялись с запада на восток [25]. В то время как в индоевропейских языках общая терминология как для домашних, так и для диких животных наблюдается примерно одинаково часто, в алтайских языках общая терминология существует почти исключительно для домашних животных — но здесь вполне возможно предположить, что речь идет как раз о культурных заимствованиях: с распространением различных видов домашних животных с запада на восток перенималась и соответствующая терминология.

Отсутствие общих числительных в алтайских языках также не может быть объяснено столь «сравнительно просто», как это пытается сделать Герценберг (стр. 36). Короче говоря, и здесь мы также должны не довольствоваться несколькими разобщенными сопоставлениями, но, учитывать систему в целом; а такой учет указывает именно на языковые контакты, но не на родственные отношения между алтайскими языками.

c) Алтайская морфология дает только ограниченное число точно сопоставимых черт, однако, и это немногое при ближайшем рассмотрении довольно легко может быть истолковано как результат заимствования [26].

d) Если индоевропейские языки, которые действительно родственны, обнаруживают тем большее сходство между собой, чем хронологически глубже они прослеживаются, то в алтайских языках все как раз наоборот. В настоящее время тюркский и монгольский языковые типы весьма схожи; однако, в более ранние периоды эти языки обнаруживают очень различные системы (например, в глаголе, в области согласования), которые впоследствии претерпели явственную вторичную к о н в е р г е н ц и ю.

e) При ближайшем рассмотрении в алтайских языках нельзя найти ясных критериев для разграничения заимствованных и изначально родственных слов. Если сравнивать, к примеру, латинский и немецкий, то можно точно установить, что *centum* и *hundert* «сто» должны быть изначально родственными, а нем. *Kessel* «котел», напротив, заимствовано из лат. *catillus*. Подобное разграничение для алтайских языков невыполнимо [27], и в таких случаях было бы осмотрительнее предполагать заимствования, поскольку это менее категорическое утверждение, чем предположение о праязыковом родстве.

Чтобы показать, в сколь малой степени поддается здесь разграничению заимствование и явление, обусловленное языковым родством, достаточно привести лишь один характерный пример. Поппе, сторонник алтайской

[25] См. об этом: «Türkische und mongolische Elemente...», II, стр. 669 и сл. — заглавное слово 1015, а также соответствующее добавление к IV тому.

[26] Один из примеров этого см.: «Türkische und mongolische Elemente...», IV, Kapitel «Bemerkungen zur Altaistik» (Abschn. «Bedingungen B», Punkt 3). В подготавливаемой мною в настоящее время работе «Versuch einer vergleichenden Morphologie der altaischen Sprachen» будет показано, что в алтайских языках общими являются, собственно, только очень немногие морфемы — главным образом, своего рода «космополитические» морфемы, например, аффикс Nomen agentis *-či*, который, как и некоторые другие, усвоен и стал продуктивным в ряде иранских и кавказских языков; в остальном же обнаруживаются несовместимые системы.

[27] См. об этом: «Türkische und mongolische Elemente...», I, стр. 51—54.

теории, на стр. 95 своей «Vergleichende Grammatik...» помечает монг. *qaru-* «копать» и маньчж. *qarqa-* «царапать; скрести» как изначально родственные, а на стр. 17 говорит, что маньчжурское слово заимствовано из монгольского; на стр. 128 монг. *kegeli* «живот» и маньчж. *kefeli* (правильно: *xefeli*) объявляются родственными, а на стр. 47 читаем, что маньчжурское слово заимствовано из монгольского. И многие слова, которые Поппе в своей «Vergleichende Grammatik...» (далее — 1960) обозначает как изначально родственные, в его более поздней работе о древних монгольских заимствованиях в тунгусском (далее — 1966) [28] уже представлены как монголизмы в эвенкийском, например: эвенк. *bogoli* «веревка» (1960, стр. 21: родственное; 1966, стр. 180: заимствованное), эвенк. *gudigę* «желудок» (1960, стр. 24: родственное; 1966, стр. 190: заимствованное).

f) Можно показать, что тюркский и монгольский имеют много общих черт; точно так же много общих черт у монгольского и тунгусского. В то же время у всех трех групп в совокупности — у тюркского, монгольского и тунгусского — таких общих черт существует мало; более того: между тюркским и тунгусским, при условии исключения монгольского, и вовсе нет общих черт (соответственно очень немногочисленны в них фонетически и семантически схожие слова, которые легко могут быть объяснены как результат случайного совпадения — точно так же, как, например, нижеследующие: монг. *ax* «брат», *abu* «отец» = араб. *ax*, *abū*, коптск. *šoine* = нем. *Scheune* «сарай», произносится [šoinə], греч. *pente* «пять» = индейск. [йемез] *penta*). Этот факт не может быть достоверно объяснен с помощью гипотезы, сходной с индоевропеистской теорией волн (которая в настоящее время уже устарела, и имеется в виду только тохарский). Напрашивается иное объяснение этого факта: тюркизмы проникали в монгольский; тунгусский заимствовал ряд слов из монгольского, причем среди монгольских заимствований есть и такие, которые в монгольский проникли из тюркского; что же касается тюркского и тунгусского языков, то они в более древние периоды не имели никаких контактов.

Эта аргументация была выдвинута уже Абель-Ремюза в начале прошлого века [29], и не я один ее придерживаюсь [30]. Она по сей день не была опровергнута никем из сторонников алтайской теории; мало того, никто из них не сделал даже и попытки остановиться на разборе этой аргументации сколько-нибудь подробно.

g) Общие алтайским языкам слова, обозначаемые как изначально родственные, часто обнаруживают специфические диалектные черты, что заставляет предполагать заимствование из определенных контактировавших диалектов.

h) Алтайская гипотеза заключает противоречия в самой себе. Так, тюрк. *köšɪk* «занавес» должно было бы, с одной стороны, быть родственным с монг. *kösige* (из-за *-e*), но одновременно, с другой стороны — быть в монгольском заимствованным (по причине *š*, поскольку у родственных слов, как полагают алтаисты, тюрк. *-š-* соответствует в монгольском *-l-*).

i) Именно глагольные системы алтайских языков невозможно возвести к общей изначальной системе, ибо они несовместимы [31]. И тем более не-

[28] N. Poppe, On some ancient Mongolian loan-words in Tungus.

[29] J. Abel-Rémusat, Recherches sur les langues tartares, I, Paris, 1820, стр. 138.

[30] См.: «Türkische und mongolische Elemente...», I, стр. 92—94; ср. также, например: G. Kara, Le dictionnaire étymologique et la langue mongole, «Acta Orient. Hung.», XVIII, 1—2, 1965, стр. 2.

[31] Даже и Герценберг не пытается оспаривать это (см. стр. 35—36) ссылками на современные индоевропейские языки — они хотя и различны, но не несовместимы; «несовместимыми» называют обычно системы, различающиеся таким образом, что родство непосредственно исключается.

схожими становятся эти отдельные системы, чем глубже мы прослеживаем их в прошлом (см. пункт *е*).

Однако то обстоятельство, что в алтайских языках мало общих черт, само по себе еще не говорит против их родства. Тем не менее, их общие структуры таковы, что при ближайшем их рассмотрении родство оказывается исключенным. Тот факт, что для обозначения, например, времени в тех или иных языках отсутствуют лексические параллели, сам по себе не способен опровергнуть генетическое родство этих языков, и в этом прав в известной мере И. В. Кормушин [32]. Однако ссылка на то, что, скажем, русск. *осень*, франц. *automne*, нем. *Herbst* не имеют сколько-нибудь непосредственного отношения друг к другу, еще ни о чем не говорит. Решающим является другое: все названные слова могут быть возведены к индоевропейским корням, которые в общем, смотря по обстоятельствам, отложились в других индоевропейских языках (об этом пишет сам Кормушин) — но как раз этого нет в соответствующих алтайских обозначениях (тюрк. *kûz*, монг. *namur*, тунг. **bola*).

Своеобразно то, что сторонники алтайской гипотезы в коллективном труде «Проблема общности алтайских языков» не заметили, что их возражения А. М. Щербаку и Дж. Клоусону легко могут быть обращены против них самих и тем самым — против алтайской гипотезы. Исследование алтайского лексического материала в целом может проводиться по трем слоям или ступеням: уже в самом поверхностном слое выясняется, что алтайские языки для обозначения, например, времени едва ли имеют общие слова. Проникая ступенью глубже, можно, казалось бы, факт отсутствия таких слов истолковать, прибегая к индоевропеистской параллели: различия в словарном составе не исключают родства. Когда же в алтайский материал проникают еще одной ступенью глубже, то становится ясным, что алтайские и индоевропейские языки структурно не соотносимы, и индоевропеистская параллель ничего не значит для алтайских языков. Хотя в отдельных индоевропейских языках и не представлены отдельные слова, все равно корни их идентифицируются как общие индоевропейские,— но как раз этого и нет в алтайских языках.

Следует еще заметить, наконец, что слишком многие лексические параллели, выдвинутые сторонниками алтайской гипотезы, ошибочны или сомнительны, а это вызывает недоверие к полученным результатам. Снова и снова наблюдается такая картина: выдвигаемая алтаистами параллель с первого взгляда выглядит безупречной и принимается в качестве истинного аргумента, подкрепляющего алтайскую гипотезу. Однако стоит только тщательнее углубиться в сопоставляемые явления, как в большинстве случаев очень скоро обнаруживается ущербность выдвинутой параллели.

Подобные ошибки снова и снова упираются в методическую сторону вопроса: звуковые законы хотя и выдвинуты, но их перестают соблюдать тотчас, как только начинают настаивать на несомненности сходства той или иной пары слов (это то же самое, как если бы индоевропеист вознамерился сравнивать англ. *to call* и греч. καλεῖν, хотя установленные индоевропеистикой звуковые законы исключают такое сопоставление).

Нередко неправильны сведения о семантике сопоставляемых слов. Часто к сравнению привлекаются типичные культурные слова, а не так называемая устойчивая лексика.

Не принимается во внимание лингвогеографическая точка зрения. Что сказал бы индоевропеист, если бы вдруг стали сравнивать как «индоевропейские изначально родственные слова» нем. *Sauerkraut* (в эльзасском

[32] См.: И. В. Кормушин, К методике сравнительного изучения алтайских языков, «Проблема общности алтайских языков», стр. 27.

диалекте *sūrkrūt*) „кислая капуста" и франц. *choucroute?* А в алтаистике подобные сопоставления встречаются сплошь и рядом.

Не принимается во внимание и хронология слов. Например, сравниваются в качестве родственных такие слова, как монг. *aqa* «старший брат» = тюрк. *aqa* то же, хотя *aqa* в тюркском впервые отмечается, начиная с монгольского периода, и явным образом проникло из монгольского языка (в древнетюркском «старший брат» передается словом *ečі*).

Часто сравниваются слова, которые остаются непроанализированными, в которых не выделены корень и аффикс. Например, сравниваются монг. *qarayi-* «темнеть» и тюрк. *qârïq-* то же. При этом за пределами внимания исследователя остается тот факт, что древнейшее значение тюркского слова — «становиться ослепленным блеском снега», и это слово — производное от *qâr* «снег». Напротив, монгольское слово является производным от *qara* «черный». Иначе говоря, сравнение состоялось бы только в том случае, если бы снег был черным.

Сопоставляются только отдельные слова, вне их понятийных полей [33]. В результате такие явления, как контаминации, образования по аналогии полностью ускользают от внимания сторонников алтайской гипотезы.

Часто праформы конструируются ad hoc, хотя в отдельных алтайских языках — при непредубежденном рассмотрении — ничто на них не указывает.

В одном ряду приводятся современные и древние формы, как если бы они были равноценными; не принимается в расчет хронологическая иерархия, которая при реконструкции праформ придает гораздо бóльшую значимость показаниям древних форм, нежели современных. Зачастую просто приводятся современные формы, а их более древние предшественницы вообще остаются за пределами рассмотрения. Так, турецк. *avuç* «горсть, пригоршня» сравнивается с монг. *abuča* «взятие». Однако, древнейшая тюркская форма имеет иной звуковой облик — *adut*; *-v-* возникло только благодаря ассимиляции *-d-* последующим *u*, а конечный *-č* следует объяснять на основании изменения по аналогии в связи с *kulač* «расстояние между концами пальцев вытянутых рук», «охапка».

Иногда (причем далеко не редко) слова приводятся по памяти, а на деле их вовсе нет. Зачастую сопоставляемые слова и формы не подвергаются предварительной филологической проверке. Так, например, за чистую монету восприняты многие неправильные чтения «Кутадгу билиг» по Радлову, хотя современное издание этого письменного памятника Р. Аратом предлагает совсем другие чтения.

Иногда сравниваются неологизмы.

Бывает и так, что одно и то же слово в одной книге одного автора возводится к различным праформам.

Принципиально не принимаются в расчет потенции случайности. Не всегда соблюдаются законы логики.

Часто случайно найденная возможность истолкования материала принимается вообще без какого-либо учета других таких возможностей. Так, О. П. Суник сравнивает тюрк. *öz* «сам» с монг. *öber* то же [34] (однако у последней формы корень простой — **öbe* [35]). При этом существует более приближающая нас к решению возможность сравнивать тюрк. *öz* «сам»,

---

[33] Подробнее см. об этом в рец. на кн.: N. Poppe, Vergleichende Grammatik der altaischen Sprachen, TI. I (ZDMG, 113, Hf. 2, 1963); там же см. об игнорировании алтаистами лингвогеографической точки зрения.

[34] О. П. Суник, К вопросу о возвратных местоимениях в алтайских языках, «Проблема общности алтайских языков», стр. 270—271.

[35] См.: «Türkische und mongolische Elemente...», II, стр. 510—511.

а также (первоначальные значения!) «внутренность; сердцевина; середина; мозг (костный)» с монг. *öre* «грудь; внутренность».

Не исследуется развитие иноязычных заимствований в алтайских языках и алтайских заимствований в иносистемных языках, хотя такое исследование, бесспорно, должно внести свой вклад в изучение, в первую очередь, семантики, а также фонетики алтайских языков.

Часто термин «чередование» используется без раскрытия условий существования этого чередования. В большинстве случаев такое «чередование» можно намного лучше объяснить другим способом. Например, по М. Рясянену, в азерб. *oyan-* «просыпаться» ~ турецк. *uyan-* (то же) представлено чередование *o-* ~ *u-*[36]. На самом деле, однако, *o* в азерб. *oyan-* представляет первоначальное звучание, а турецк. *uyan-* «просыпаться» является образованием по аналогии к *uyu-* «спать».

Таким образом, именно в алтаистике при изучении материала нельзя доверяться первому впечатлению — обнаруживаемое с первого взгляда сходство еще ничего не доказывает.

Перевела с немецкого *Г. Ф. Благова*

[36] См.: M. R ä s ä n e n, Materialien zur Lautgeschichte der türkischen Sprachen, Helsinki, 1949, стр. 60.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1972

Л. А. ПОКРОВСКАЯ

ОБ ОДНОМ «БАЛКАНИЗМЕ» В ГАГАУЗСКОМ ЯЗЫКЕ И В БАЛКАНО-ТУРЕЦКИХ ДИАЛЕКТАХ

В связи с активным развитием балканистики внимание специалистов по балканским языкам все более привлекают тюркские языки Балканского полуострова и их отношение к балканскому языковому союзу [1]. Этой теме был посвящен доклад С. Б. Бернштейна на I Международном конгрессе балканских исследований в Софии (1966) [2]. Опираясь, в основном, на работы Т. Ковальского, Н. К. Дмитриева, Ю. Немета, Г. Хазаи по балкано-турецким диалектам и гагаузскому языку, С. Б. Бернштейн утверждал, в частности, что «ни один из тюркских языков не участвует в „балканском языковом союзе", так как ни один язык этой группы не содержит в себе балканизмов, ни морфологических, ни синтаксических» (при наличии в лексике и фразеологии балканских языков большого числа турецких заимствований) [3].

Если принять во внимание, что никто из тюркологов до настоящего времени специально не занимался вопросом об отношении балкано-тюркских языков к балканскому языковому союзу, то утверждение С. Б. Бернштейна об отсутствии в балкано-тюркских языках морфологических и синтаксических балканизмов представляется несколько преждевременным. Вследствие недостаточной изученности балкано-турецких и гагаузских диалектов, распространенных на Балканском полуострове, и гагаузского языка на территории СССР [4], усилия тюркологов были направлены, прежде всего, на их описание и диалектную классификацию [5]. Если по гагаузскому языку за последние годы в этом направлении уже проделана основная работа [6], то балканские диалекты турецкого языка описаны еще далеко не полностью. Очередные задачи в этой области формулируются как дальнейшее описание балкано-турецких диалектов, уточнение их классификации путем составления диалектологического атласа и привлечение

[1] Имеются в виду балкано-турецкие и гагаузские диалекты, так как татарские диалекты существуют на территории Балканского полуострова только со второй половины XIX в. К балканскому языковому союзу принято относить албанский, болгарский, греческий, македонский, румынский и, отчасти, сербскохорватский языки.

[2] S. B. Bernstein, Les langues turkes de la péninsule des Balkans et «l'union des langues balkaniques», «Actes du I Congrès international des études balkaniques et sud-est européennes», VI — Linguistique, Sofia, 1968.

[3] Там же, стр. 79.

[4] Гагаузы, живущие в СССР в количестве 157 тысяч человек, в основном, в южных районах Молдавии и Украины, являются потомками переселенцев из северо-восточной Болгарии (конец XVIII — начало XIX в.); на этом основании их язык также может быть отесен к балканскому ареалу тюркских языков.

[5] См.: T. Kowalski, Dialectes turcs-osmanlis, «Encyclopédie de l'islam», IV, livraison 0, Leiden — Paris, 1931; его же, Les Turcs et la langue turque de la Bulgarie du Nord-Est, Kraków, 1933; J. Németh, Zur Einteilung der türkischen Mundarten Bulgariens, Sofia, 1956. В этой области работают также Я. Экман, Г. Хазаи, Ж. Какук, М. Моллова, В. Дрымба, В. Зайончковский, Э. Боев и др.

[6] См.: Л. А. Покровская, О состоянии изучения и развитии гагаузского языка, «Советская тюркология», 1970, 2.

полученного диалектного материала к изучению истории турецкого языка [7].

В свете важной исторической роли тюркских языков (особенно турецкого) на Балканах и актуальных задач, стоящих перед балканским языкознанием, становится вполне понятным интерес балканистов к тюркским языкам и попытки их в исследованиях по балканским языкам привлечь тюркский материал, не дожидаясь, пока тюркологи займутся этой проблемой. Так, на основании данных, имеющихся в тюркологической литературе, Т. В. Цивьян попыталась выявить в балкано-турецких диалектах и гагаузском языке общие черты с другими балканскими языками [8]. Особое ее внимание привлек синтаксис гагаузского языка, подвергшийся сильной «славянизации», в частности, в отношении порядка слов [9]. Констатируя совпадение порядка слов в простом предложении гагаузского и других балканских языков, Т. В. Цивьян высказала предположение о возможности существования на всем балканском ареале однотипной конструкции простого предложения, подчеркивая при этом, что «активная интерференция на синтаксическом уровне является основной чертой языковых союзов» [10]. Между тем, тюркологи до настоящего времени отмечали, прежде всего, фонетические, лексические и некоторые морфологические особенности балкано-турецких диалектов, выступающие наиболее ярко как их различительные черты, важные для внутренней классификации этих диалектов. Синтаксические же особенности освещены в диалектологических работах значительно меньше, а иногда и совсем не отмечаются. Однако, как показывают наши наблюдения, «балканская» специфика гагаузского языка и балкано-турецких диалектов проявляется прежде всего на уровне синтаксиса [11].

Одним из основных грамматических признаков балканского языкового союза считается утрата инфинитива балканскими языками и замена его личными формами глагола в конъюнктиве [12]. М. А. Габинский, специально занимающийся этой проблемой, утверждает, что «замена инфинитива конъюнктивом является наиболее эндемичной из всех языковых особенностей, связываемых с Балканами» [13].

Эта общебалканская черта, как нам представляется, получила отражение также в гагаузском языке и балкано-турецких диалектах. Так, при исследовании синтаксиса гагаузского языка нами были выявлены своеобразные подчинительные конструкции, в которых глагол в форме 1 или 2-го лица ед. и мн. числа желательного наклонения или в форме 3-го лица повелительного наклонения выполняет функцию инфинитива. Эти повелительно-желательные формы объединяются в устойчивую парадигму и имеют четко выраженное сослагательное значение, что

---

[7] Г. Хазан, О некоторых актуальных вопросах исследования балкано-турецких диалектов, «Балканско езикознание», IX, I, София, 1964; его же, Probleme und Aufgaben der Balkan-Turkologie (Sprachwissenschaft), «Actes...», стр. 95—100.

[8] Т. В. Цивьян, Имя существительное в балканских языках, М., 1965, стр. 153—157.

[9] См. об этом: Н. К. Дмитриев, Гагаузские этюды, в его кн. «Строй тюркских языков», М., 1962, стр. 268 и сл.; Т. Г. Калякина-Каледина, Порядок слов в простом предложении гагаузского языка. Автореф. канд. диссерт., М., 1955.

[10] Т. В. Цивьян, указ. соч., стр. 157.

[11] См.: Л. А. Покровская, Особенности структуры сложноподчиненного бессоюзного предложения в гагаузском языке и балкано-турецких диалектах, «Советская тюркология», 1971, 4.

[12] См., например: Kr. Sandfeld, Linguistique balkanique. Problèmes et resultats, Paris, 1930, стр. 7 и сл.

[13] М. А. Габинский, Появление и утрата первичного албанского инфинитива, Л., 1970, стр. 156 (к книге приложена обширная библиография по проблеме инфинитива и конъюнктива в балканских языках).

дает основание считать их формами конъюнктива, например, *алайым* «взял бы я», *алáсын* «взял бы ты», *алсы́н* «взял бы он», *алалы́м* «взяли бы мы», *алáсыныз* «взяли бы вы», *алсыннáр* «взяли бы они» [14]. «Смешанный» характер этой парадигмы объясняется тем, что в гагаузском языке (как и в турецком) форма 3-го лица желательного наклонения (на *-а*, *-ä*) не употребляется, пережиточно сохраняясь лишь в отдельных устойчивых выражениях. Вместо этой утраченной формы употребляется форма 3-го лица повелительного наклонения (на *-сын*, *-син*, *-сун*, *-сӱн*), которая приобрела здесь сослагательное значение; для выражения повеления в 3-м лице перед этой формой обычно ставится частица *ко* «пусть» (например, *ко алсын*! «пусть возьмет!», *ко версин*! «пусть даст!»), благодаря чему повелительное наклонение также сохраняет свою парадигму [15].

Инфинитив в гагаузском языке (неизменяемая форма на *-маа*, *-мää*) восходит к форме дат.-направит. падежа имени действия на *-мак*, *-мäк*, (*-мак* + *а* > *-мага* > *-маа*), то в время как форма на *-мак*, *-мäк* в современном гагаузском языке является именем существительным (ср., например: *йашамак* «жизнь» и *йашамаа* «жить», *имäк* «еда, пища» и *имää* «есть, питаться»). В других юго-западных тюркских языках (турецком, азербайджанском, туркменском) имя действия на *-мак*, *-мек* (в соответствующих фонетических вариантах) выполняет функции инфинитива и при этом принимает аффиксы мн. числа и падежей (кроме родительного), сочетается с послелогами.

В гагаузском языке (разговорном и письменном [16]) широко употребительны изъяснительные и целевые конструкции с конъюнктивом в функции инфинитива.

В изъяснительных конструкциях в качестве подчиняющего компонента выступают глаголы волеизъявления, эмоционального состояния и других модальных значений (verba sentiendi), а также глаголы речи и мышления (verba dicendi). Подчиняющий глагол — первый компонент такой конструкции стоит в изъявительном наклонении, реже — в форме 2-го лица повелительного наклонения. Вторым компонентом является глагол в конъюнктиве. Он выполняет функцию субъектного инфинитива, так как относится к тому же субъекту действия, что и первый глагол. Примеры: *Кары истäрди биркач колаччык йапсын* (НТ) [17] «Женщина хотела испечь (дословно: чтобы испекла) несколько хлебцев»; *Етии тирмедим бакайым она*, *йок олду* (БС фольк) «Не успел я посмотреть (дословно: чтобы я посмотрел) на него, (как) он исчез»; *О беенмäз ишини браксын йарым* (БД) «Она не любит бросать свою работу на половине»; *Да оннар да лафедирмишлäр*, *нерде дургунсуннар*, *нерде чекеттирсиннäр кӱӱ* (уст. расск.) «И они говорили (о том), где им остановиться, где основать селение»; *Кафадарлар дӱшӱнмӱшлäр шиндäн сора бурада йашасыннар* (ГФ) «Приятели задумали отныне здесь жить».

---

[14] Конъюнктив в гагаузском языке может употребляться не только в подчинительных конструкциях, но и самостоятельно, например: разг. *Таа не солейим*? «Что мне еще сказать?»; *Нäпсын*! «Что ему (ей) делать!», *Насыл шинди чалмайым*! «Как мне теперь не петь!»

[15] Подробнее см.: Л. А. Покровская, Грамматика гагаузского языка. Фонетика и морфология, М., 1964, стр. 204—207.

[16] Письменность для гагаузского языка введена в 1957 г. в Молдавской ССР.

[17] В статье используются следующие сокращения: БС — «Буджактан сеслäр», Кишинев, 1959; БД —«Буджак дан ерлери», гагаузская страница в газете «Ленинское слово» (орган Комратского РК КП МССР и райсовета депутатов трудящихся, 1969—1971 гг.); ГФ — «Гагауз фольклору» (сост. Н. Бабоглу), Кишинев, 1969; ДК — Д. Карачобан, Алчак сачак алтында, Кишинев, 1966; НТ — Н. Танасоглу, Буджак, Буджак..., Кишинев, 1970; разг.— разговорная речь; уст. расск.— устный рассказ; фольк.— фольклор.

В изъяснительных конструкциях с двумя различными субъектами действия глагол в конъюнктиве выполняет функцию объектного инфинитива. В этом случае первым компонентом данной конструкции может служить только глагол со значением волеизъявления, точнее, побуждения или запрещения совершить действие: *...йалварды йазсын адреси* (ДК) «попросил (его) написать адрес»; *Да оннары пек зеетлярмиш тӱрклär, браамазмышлар раат йашасыннар* (уст. расск.) «А их (гагаузов) очень притесняли турки, не давали им спокойно жить».

В качестве первого компонента подчинительных конструкций выступают также имена существительные с модальными значениями волеизъявления, желания, намерения и т. п., сходные по семантике с глаголами группы verba sentiendi. Эти конструкции, в сущности изъяснительные, имеют определительный оттенок значения. Второй компонент — глагол в конъюнктиве (форма 3-го лица) выполняет здесь функцию субъектного инфинитива. Примеры: ... *варды неети таманнасын буну* (ДК) «У него было намерение выполнить это»; *Вани Дойковун вармыш кысмети гӧрсӱн, не о хализдан баалар* (БД) «Ване Дойкову выпало счастье видеть, что такое настоящие виноградники».

Конъюнктив в качестве подчиненного компонента конструкции используется и в тех случаях, когда требуется выразить наличие или отсутствие условий для выполнения действия, возможность, невозможность или необходимость действия. В качестве первого компонента используются безлично-предикативные слова *вар* «есть; имеется», *йок* «нет; не имеется», *лääзым* «необходимо, нужно, должно», которые в прошедшем времени оформляются аффиксами сказуемости *-ды* или *-мыш* (в настоящем времени — нулевая форма сказуемости).

При выражении наличия или отсутствия условий для выполнения действия слова *вар* и *йок* в этих конструкциях сочетаются с вопросительно-относительными местоимениями *не* «что», *ким* «кто» в различных падежных формах или с производными от них наречиями. Примеры: *Калжыба варды не йаздырсын оолуна кенди кахырлары ичин* (ДК) «Калжы́бе было что написать сыну о своих горестях» (дословно: «Калжыба имелось что он просил бы написать»); *Бен йокту нерейи гидейим* (уст. расск.) «Мне некуда было идти» (дословно: «Я не было куда пошел бы я»).

Возможность или невозможность совершения действия выражается сочетанием слов *вар* и *йок* с местоименным наречием *ни͡жä* (< *не* + *͡жä*) или *на́сыл* (< *не асыл*) «как» + личные формы конъюнктива. Примеры: *Пирку ӧлä кучӱкмӱш, ани ау͡жунда вармыш ни͡жä ойнасын* (БС фольк.) «Пи́рку был такой маленький, что мог бы плясать на ладони»; *Йок насыл алайым*! (БС фольк.) «Не могу я взять!».

Необходимость совершения действия выражается конструкцией: *лääзым* (отрицательная форма — *диил лääзым* «не нужно; не до́лжно»: *диил* стоит в препозиции в отличие от постпозиции в других тюркских языках) + личные формы конъюнктива. Примеры: «*Лääзым*,— *демиш*,— *бу бакыры алтын парайлан гӧтӱреим о адама, ани еви сатты бана*» (БС фольк.) «Надо,— говорит,— мне отнести это ведро с золотыми монетами тому человеку, который продал мне дом»; *Биз лääзым гиделим ишä* (разг.) «Мы должны идти на работу»; *...диилди лääзым аданасын, ачан йапамыйжан* (разг.) «Ты не должен был обещать, раз не сможешь сделать».

В целевых конструкциях первым компонентом служат глаголы со значением движения или другого целенаправленного действия:

а) глагол в конъюнктиве в функции субъектного инфинитива: ... *калкэр торбасындан бир парча малай алсын* (НТ) «Поднимается, чтобы взять из котомки кусок кукурузной лепешки»; *Кызлар хепси дышары фырла-*

дыйдылар, *баксыннар*, *не олду* (НТ) «Девушки все выскочили из дома посмотреть, что случилось»;

б) глагол в конъюнктиве в функции объектного инфинитива: *Бу кышын биз Михаил Борисовичи йолладык, куллансын хеп геери калан бригадайы* (БД) «Этой зимой мы направили Михаила Борисовича руководить постоянно отстающей бригадой»; *Не олурса олсун, ама бән ону, таа илери ӱӱренсин, вережäм* (НТ) «Будь что будет, но я его отдам учиться дальше».

Для того чтобы яснее показать специфику употребления конъюнктива в гагаузском языке, рассмотрим возможности использования повелительно-желательных форм глагола в подчинительных конструкциях (в функции инфинитива) в других тюркских языках. По нашим наблюдениям, повелительно-желательные формы глагола могут употребляться в тюркских языках, в частности — огузской группы, в функции инфинитива в придаточных предложениях ц е л и, но при том лишь условии, если предикат главного предложения выражен глаголом движения или другого целенаправленного действия. Придаточное цели обычно присоединяется к главному предложению с помощью союза *ки* (который может опускаться) или союзного слова *дийе* в различных модификациях.

Например, турецк. *Vapur Çanakkale durmadı ki, çıkayım* «Пароход в Дарданнелах не остановился, чтоб мне можно было сойти (на берег)»; *Şakir Beye görünmiyeyim diye bucak bucak kaçardım* «Я бежал закоулками, чтобы мне не встретиться с Шакир-беем» [18]; азерб. *Бүтүн күнү, кечәләри кәзди ки, өзүнә бир иш тапсын* «Он дни и ночи ходил (по улицам), чтобы найти себе какую-нибудь работу», *Кәлмишәм ки, бир гәдәр ачыг данышаг* «Я пришел (для того), чтобы поговорить начистоту» [19]; туркм. *Достларым, гелдим алысдан, хана арзым айдайын* «Мои друзья, я пришел издалека, (чтобы) сделать хану доклад» [20].

Приведенные примеры убеждают в том, что общие для огузско-тюркских языков целевые подчинительные конструкции с повелительно-желательными формами глагола, обладающими способностью выступать в роли инфинитива (при наличии в главной части предложения предиката, выраженного, в основном, глаголом движения), как раз и послужили той конкретной почвой, на которой это явление получило дальнейшее развитие в гагаузском языке под влиянием болгарского и других балканских языков.

В изъяснительных же конструкциях, особенно с одним субъектом действия, насколько нам удалось установить, повелительно-желательные формы глагола в огузско-тюркских языках в функции инфинитива не выступают. В подчинительных конструкциях с двумя субъектами действия такое употребление повелительно-желательных форм все же возможно (в сочетании лишь с отдельными глаголами или именами в главной части предложения); например: турецк. *Sus, sana kim müsaade etti böyle çeneni açasın diye?* «Молчи, кто тебе позволил так разглагольствовать?»; туркм. *Кысмат олмаз, гидем узак ёллара, несип гоймаз, гидем* «Не судьба мне, (чтобы) я ушел в далекий путь; рок не допускает, чтобы я пошел». В гагаузском же языке «замена» инфинитива конъюнктивом распространилась

[18] Турецкие примеры взяты из кн.: А. Н. К о н о н о в, Грамматика современного турецкого литературного языка, М.— Л., 1956, стр. 542—545.

[19] Азербайджанские примеры взяты из кн.: «Грамматика азербайджанского языка», Баку, 1971, стр. 397—398. Примечательно, что при анализе последнего примера отмечается: «... если это сложноподчиненное предложение превратить в простое, придаточное предложение цели станет членом предложения — обстоятельством цели, выраженным инфинитивом: *Бир гәдәр ачыг данышмаг үчүн кәлмишәм*» (там же, стр. 397—398).

[20] Туркменские примеры взяты из кн.: А. П. П о ц е л у е в с к и й, Основы синтаксиса туркменского литературного языка, Ашхабад, 1943, стр. 81.

и на изъяснительные конструкции с одним субъектом действия (ср., например: гаг. *истеерим гидейим*, дословно: «хочу, чтобы я пошел» и турецк. *gitmek istiyorum* «пойти хочу»).

Что касается гагаузских изъяснительных конструкций, выражающих наличие или отсутствие условий для осуществления действия, возможность, невозможность и долженствование (со словами *вар*, *йок*, *лääзым* + + глагол в конъюнктиве), то они вообще несвойственны тюркским языкам и представляют собой чуждую для них типологическую модель. Как известно, в огузско-тюркских языках аспект возможности передается сочетанием деепричастия на *-а*, *-е/-ä* с глаголом *билмек* «знать» в служебном значении «мочь» (турецк. *gidebilmek*, азерб. *кәдә билмәк* «мочь идти»). Форма невозможности в турецком языке выражается аффиксом *-а-та* (*yazamamak* «не мочь писать»), в азербайджанском — сочетанием деепричастия на *-а*, *-ə* с глаголом *бил-* в отрицательной форме (*ишлəjə билмəмəк* «не мочь, не быть в состоянии работать»). Долженствование передается специальным долженствовательным наклонением на *-малы*, *-мели* (турецк. *yazmalıyım* «я должен писать»; азерб. *кəлмəлиjəм* «я должен придти»).

Подобные формы возможности, невозможности и долженствования имеются и в гагаузском языке, например: *алабилмää* «мочь взять», *ала́мамаа* «не мочь взять», *гитмели бäн* «я должен пойти, идти». Однако эти формы имеют весьма ограниченное употребление (особенно долженствовательная форма на *-малы*, *-мели*, являющаяся рудиментарной в современном гагаузском языке) и активно вытесняются аналитическими конструкциями с конъюнктивом. Каковы же причины образования и «внедрения» этих конструкций при наличии в гагаузском языке исконно тюркских грамматических средств для выражения модальных значений возможности, невозможности действия и долженствования? Дело в том, что в конструкциях такого типа конъюнктив также выступает в функции инфинитива, как и в других балканских языках. Ср., например: болг. *мо́га да пи́ша* «могу писать», *мо́жеш да пи́шеш* «можешь писать» и т. д. [21]. *Не можа́х да до́йда* «я не мог придти»; *Ти тря́бва да му ка́жеш* «ты должен ему сказать» [22]; рум. *Sunt sigur că tanti Matilda n-ar şti să-mi răspundă* «Я уверен, что тетя Матильда не смогла бы ответить»; *trebue să plec* «мне нужно уйти» [23].

Гагаузские конструкции с конъюнктивом, выражающие наличие или отсутствие условий для осуществления действия, также созданы, очевидно, по соответствующей модели балканских языков. В огузско-тюркских языках эти значения выражаются с помощью причастно-именных конструкций, т. е. типологически совершенно иначе. Ср., например: турецк. *oturacağı yer yok* «ему некуда сесть» [24] (дословно: «для его будущего сидения места нет») и гаг. *йок нäанда отурсун* (дословно: «нет где он сел бы»). Отметим попутно, что глагольные имена на *-дык* и *-аджак*, столь употребительные в турецком языке, в гагаузском почти совсем вышли из употребления и заменились конструкциями с личными формами глагола.

Таким образом, в гагаузском языке, в отличие от других огузско-тюркских языков, конъюнктив (а по происхождению — повелительно-желательные формы глагола) употребляется в функции инфинитива не только в целевых, но и в изъяснительных конструкциях с одним субъектом действия. Наряду с этим конъюнктив в гагаузском языке сохраняет свое «тюркское» употребление и не в функции инфинитива, в частности, как

[21] Ю. С. Маслов, Очерк болгарской грамматики, М., 1966, стр. 260.
[22] С. Чукалов, Български-руски речник, София, 1957, стр. 394, 908.
[23] Р. А. Будагов, Этюды по синтаксису румынского языка, М., 1958, стр. 111—112.
[24] Д. А. Магазаник, М. С. Михайлов, Русско-турецкий словарь, М., 1946, стр. 164.

предикат дополнительных и целевых придаточных предложений, когда предикат главного предложения не допускает сочетания с инфинитивом, например, *Нйанда гёрмӱшӱн, кызлар коркулу ерлерӓ гитсиннӓр, трактор хайдасыннар*? (НТ) «Где ты видел, чтобы девушки шли в опасные места, чтобы управляли трактором?» (придаточное дополнительное); *Ондан башка, ани кызчаз алдансын дейни, йола о екелеер чок гёзӓл бонжуклар* (БС фольк.) «Кроме того, чтобы девушка обманулась, на дорогу он насыпал очень красивые бусинки» (придаточное цели с союзом *ани* и союзным словом *дейни* одновременно).

Как известно, в балканских языках конъюнктив выступает в функции инфинитива, частично или полностью утраченного. В гагаузском же языке конъюнктив выполняет функцию инфинитива при наличии и активном употреблении последнего. В одном тексте или в речи одного лица часто можно встретить синонимичные конструкции с конъюнктивом и инфинитивом. Особенно показательной в этом отношении является сочетаемость глагола *истемӓй* «хотеть»: *истеерим аннадыйм* и *истеерим аннатмаа* «хочу рассказать». Конструкции с формами конъюнктива и инфинитива, образованными от одной и той же глагольной основы, могут встретиться даже в пределах одного предложения, например: *Биз достларымыза чок йардым едериз, куртулсуннар ески геери калмактан, куртулмаа империализманын тӱрлӱ бӱкӱнтӱлериндӓн* (БД) «Мы много помогаем нашим друзьям, чтобы они избавились от прежней отсталости, [помогаем] избавиться от пережитков империализма».

Практически во всех случаях, когда конъюнктив выполняет функцию инфинитива, он может быть свободно заменен инфинитивом на *-маа, -мӓй*. Некоторые исключения составляют лишь конструкции со словами *вар, йок, лӓйзым*, так как замена конъюнктива инфинитивом превращает их в безличные. Ср., например: *вар нижӓ бакасын* «ты можешь посмотреть» (дословно: «можно, чтобы ты посмотрел») и *вар нижӓ бакмаа* «можно посмотреть»; *лӓйзым гиделим кыра* «мы должны идти в поле» (дословно: «нужно, чтобы мы пошли в поле») и *лӓйзым кыра гитмӓй* «нужно идти в поле».

Однако в языке вырабатываются, вероятно, под влиянием русского языка как бы «переходные» конструкции, в которых становится возможной замена конъюнктива инфинитивом при сохранении указания на действующее лицо. Это достигается постановкой субъекта действия в дат. падеже, например, *Анасына йалныз зоорду беш ушаа бӱӱтсӱн* (= *бӱӱтмӓй*) (БД) «Ее матери было трудно одной растить (дословно: чтобы она растила) пятерых детей»; *Варды оннара икисинӓ, не лафетсиннӓр* (= *лафетмӓй*) (НТ) «Им обоим было о чем поговорить» (дословно: «поговорили бы они»).

Употребление в современном гагаузском языке конъюнктива в функции инфинитива в подчинительных конструкциях при равной возможности использования конструкций с инфинитивом на *-маа, -мӓй* объясняется, по нашему убеждению, тем, что образование этих двух моделей конструкций относится к различным историческим периодам развития гагаузского языка. «Балканские» конструкции с конъюнктивом в роли инфинитива сложились и закрепились в гагаузском языке не позднее XVII—XVIII вв., т. е. до переселения гагаузов в Бессарабию. Эти конструкции полностью вытеснили в гагаузском языке типично «тюркские» конструкции с инфинитивом на *-мак, -мек/-мӓк*, который поэтому утратил свои свойства инфинитива и преобразовался в отглагольное имя существительное. «Вторичный» же инфинитив на *-маа, -мӓй*, прежде употреблявшийся лишь как форма дат. падежа инфинитива на *-мак, -мек/-мӓк*, в частности, с глаголами «начинания» (например, *ааламаа башлады* «начала плакать»), приобрел все свойства и функции «полноценного» инфинитива уже позже,

в процессе контактов гагаузского с русским языком, которые начались с XIX в. и продолжаются по настоящее время. В гагаузском языке как бы столкнулись две противоположные тенденции: более ранняя балканская тенденция вытеснения конъюнктивом огузско-тюркского инфинитива на *-мак*, *-мек* и более позднее явление — замена конъюнктива в той же функции «вторичным» гагаузским инфинитивом на *-маа*, *-мää*. Сохранение до сего времени «балканских» конструкций с кочъюнктивом, по-видимому, поддерживается контактами гагаузского с молдавским языком, в котором также отмечается «балканское» употребление конъюнктива в функции инфинитива [25]. Интересно отметить, что в говорах гагаузов, переселившихся в Казахстан в начале XX в., «балканские» подчинительные конструкции с конъюнктивом уже полностью заменены синонимичными сочетаниями глагола с инфинитивом на *-маа*, *-мää* [26].

Об употреблении конъюнктива в функции инфинитива в гагаузских говорах северо-восточной Болгарии можно судить по работам А. Манова и В. Зайончковского [27]. В фольклорных текстах, записанных этими авторами, подчинительные конструкции с конъюнктивом в роли инфинитива — частое явление, например, *истемишлäр ону гÿвее йапсыннар* [28] (АМ) «Хотели сделать его зятем»; *йокмуш киме браксын тахтына* (АМ) «Некому было оставить свой престол»; *ūrašĭǰor tutsun günün šafkïnï* (WZ) «старается поймать солнечный луч»; *lāzïmdïr gelėsin* (WZ) «нужно, чтобы ты пришел». Вместе с тем, в записях В. Зайончковского встречается и употребление «первичного» инфинитива на *-mak*, *-mek*, например: *dönmek istemiş Šah Ismaile dōru* «хотела повернуться к Шаху Исмаилу»; *o babaǰa ne japmak lāzımdır*? «Что надо сделать такому отцу?».

Бессоюзные подчинительные конструкции с повелительно-желательными формами глагола (вместо инфинитива на *-mak*, *-mek* или конструкций с союзным словом *diye*) отмечены в ряде балкано-турецких диалектов и говоров. Впервые их зафиксировала Ж. Какук в турецком говоре Кюстендиля и Михайловграда (западная Болгария) [29]. Отмечая, что конструкции такого типа особенно часто употребляются с глаголами *istemek*, *başlamak*, *beklemek*, *demek*, *söylemek*, Ж. Какук считает, что они распространились в говорах немногочисленного турецкого населения западной Болгарии, несомненно, под влиянием болгарского языка. Ю. Немет, подчеркивая, что болгарский язык оказал особенно заметное влияние на оформление сложных предложений в диалекте турок Видина (северо-западная Болгария), также приводит подобные конструкции [30]. В. Г. Гузев считает такие конструкции в турецком говоре села Крепча (северо-восточная Болгария) кальками с болгарских фраз [31]. Специфическое употреб-

[25] См.: А. И. Чобану, Конъюнктив и его употребление в предикативных синтагмах в современном молдавском литературном языке. Автореф. канд. диссерт., Кишинев, 1960, стр. 3.

[26] См.: А. С. Аманжолов, Гагаузские фольклорные тексты, записанные в Семипалатинской области, «Казахская диалектология», I, Алма-Ата, 1965, стр. 234—246.

[27] А. И. Манов, Потеклото на гагаузите и техните обичаи нрави. В две части, Варна, 1938 (далее — АМ), стр. 144—154; Wł. Zajączkowski, Język i folklor gagauzów z Bułgarii, Kraków, 1966 (далее — WZ), стр. 109—113.

[28] В целях удобства чтения сложная графика, используемая А. Мановым, заменена здесь буквами современного гагаузского алфавита.

[29] См.: S. Kakuk, Constructions hypotactiques dans le dialecte turc de la Bulgarie Occidentale, «Acta Orient. Hung.», XI, 1—3, Budapest, 1960; ее же, Die türkische Mundart von Küstendil und Michailovgrad, «Acta Linguist. Hung.», XI, 3—4, Budapest, 1961, стр. 318—319.

[30] J. Németh, Die Türken von Vidin. Sprache, Folklore, Religion, Budapest, 1965, стр. 97—111.

[31] В. Г. Гузев, Описание турецкого говора села Крепча Тырговиштенского округа в Болгарии, «Балканско езикознание», V, 2, София, 1962, стр. 79.

ление форм императива-оптатива, аналогичное использованию в болгарском языке конструкции типа «частица *да* + личная форма глагола», отмечают в западнородопских турецких говорах Р. Моллов и М. Моллова [32].

В других балкано-турецких диалектах и говорах исследователи не выделяют интересующих нас конструкций. Тем не менее в фольклорных записях турецкого говора с. Куманова (Македония) их все же удалось обнаружить, например: *lākin at korkay yaklaşsın, su içsin* «Но конь боится подойти напиться воды»; *onlar başlarlar kessinlar kavagi* «Они начинают рубить тополь»; *bilmey ne yapsın* «Не знает, что ей делать»; *ben da g'eldım seni alayım* «А я пришел, (чтобы) взять тебя (замуж)» [33].

В статье М. Мансуроглу о турецком диалекте Эдирне (западная Турция) во фразе *Ister, gelsin burā* «хочет придти сюда» отмечается инверсия в порядке слов по сравнению с турецким литературным языком (*Buraya gelmek ister*) [34], однако осталось незамеченным принципиальное различие в оформлении подчиненного компонента данной фразы в диалекте Эдирне и турецком литературном языке.

Таким образом, употребление бессоюзных подчинительных конструкций с конъюнктивом в функции инфинитива засвидетельствовано в ряде западных и восточных (по классификации Ю. Немета) балкано-турецких диалектов. В гагаузском же языке на территории Молдавской ССР, Украинской ССР и в северо-восточной Болгарии эти конструкции распространены повсеместно. Различия в употреблении данных конструкций в балкано-турецких диалектах, с одной стороны, и в гагаузском языке, с другой, состоят, по нашим наблюдениям, в следующем: в балкано-турецких диалектах замена инфинитива на *-мак*, *-мек* конъюнктивом распространилась даже на глаголы, обозначающие начало действия (*başlamak* и др.). В гагаузском же языке с глаголами этой группы обычно употребляется вторичный инфинитив и лишь в единичных случаях наблюдается употребление конъюнктива после глаголов с «начинательным» значением, например, *Сора тутунэр аулун ичиндä бир пынар казсын* (БС фольк.) «Потом он принимается рыть колодец во дворе». Однако в то же время в балкано-турецких диалектах, в отличие от гагаузского языка, не отмечены конструкции с конъюнктивом, выражающие возможность и невозможность действия (типа *вар ни͡жä/йок ни͡жä* + конъюнктив).

В целом же рассмотренное выше употребление конъюнктива в функции инфинитива в гагаузском языке и балкано-турецких диалектах представляет собой специфическое явление, получившее развитие под влиянием балканских языков.

---

[32] R. M o l l o v, M. M o l l o v a, Parlers turcs des Rhodopes de l'ouest au point de vue slavistique, «Linguistique balkanique», XI, 1, Sofia, 1966, стр. 126.

[33] J. E c h m a n n, Kumanova (Makedonya) türk ağzı, «Németh armağanı», Ankara, 1962, стр. 130—142.

[34] M. M a n s u r o ğ l u, Edirne ağzında yapı, anlam, deyim ve söz dizimi özellikleri, «Türk dili araştırmaları yılığı belleten», Ankara, 1960, стр. 187.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1972

А. К. МАТВЕЕВ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЯЗЫКОВ И МЕТОДЫ ТОПОНИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Трудности изучения субстратной топонимики и ограниченность его возможностей [1] обусловливают необходимость постоянного совершенствования уже известных методов и поиски новых приемов исследования топонимического субстрата с тем, чтобы, во-первых, извлечь максимум информации из имеющихся данных, только небольшая часть которых обычно интерпретируется достаточно убедительно, а, во-вторых, чтобы уменьшить возможность ошибок при интерпретации.

Из частных приемов изучения субстратной топонимики особенно перспективны те, при использовании которых учитывается возможность проявления в топонимике различных форм взаимодействия языков, обусловливающего пути усвоения субстратной географической номенклатуры. Как известно, отношения между побеждающим и побеждаемым языками складываются по-разному, и это не может не повлиять на судьбу усваиваемой топонимики. По Северному Казахстану проходил один из основных путей кочевников в период переселения народов, и здесь в условиях кочевого быта и быстрых смен населения практически была невозможна постепенная ассимиляция одного народа другим. Именно по этой причине поиски дотюркского субстрата в топонимике Северного Казахстана до сих пор не дали сколько-нибудь ощутимых результатов. Недавно вымершие камасинцы, оленеводы самодийского происхождения, кочевавшие по саянским белогорьям в верховьях Маны и Кана, оставили лишь несколько топонимических названий, в основном гидронимов. Их оленеводческий быт столь отличался от экономического уклада русских земледельцев Присаянья, что в силу слабости хозяйственного и языкового контактов усвоение камасинской топонимики свелось к заимствованию русскими ничтожной доли камасинских географических названий, а в языке русских поселенцев деревни Абалаково (Саянский район Красноярского края), последнего прибежища камасинцев, не удалось обнаружить ни одного апеллятива, заимствованного из камасинского языка, хотя последняя камасинка, в какой-то степени помнящая свой язык (К. З. Анджигатова-Плотникова), до сих пор проживает в Абалаково.

Более или менее полное усвоение субстратной топонимической системы возможно только при постепенной ассимиляции одного народа другим в условиях длительного совместного проживания и хозяйствования, а усвоение массового топонимического субстрата всегда предполагает промежуточный этап двуязычия ассимилируемого народа, так что в этом случае правильнее говорить не о заимствовании субстратной топонимики русскими, но о сохранении ее у обрусевшего коренного населения. Финно-угорская чудь и русские на Севере [2] сосуществовали сотни лет, в течение

[1] См. об этом: А. К. Матвеев, Некоторые вопросы лингвистического анализа субстратной топонимики, ВЯ, 1965, 6.

[2] Имеется в виду русский Север (Архангельская и Вологодская области).

которых происходила ассимиляция чуди. Не идеализируя этот процесс, всегда трудный для ассимилируемого народа (жители некоторых деревень Севера до сих пор помнят, кто из них по происхождению чудской выходец, а кто русский — новгородец), заметим, что в целом ассимиляция чуди на Севере происходила мирным путем. Постепенное обрусение чуди сопровождалось развитием общих форм хозяйствования и быта (подсечно-огневое земледелие, охота и рыболовство, кустовой способ расселения и т. п.). Поэтому в эпоху феодального средневековья Север представлял собою сложную мозаику русских и чудских поселений и территорий. Относительную хронологию обрусения той или иной группы чуди запечатлела топонимика: полевые сборы в районе прежних владений Кириллова Белозерского монастыря обнаружили удручающе бедный (по сравнению с другими районами Севера) субстратный слой с почти полным отсутствием дорусской микротопонимики; между тем в юго-западной части Белозерского края субстратная топонимика исключительно богата, причем засвидетельствована масса микротопонимических названий. Достаточно взглянуть на карты русского землевладения в Белозерском крае в XV—XVI вв. [3], чтобы установить, что в этот период юго-запад Белозерья еще не был заселен русскими и, как свидетельствует топонимика, был занят чудью, в то время как район Кириллова Белозерского монастыря был прочно освоен русским населением.

Таким образом, процесс обрусения отдельных территорий Севера происходил неравномерно, с различной скоростью и интенсивностью и завершился неодновременно. Естественно, что и длительность этапа двуязычия могла быть различной: топонимика юго-западного Белозерья свидетельствует о медленном обрусении местной чуди, названия района Кириллова Белозерского монастыря — о более интенсивном процессе ассимиляции при развитии феодального хозяйствования. Как следствие всего этого, на разных территориях был различен и характер взаимодействия усваивающего языка и его складывающейся топонимической системы с языком и топонимикой коренного населения, причем, чем длительнее был этап билингвизма, тем, очевидно, более многообразным становилось взаимодействие языков. Север с этой точки зрения представляет собой уникальную топонимическую лабораторию, на территории которой в течение нескольких веков происходило контактирование русского языка с чудскими, однако и на других территориях взаимодействие языков отражается и закрепляется в топонимике, так как в любом случае иноязычные факты, иногда тысячелетней давности, проходят через горнило русского усвоения. Суть дела состоит в том, чтобы, установив формы языкового взаимодействия в этой области, использовать их в качестве эталонов при интерпретации топонимического субстрата.

Рассматривая вопрос о различных формах взаимодействия языков в топонимике, прежде всего необходимо иметь в виду, что иноязычная по происхождению географическая номенклатура, спроецированная в функционирующую топонимическую систему языка-победителя, отражает два ряда корреляций — синхронический, представляющий собой соотношение различных, но одновременных фактов субстратных языков (адстрат), и диахронический, фиксирующий взаимодействие русских компонентов с субстратными. Само собой разумеется, что синхронический ряд восстанавливается только на основе диахронических корреляций. Факты синхронического ряда могут возникнуть в языках-источниках в разное время, но тем не менее входить в одновременно функционирующие топонимичес-

[3] А. И. Копанев, История землевладения Белозерского края XV—XVI вв., М.— Л., 1951 (прилож. 1 и 2).

кие системы. Поскольку язык-победитель также мог усваивать адстратную топонимику в разное время, постулируемый синхронический срез очень часто предстает перед нами в «искаженном» диахронией виде (ср. передачу фин. *lahti* «залив» как *лохта* и *лахта*[4]), возникающие при этом диахронические корреляции, как правило, представляют исключительную ценность с точки зрения сравнительно-исторической фонетики. С другой стороны, некоторые субстратные топонимы (особенно микротопонимы) возникли в языках-источниках уже после того, как на соседних территориях Севера русскими была усвоена чудская топонимика. Это доказывается существованием «гибридных» топонимов (см. ниже). Подобное воздействие со стороны диахронии в свою очередь могло привести к отражению в топонимике интересных корреляций.

Синхронические корреляции ярче всего обнаруживаются при использовании метода картографических оппозиций, так как предположение о коррелятивности тех или иных элементов адстрата (фонетических, лексических, словообразовательных) прежде всего подтверждают данные картографирования. Для этимологического изучения топонимики важны все виды корреляций, но особенно перспективны лексические корреляции, отражающие различную языковую (или диалектную) реализацию одной семемы, при этом наличие ареального противопоставления свидетельствует одновременно в пользу двух этимологий [5]. Так, семема «болото» реализуется в основе *янг-* (фин. *jänkä*, карел. *jäykä*) на западе региона и в основе *со-* (фин. *suo*, вепс. *so*) на севере и юго-востоке, семема «сосна» выражается основой *мянд-* (фин. *mänty*, карел. *mändu*) на северо-западе, *печ-* (саам. *petse*, морд. *pitše*) — на севере и юге. При употребительности соответствующей семемы в топонимике установление одного коррелята облегчает поиск другого. Если же этимология ошибочна, второй член корреляции «обнаружить» весьма сложно, так как возможности этимологизации резко ограничиваются условиями ареальной корреляции. Нетрудно понять значение рассматриваемого методического приема для этимологизации субстратных топонимов.

Диахронические корреляции в топонимике проявляются в многообразных типах усвоения субстратных топонимов русским языком [6]. М. Фасмер насчитывает 5 основных типов усвоения финских названий русской топонимической системой [7]: 1) полное усвоение топонима с сохранением обеих частей названия (*Саруя* < *Saraoja* «осоковый ручей»), 2) частичный перевод (*Коткозеро* < *Kotkajärvi* «орлиное озеро»), 3) эллипсис форманта [*Мегра* < **Мегра-река* < *Mägrä-joki* (*jogi*) «барсучья река»], 4) полный перевод (*Хлебный Наволок* < *Leipäniemi*), 5) осложнение субстратных топонимов русскими аффиксами под влиянием русской словообразовательной модели (*Kuningala* — *Куниголово*), что, по мнению Фасмера, характерно для названий населенных пунктов. Кроме того, Фасмер указывает, что всюду, где происходила смена одного населения другим, в названиях смежных объектов встречаются параллельные формы, одна из которых является переводом другой (*Гора Харакку* и *Сорочья Гора*, *Кивика* и *Камешная*) [8]. Типы усвоения топонимов, указанные М. Фасмером, не исчерпывают, однако, всех возможных результатов взаимодействия (см. ниже).

[4] См.: А. К. Матвеев, Об отражении одного финско-русского фонетического соответствия в субстратной топонимике русского Севера, «Советское финно-угроведение», 19682.

[5] При трехчленной корреляции — трех этимологий и т. д.

[6] Или в формах усвоения субсубстратных топонимов языком субстрата.

[7] M. Vasmer, Die alten Bevölkerungsverhältnisse Russlands im Lichte der Sprachforschung, «Preussische Akademie der Wissenschaften. Vorträge und Schriften», Hf. 5, Berlin, 1941, стр. 22—25.

[8] Там же, стр. 25.

В то же время приложение схемы М. Фасмера к субстратной топонимике Севера показывает, что эта схема нуждается в некоторых уточнениях.

Существование первых двух типов усвоения финских названий в топонимике Севера не подлежит никакому сомнению и подтверждается множеством примеров (ср. фин. *Pirttiniemi*, *Pirttioja* ~ *Пертнема*, *Пертоя* — *Пертнаволок*, *Пертручей* и т. п.). Очень широко распространен и пятый тип усвоения, характерный, однако, не только для названий населенных пунктов, но и для топонимической системы в целом (ср. названия рек *Двина* — *Двиница*, *Печеньга* — *Печеньжица*, *Ухтома* — *Ухтомица*). Спорны и поэтому заслуживают особого рассмотрения вопрос об эллипсисе (р. *Перта*), а также вопрос о полных топонимических кальках (*Пертоя* — *Избная Река*, *Избной Ручей*), так как в опыте десятилетних полевых работ Севернорусской топонимической экспедиции на территории Севера нет ни одного случая фиксации двух параллельных форм (субстратной и ее русского соответствия), относящихся к одному объекту.

Вопрос об эллипсисе в субстратной топонимике Севера сводится к тому, считать ли элемент *перт-* в гидронимах *Перта* и *Пертеньга* и т. п. основой с определенным лексическим значением на уровне исходного апеллятива (ср. фин. *pirtti*, марийск. *пӧрт* «изба, дом»), а топоним *Перта* — эллиптической формой, утратившей субстратный формант на русской почве и получившей русское оформление *-а*, или название реки *Перта* следует расчленить по типу *Пер-та*, выделяя формант *-та* со значением «река», допуская тем самым гетерогенность гидронимов типа *Пертеньга*. Существование нескольких десятков бессточных озер с названием *Пертозеро* явно свидетельствует в пользу первого предположения. Однако еще более показательно сопоставление топонимов с соответствующими нарицательными словами, заимствованными русскими народными говорами из финских языков (см. табл. 1).

Однако вопрос о развитии эллипсиса в топонимике нельзя решать слишком прямолинейно. Во-первых, в тех случаях, когда в основе выступает географический термин, а как показывает материал, такие случаи весьма обычны (см. табл. 1), мы можем иметь дело не с эллиптическими

Таблица 1

Топоним типа «основа + формант»	Эллиптический топоним	Соответствие в финских языках	Русский диалектный апеллятив
Каскоя	*Каска*	вепс. *kask* «пожога»	*каска* «подсека»
Корбанга	*Корба*	карел. *korьi* «глухой лес»	*корба* «глухой лес»
Лахтюг[1]	*Лахта*	вепс. *laht* «залив»	*лахта* «залив»
Лохтог[1]	*Лохта*	вепс. *laht* «залив»	*лохта* «залив»
Лухтонга	*Лухта*	вепс. *luht* «заливной луг»	*лухта* «заливной луг»
Меньдюга[2]	*Мянда*	люд. *mänd* «сосна»	*мянда* «сосна»
Мурденьга	*Мурда*	вепс. *murd* «мусор, сор», эст. *murd* «бурелом, валежник»	*мурда* «грязь, ил»
Пертеньга	*Перта*	вепс *pert'* «изба»	*перть* «изба» (у карелов)
Себреньга	*Себра*	вепс. *śebr* «общая работа»	*себра* «общее дело»
Чёлмохта	*Челма*	саам. *čoalme* «пролив»	*челма* «пролив»
Шарденьга	*Шарда*	марийск. *шарды* «лось»	*шардун* «олений самец по второму году»
Янгосорь	*Янга*	карел. *jäŋkä* «болото»	*янга* «болото»

[1] Пример последовательной корреляции *Лохтюг — Лохтог*, *Лахта — Лохта*. *лахта — лохта* (соответствие фин. *а* русским *о* и *а*)

[2] Из * *Мяндюга*.

топонимами, а с географическими терминами в самостоятельном топонимическом употреблении. Во-вторых, обращает на себя внимание ряд названий, в основу которых положены апеллятивы, обозначающие различных животных, ср. *Кучкас* (марийск. *кучкыж* «орел»), *Кярныш* (вепс. *karniš* «ворон»), *Мегра* (карел. *tägrä*, марийск. *нерге* «барсук»), *Мыгра* (карел. *tügrä* «крот»), *Нюхча* (саам. *ńuxč*^{a} «лебедь»), *Сотка* (фин. *sotka* «утка»), *Сявна* (карел. *säänä* «язь»), *Чухча* (саам. *čuxč*^{a} «глухарь»), *Шарда* (марийск. *шарды* «лось») и т. п. В то же время оказывается, что другие апеллятивы, обозначающие, например, деревья, в таких названиях выступают значительно реже. Это наводит на мысль, что среди перечисленных есть псевдоэллиптические названия, представляющие собой случаи топонимического употребления тотемистических или прозвищных наименований, которые в одних случаях прилагались к названиям поселений (*Мыгра*), а в других могли быть перенесены с названия племенной (родовой) единицы или поселения на реку.

На первый взгляд, образования такого рода не характерны для финно-угорской и русской топонимики, однако тщательное изучение вопроса показывает, что это не так. Действительно, наименования типа *Kuikka* «гагара» и *Kurki* «журавль» обычны в топонимике финских населенных пунктов и урочищ [9]. Что касается русской географической номенклатуры, то в ней эта семантическая модель распространена и на гидронимику. На территории Архангельской области засвидетельствованы: *Глухарь*, ручей, *Горностай*, ручей, *Кобыла*, ручей, *Конь*, луг, *Лисица*, ручей, *Овечка*, залив, *Пескарь*, ручей, *Рак*, луг, *Синица*, озеро, *Собачка*, озеро и мн. др. Разумеется, ни финские, ни русские топонимы этого рода в плане принципов номинации не образуют полной аналогии постулируемым псевдоэллиптическим наименованиям в субстратной топонимике Севера; тем не менее они подтверждают возможность существования такой семантической модели.

Вопрос о полных топонимических кальках представляет проблему совсем в ином отношении. На территории Севера не зафиксированы дублетные названия одного и того же объекта, представляющие собой разноязычные корреляты, но их и не может быть, так как в настоящее время (и уже несколько сот лет) Север заселен только русскими. Фиксация дублетных форм, характеризующих один и тот же объект, происходит, как правило, при наличии двуязычия, которое на территории Севера представляет собой давно миновавший этап взаимодействия языков. Наоборот, на территории Карелии билингвизм до сих пор является живым процессом, широко отраженным в топонимике. Отсюда следует, что третий тип усвоения субстратной топонимической системы (по М. Фасмеру) не может быть характерен для давно обрусевших территорий, например, для Севера. Поэтому здесь бесполезен поиск дублетных названий, прилагаемых к одному объекту, что очень помогает при изучении топонимики территорий с живым двуязычием, например, в Карелии [10].

Следует, однако, теоретически осмыслить хорошо известные в топономастике факты фиксации в топонимических системах ныне одноязычных территорий с ярко выраженным субстратным слоем одинаковых в плане содержания, но различных в плане выражения (разноязычных) обозначений смежных объектов, которые удобно называть м е т о н и м и -

---

[9] См., например: «Suomen maa», I—IX, Helsinki, 1919—1929.

[10] Об этом приеме исследования см.: А. И. П о п о в, Материалы по топонимике Карелии, «Советское финно-угроведение», V, Петрозаводск, 1949, стр. 48—55; е г о ж е, Географические названия (введение в топонимику), М.— Л., 1965, стр. 122—134.

ческими кальками[11]. Обычно в таких случаях фиксируются названия двух основных объектов (одинаковых или разных) — субстратное и русское, но иногда метонимия распространяется и на третий смежный объект (см. ниже *Чуга*).

Возможны два пути возникновения метонимических калек. Первый состоит в том, что из двух субстратных названий смежных, но разных объектов одно сохраняется, а другое калькируется, второй — в том, что субстратное название или его калька переносится на часть объекта или на смежный объект, т. е. происходит своеобразное «расщепление» топонимического дублета, который в эпоху двуязычия прилагался к одному объекту. Какой из этих двух путей реализован в каждом отдельном случае — решить трудно, но более обычен, видимо, второй.

Рассмотрим ряд метонимических калек, засвидетельствованных на территории Севера.

1. Часть Кенозера называется *Ровдозеро*(=«железное», ср. вепс. *raud*, саам. *ruow'de* «железо»), а рядом находится пролив *Железные Ворота*. В этом случае можно предполагать существование в языке субстрата двух разных топонимов, обозначающих смежные объекты (=фин. *Rautajärvi*, *Rautasalmi*).

2. Река *Илекса* (— «верхняя; вершина»; ср. фин. *yla* «верхний») вытекает из оз. Калгачинское. В северный конец этого озера впадает р. *Верхняя*.

3. Село *Керга* (=«церковь», ср. фин. *kirkko*, саам. *gir'ko* «церковь») расположено рядом с селом *Церковное*.

4. В *Рабручей* (= «грязный ручей», ср. вепс. *raba* «гуща; грязь») впадает ручей *Грязный*.

5. В оз. *Чачема* (=«водяное», ср. саам. *čacce* «вода») впадает р. *Мокрая*.

6. Деревня *Чуга* (= «гора», ср. саам. *čo'kka* «гора») расположена рядом с деревнями *Гора* и *Холм*.

7. Около *Шидмозера*[12] (= «деревенское, населенное», ср. саам. *siidâ* «зимняя деревня») находится оз. *Жилое*. Примеры такого рода можно значительно умножить, но уже этих фактов достаточно для того, чтобы показать, сколь ценны для изучения субстратных географических названий метонимические кальки, соответствующие на одноязычных территориях топонимическим параллелям двуязычных и многоязычных территорий. Метонимические кальки трудны для обнаружения, но они часто имеют решающее значение для интерпретации.

Существование метонимических калек позволяет допустить, что на Севере очень многие чисто русские названия (р. *Березовая*, оз. *Долгое*) представляют собой кальки субстратных топонимов, однако доказать это положение и тем более применить его к каждому отдельному случаю практически невозможно.

Кроме установленных М. Фасмером основных типов усвоения финно-угорских топонимов русским языком, следует рассмотреть еще некоторые особые случаи проявления взаимодействия языков в сфере топонимики и в первую очередь гибридные названия. Сразу же заметим, что эти названия не имеют ничего общего с гетерогенными топонимами, возникающими при усвоении одной топонимической системы другой, по схеме «древний компонент (основа или весь топоним) + новый компонент (суффикс или детерминатив)». Так, на уровне взаимодействия субстрат-

[11] Об этом явлении знал уже Д. Европеус («К вопросу о народах, обитавших в средней и северной России до прибытия славян», ЖМНП, 1868, т. 139, стр. 64).

[12] Компонент *-м-* в *Шидмозеро*, очевидно, восходит к словообразовательному форманту *-V + м*.

ной и русской топонимики гетерогенны топонимы *Канзиха*, *Канзов*, *Канзово* (ср. вепс. *kanz* «семья»).

Под гибридными названиями имеются в виду топонимы, содержащие гетерогенные составные части в особом соотношении, а именно: субстратный элемент в форманте, русский — в основе. Нетрудно понять, что такие, на первый взгляд, противоестественные сложения могли возникнуть в следующих случаях: при проникновении в язык субстрата русских заимствований, что особенно характерно для эпохи билингвизма, хотя, несомненно, происходило и до нее, при «реализованной» народной этимологии [13] субстратных названий на русской почве и при втягивании русских названий в ряд субстратных топонимов. Различать эти три типа скрещения нелегко [14], однако наличие ударения не на первом слоге свидетельствует в пользу втягивания русского слова в ряд субстратных топонимов (ср. *Ольша́нга* < **Ольшанка*, *Худа́нга* < **Худанка*). К собственно гибридным названиям следует относить только первый из охарактеризованных трех типов скрещения, который, однако, трудно отличать от второго, ср.: *Беломень* (*мень* < *немь*, фин. *niemi* «мыс»), *Братинемская*, *Бродбой*, *Прудбуй*, *Стремянбой*, *Царстваньга* и др. Гибридные названия представляют интерес в том отношении, что могут указывать на генетическую связь определенных топонимических формантов с последним дорусским пластом. В то же время эта группа топонимов свидетельствует как о возможности своеобразной «обратной связи» в топонимике, так и о глубоком взаимопроникновении контактирующих языков в этой области [15].

О другой форме скрещения, которую можно назвать р е т р о с у б с т и т у ц и е й, видимо, следует вести речь в таких случаях, как *Габлахта* и *Лёхлуда*. Так как детерминативы *-лахта* и *-луда* отмечены в русской диалектной лексике в качестве апеллятивов (*лахта* «залив», *луда* «каменистая мель»), топонимы *Габлахта* и *Лёхлуда* могут оказаться частичными кальками, в которых «субстратный» формант фактически является русским географическим термином прибалтийско-финского происхождения (фин. *lahti* «залив, карел. *luodo* «каменистая мель»). Это позволяет объяснить полное отсутствие в функции второго компонента топонимов карельского коррелята *-лакша* (< карел. *lakši*), ожидаемого на западе

[13] См. об этом: А. К. М а т в е е в, Финно-угорские заимствования в русских говорах Северного Урала, «Уч. зап. [УрГУ им. А. М. Горького]», 32, Свердловск, 1959, стр. 96.

[14] Кроме тех случаев, когда известна древняя форма топонима, ср. *Колмогоры* > *Холмогоры*, где, конечно, мы имеем дело с народной этимологией.

[15] Есть еще одна возможность — заимствование русскими говорами соответствующего географического термина, который затем был утрачен в качестве апеллятива, но зафиксирован топонимикой. Однако доказать это в конкретных случаях очень трудно, хотя имеются отдельные факты, подтверждающие положение о том, что некогда русскому населению были известны такие заимствованные апеллятивы, которые в настоящее время отмечаются только в топонимике. В частности, фиксация субстратного топонима во множественном числе часто свидетельствует о том, что перед нами географический термин, утраченный апеллятивной лексикой. Дело в том, что постановка топонима, восходящего к географическому термину, во множественном числе предполагает понимание значения соответствующего апеллятива (если только это не тривиальная аналогия). Название поля *Монепелды* (= «многие поля», *Многополье*, ср. фин. *moni* «многий» и *pelto* «поле») прекрасно иллюстрирует это положение. В сущности, аналогичны случаи *Мурда — Мурды* (= *Лом — Ломá*, ср. эст. *murd* «бурелом, валежник»), *Шубач — Шубачи* (= *Осинник — Осинники*, ср. саам. *suppe* «осина») и др. Отсюда следует, что каждый факт употребления субстратного топонима во множественном числе должен тщательно учитываться, поскольку такое название может восходить к еще не опознанному географическому термину. Ценность этого методического приема очевидна. Иногда в этом же отношении показательны сочетания и сложения русских лексических компонентов с субстратными, ср. название озера *Чернал Чачка* (саам. *čacce* «вода», т. е. «черная водичка») и болота *Редкошубачное* (ср. саам. *suppe* «осина», т. е. «редкий осинник»). Названия такого рода могут быть гибридными.

региона (ср. *Першлахта* в районе Кенозера), и русского соответствия *-губа* (ср. *Лейгуба*, *Пергуба* и т. п. в Карелии); а также странные, на первый взгляд, образования *Хомшалги и Шублахта*, в которых детерминативы индентичны русским географическим терминам [*шалга* ««большой лес; гора, покрытая лесом» (~ фин. *selkä* «лесная грива») и *лахта* «залив»], а основы соответственно восходят к прибалтийско-финским (*хонг-* > *хом-*, вепс. *hoŋg* «сосна») и саамским (*suppe* «осина») источникам.

Существование различных форм калькирования и гибридизации географических названий свидетельствует о том, что усвоение чудской субстратной топонимики Севера русским языком нельзя представлять как прямолинейный процесс, результаты которого всегда легко предвидеть. Усвоение чудских названий начинается с проникновением на Север первых русских поселенцев, достигает своего апогея в период совместной жизни чуди и русских, продолжается и в наши дни. Однако полное вымирание чудских языков привело к тому, что лишь некоторые из типов усвоения субстратных топонимов продуктивны до сих пор. Взаимодействие живых топонимических систем неадекватно процессу усвоения субстратной топонимики русским языком. Совершенно очевидно, что появление новых полных калек, метонимических калек и гибридных названий в настоящее время столь же невероятно, как и возникновение новых субстратных топонимов. С другой стороны, превращение полукалек в эллиптические названия, преобразование топонимов на почве русской аффиксации, народная этимология, втягивание в ряд и дальнейшее приспособление субстратной топонимики к русской фонетической и морфологической системе долго будут живым процессом, многие стороны которого еще предстоит выяснить. Действительность топонимики оказывается богаче, чем это представляется первоначально, и ее невозможно втиснуть в прокрустово ложе построений, основанных на формальных приемах исследования. Изучение взаимодействия языков в топонимике дает возможность реально представить сложность путей формирования системы субстратных топонимов и выработать новые конкретные приемы их интерпретации.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1972

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

М. А. БОРОДИНА. Н. Н. МИЛЬМАН

О РЕКОНСТРУКЦИИ ЛИНГВОГЕОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТЫ
(На материале исторической фонетики французского языка)

Лингвогеографическая карта, составляемая обычно на основании анкетных данных полевой диалектологии, является одним из очень важных документов для истории языка. Ведь известно, что современные диалекты хранят подчас явления такой большой давности, что даже старые тексты не дают столь адекватного представления об особенностях прошлых периодов истории языка. В старых текстах, обычно в некоторой степени нормализованных и как бы «поднятых» до известного уровня литературного образца, не отражен разговорный язык в такой мере, в какой он отражен в диалектных записях. Старые тексты дают представление о системе языка, современные диалектные записи — о системе речи. Антитеза «уровень языка — уровень речи» характеризовала язык и прошлых времен, скажем, старофранцузский период, не в меньшей мере, чем современный язык. Для старых периодов эта антитеза с бо́льшим трудом поддается исследованию, чем в современном языке, потому что у нас нет возможности непосредственно наблюдать функционирование системы языка у отдельных коллективов или отдельных носителей языка. Одним из косвенных источников, дающих возможность проникнуть в уровень речи ранних периодов, является современная диалектология. Для представления о живой, реальной речи используются еще и такие источники, как свидетельства грамматиков тех времен, заимствованные в другой язык слова (они хранят первоначальный облик слова), сопоставления вариантов текстов,— но все эти источники привносят лишь весьма отрывочные и относительные по достоверности сведения. Наряду с диалектными данными, важным источником для изучения устной речи прошлых времен является исследование написаний, т. е. установление графической системы старого языка. Это оказывается существенным, потому что графика, как это следует из теоретических положений по интерпретации древних написаний, изложенных Л. Р. Зиндером и Т. В. Строевой в книге «Историческая фонетика немецкого языка» [1], отражает в большинстве случаев реальные произносительные особенности и менее всего должна быть рассмотрена как случайные или индивидуальные написания. Тщательный анализ старой письменности с использованием различных методов ее расшифровки и с привлечением ряда косвенных данных дает возможность реконструировать древние фонологические системы, а сопоставление данных разных диалектных памятников может дать ключ и к фонемному составу слов [2].

Однако эти источники, равно как и диалектные, до сих пор всерьез и последовательно не были использованы для реконструкции речи.

[1] Л. Р. Зиндер, Т. В. Строева, Историческая фонетика немецкого языка, М.— Л., 1965.

[2] Там же, стр. 23—39.

Первые — в силу недоступности и трудности объединения огромного количества мелких фактов, вторые — в силу отсутствия, до появления работ Л. Р. Зиндера [3], теоретической базы.

И действительно, диалектология до тех пор, пока она оставалась в рамках эмпирической полевой диалектологии, дававшей в основном сведения об отдельных пунктах, отдельных носителях языка, т. е. изучала скорее идиолект [4], чем систему диалекта в соотнесении с системой литературного языка, не могла с достаточной мерой эффективности быть применена для реконструкций.

Новое направление в развитии диалектологии — лингвогеографическое, которое получает все большее распространение, дает возможность более систематично, более детализованно и в то же время более обобщенно представить огромный диалектный материал — перевести его из уровня идиолекта в уровень системы диалектов, который очень обогащает наши представления о самых различных языковых явлениях.

Лингвогеография неразрывно связана с картой, с системой карт (атласом). Создание карты для современного периода не представляет сложной проблемы — о технике и методологии такой работы написана огромная литература. И хотя и здесь остается много дискуссионного, факты говорят о том, что методика составления атласов уже освоена: всего составлено около 200 диалектных атласов разных языков. Дальнейшие задачи диалектологов состоят в усовершенствовании анкеты и техники составления атласов, а также в выборе направленности проблематики атласов.

В атласе современных говоров, который является синхронным срезом современного состояния языка, отражаются срезы диахронии. Тем не менее этот источник отнюдь не дает исчерпывающих сведений для реконструкции истории того или иного явления.

Более широкое применение лингвогеографической методики исследования открывает новые перспективы для восстановления утраченных языковых явлений. Лингвогеографическая методика принципиально отлична от диалектной. Если источником диалектологии является полевое обследование, то источниками лингвогеографии служат: а) атласы, составленные на материалах полевых работ; б) тексты в определенном территориальном и хронологическом расположении; в) словари типа национального словаря В. фон Вартбурга [5] или регионального словаря Л. Зеликзона [6], в которых дается территориальное расположение слов [7];

[3] Общая теория графики дана Л. Р. Зиндером в книге «Общая фонетика», Л., 1960, стр. 306—316.

[4] См.: R. A. H a l l, Idioletto, dioletto, lingua, «Studi linguistici in onore di Vittore Pisani», Brescia, [1969].

[5] W. v o n W a r t b u r g, Französisches etymologisches Wörterbuch, Tübingen (с 1948 г).

[6] L. Z é l i q z o n, Dictionnaire des patois romans de la Moselle, Strasbourg — Paris, première partie: A — E, 1922; deuxième partie: F — M, 1923, troisième partie: N — Z, 1924 («Publications de la Faculté des lettres de l'Université de Strasbourg», fasc. 10—12).

[7] Так, например, в словаре Зеликзона представлена крайняя восточная часть лотарингского диалекта, находящаяся в той части деп. Мозель, которая не была включена в Лингвистический атлас Франции (ЛАФ) Жильерона и Эдмона, хотя она и представляет особый интерес, так как здесь проходит граница между французским и немецким языками. Однако словарь Зеликзона составлен таким образом, что он полностью восполняет этот пробел. Зона, обследованная Л. Зеликзоном, подразделена на семь областей: F — Fontoy (Фонтуа), P — Pays-Haut (Пэи-О), Y — Ysle (Иль), M — Messin (Мецский), V — Vosgien (Вогезский), S — Saunois (Сонуа), N — Nied (Нид) с рядом промежуточных. Лексические и фонетические варианты слов даются согласно этому делению (в квадратных скобках непосредственно за словом). В начале словаря приводится карта территории с указанием подразделений (сетка опросных пунктов), на которую и могут быть нанесены изученные в словарной статье сведения. Зеликзон для написания этой работы использовал как материалы личных наблюдений, так и уже

г) диалектные монографии, в которых материалы расположены по пунктам, где происходило анкетирование, что дает возможность восстановления карты [8].

Из перечисленных источников исторические тексты, если они представлены в достаточной мере, служат основным источником для реконструкции карт старого периода.

Реконструкции карт, связанные с текстами, производились уже неоднократно. Так, например, Л. Теньер в своем атласе двойственного числа в словенском языке реконструирует старые ареалы, начиная с XIV в. [9]; Г. Ф. Благова в ходе сопоставительного исследования (в области грамматических явлений) данных староузбекского письменного языка и современных диалектов подвергает картографированию некоторые языковые факты, нашедшие отражение в памятнике староузбекской литературы (XV в.) и в то же время сохранившиеся в современных диалектах при полной или почти полной утрате этих фактов современным узбекским литературным языком. Это картографирование позволило выявить характер, а также интенсивность распределения соотносимых языковых явлений и способствовало разрешению поставленной задачи — выяснить диалектную основу языка староузбекской литературы [10]. М. А. Бородина по данным старофранцузской письменности и современным диалектным материалам, почерпнутым ею в атласах, установила, что *mie* в XII—XIII вв. отнюдь не было общефранцузской формой приглагольного отрицания, как это принято думать. *Mie* как в прошлом, так и в наши дни локализуется прежде всего в диалектах восточной Франции, зона его распространения лишь незначительно уменьшилась по сравнению со старофранцузским. Если бы *mie* было более или менее равномерно распространено по всей территории, то в наши дни оно сохранилось бы в ряде окраинных говоров [11].

К использованию и картографированию диалектных признаков в текстах в истории германских языков неоднократно прибегали и представители немецкой диалектологической школы, в частности А. Бах и Т. Фрингс.

Французский язык, как известно, обладает богатым собранием исторических текстов, написанных в разные периоды в разных областях. Карта, приложенная к упоминавшемуся словарю Вартбурга, дает некоторое представление о сетке этих текстов. Литературные тексты представляют меньший интерес для реконструкции устной речи, чем документы канцелярского письма по следующим соображениям: они, т. е. литературные тексты, локализованы менее строго во времени и в пространстве, а язык их, который авторы с древнейших периодов пытались сублимировать до обще-

---

имеющиеся опубликованные сведения о языке этой территории — словари, тексты, исследования (см. в «Предисловии» к Словарю, стр. V—XVII).

Для иллюстрации приведем пример словарной статьи из охарактеризованного словаря: «Cheviate [šęvyat M, N, S, šęvyǫt Y, P, šęviyǫt F] s. f. — Goupille; cheviette qui sert à pendre le linge».

В некоторых диалектных словарях территориальная характеристика слова занимает настолько значительное место, что в текст словаря включаются и лингвогеографические карты.

[8] I. B a b i n, Les parlers de l'Argonne, Paris, 1954; Ch. B r u n e a u, Enquête linguistique sur les patois d'Ardenne, I—II, Paris, 1923—1926.

[9] L. T e s n i è r e, Atlas linguistique pour servir à l'étude du duel en slovène, Paris, 1925.

[10] Г. Ф. Б л а г о в а, Значение данных современной узбекской диалектологии для изучения староузбекского письменного языка, ВЯ, 1965, 1.

[11] См.: М. А. Б о р о д и н а, Приглагольное отрицание в лотарингском диалекте французского языка (к реконструкции лингвогеографической карты), сб. «Вопросы романского языкознания», Кишинев, 1963.

французского письменного литературного [12], представляет, с точки зрения лингвогеографии, меньший интерес.

Положение о том, что графика отражает фонемный состав древнего языка (а в некоторых случаях дает ключ к расшифровке фонемного состава слов), в соединении с сеткой хартий, которую удается нанести на контуры Франции, и дает нам возможность представить несколько реальней произношение слова в определенной местности.

Сетка состоит из 81 пункта. Хартии, составленные в них, обследовались по следующим основным источникам:

I. Общие сборники грамот:

1) L. Carolus-Barré, Les plus anciennes chartes en langue française, 2, Paris, 1964.

2) E. Schwan et D. Behrens, Matériaux pour servir d'introduction á l'étude des dialectes de l'ancien français, в кн: «Grammaire de l'ancien français, traduction française par O. Bloch», troisième partie, Leipzig, 1921.

3) В. Ф. Шишмарев, Книга для чтения по истории французского языка, М.— Л., 1955, стр. 217—226.

II. Западнофранцузские грамоты:

1) Cartulaire de l'abbaye royale de Notre-Dame des Châtelliers, Niort, 1872.

2) Cartulaire de l'Abbaye de Notre-Dame de la Mersi-Dieu autrement dite de Bécheron au diocèse de Poitiers, «Archives historiques du Poitou», XXXIV, Poitiers, 1905.

3) Cartulaire de l'Aumônerie de Saint-Michel de Thouars, «Archives historiques du Poitou», XXXI, Poitiers, 1901.

4) Cartulaire des Sires de Rays, «Archives historiques du Poitou», XXVIII, Poitiers, 1898.

5) Chartes et documents poitevins du XIII-e siècle en langue vulgaire, 1 — 1960, 2 — 1963.

6) Chartes de Fontevraud concernant l'Aunis et la Rochelle, «Bibl. de l'école des Chartes», 1858, стр. 132—170.

7) Le Comté de la Marche et le Parlement de Poitiers, «Bibl. de l'école des hautes études», 1910.

8) Choix de pièces inédites tirées des archives du château de Serrant, «Bibl. de l'école des Chartes», IV, 1868.

9) Recueil de documents et mémoires inédits, «Archives d'Anjou», 3, Angers, 1843—1854.

10) Récueil des chartes en langue française de XIII-e siècle conservées aux Archives départementales de l'Indre pour servir à l'étude du langage usité en Berry au moyen âge, Paris, 1885.

III. Северо-восточные грамоты:

1) Ch. Bonnier, Étude critique des chartes de Douai de 1203—1275, ZfRPh, XIV, 1890, стр. 66—68.

2) Récueil des actes des comtes de Pontieu (1026—1271), Paris, 1930.

3) A. d'Herbomez, Les chartes de l'Abbaye Saint-Martin de Tournai, 2, Bruxelles, 1898—1901.

---

[12] Н. А. Катагощина, О соотношении литературного языка и диалектов в старофранцузский период (до XIII в.). Автореф. докт. диссерт., М., 1955. Одним из тезисов диссертации является доказательство того, что старофранцузские памятники XII в. свидетельствуют о начале формирования общефранцузского письменного литературного языка, положение, высказывавшееся и ранее в работах Г. Морфа, Г. Зюшье, Г. Ваккер, К. Фосслера, но не получившее достаточно обоснований, поскольку оно не разрабатывалось с точки зрения соотношения литературного языка и диалекта (см. стр. 6). Напомним, что значительное количество исследователей (Г. Парис, В. Мейер-Любке, К. Фореч и др.) полагают, что истоки литературного языка восходят к более позднему времени.

4) C. T. Gossen, Petite antologie picarde, в кн: «Petite grammaire de l'ancien picard», Paris, 1951.

5) M. Gysseling, Les plus anciens textes français non litteraires en Belgique et dans le Nord de la France, «Scriptorium», III, 1949, стр. 190—210.

6) Chartes françaises de Vermandois de 1218 à 1250, «Bibl. de l'école des Chartes», XXXV, 1874, стр. 437—478.

7) G. Raynaud, Étude sur le dialecte picard dans le Pontieu d'après les chartes des XIII-e et XVI-e siècles, «Bibl. de l'école des Chartes», XXXVI, 1875, стр. 193—243.

8) N. de Wailly, Récueil de chartes en langue vulgaire provenant des archives de la collégiale de Saint-Pierre d'Aire, «Bibl. de l'école des Chartes», XXXI, 1870, стр. 261—302.

IV. Восточнофранцузские грамоты:

1) Ch. Bruneau, Étude phonétique des patois d'Ardenne. Paris, 1912.

2) F. Bonnardot, Chartes françaises de Lorraine et de Metz, «Bibl. de l'école des Chartes», XXXV, 1874.

3) Document en patois lorrain relatif à la guerre entre le comte de Bar et le duc de Lorraine, «Romania», 1 — 1872, 2 — 1873.

4) E. Philipon, Les parlers du duché de Bourgogne aux XIII-e et XIV-e siècles, «Romania», XXXIX — 1910, стр. 476—531; XLI — 1912, стр. 541—600.

5) E. Philipon, Les parlers de la Comté de Bourgogne aux XIII-e et XIV-e siècles, «Romania», XLIII, 1914, стр. 495—559.

6) Vie en prose de Girart de Rossillon, «Romania», VII, 1878, стр. 178—225.

7) N. de Wailly, Recueil de chartes originales de Joinville en langue vulgaire, «Bibl. de l'école des Chartes», XXVIII, 1867, стр. 557—608.

Наложение материала хартий на сетку дает представление об ареалах тех или иных написаний, и поскольку «графика соотнесена с фонемным составом языка» [13], мы можем говорить об отражении этими написаниями тех или иных фонетических явлений.

Ниже мы рассмотрим следующие фонетические процессы: а) монофтонгизация дифтонга *ai* > *e*; б) распространение факультативного дифтонгоидного произношения *ei* для рефлекса латинского ударенного *a*; в) редукция дифтонга *ie* > *e* или *ie* > *i*.

Монофтонгизация дифтонга *ai* > *e*. Анализ письма хартий обнаруживает большое количество дублетных форм слов типа: *laisser* — *lesser*, *raison* — *reson*, *faisons* — *fesons*, *sairement* — *serement*; *vairunt* — *verront*. Это говорит о том, что писцы древних текстов употребляли написания *ai* и *e* в словах с одним и тем же значением. Следовательно, речь не может идти о фонемном противопоставлении звуков, переданных посредством *ai* и *e*, так как встречаясь в одинаковых фонетических положениях, они не дифференцировали значения. Указанные разнописания имеют следующее основание: оба графических средства (и буквосочетание *ai*, и буква *e*) в данный период (XIII в.) передавали на письме один и тот же звук и являлись поэтому синонимичными графемами. Это подтверждается и многочисленными рифмами типа: *mais* : *apres*, *mesfet* : *fait*, *maistre* : *estre*.

Совпадение некогда разных звуков произошло в результате монофтонгизации дифтонга *ai*. Рассматриваемая графическая синонимия и объясняется сохранением в старофранцузской графике написания *ai*, употреблявшегося прежде для дифтонга.

[13] Л. Р. Зиндер, Т. В. Строева, указ. соч., стр. 30—36.

Письмо документов, составленных в различных областях Франции, дает неодинаковые результаты замены написания *ai* на *e*. Данные анализа письменных памятников показывают, что это явление было присуще в большей степени центрально-западной традиции письма: чаще всего дублетные формы встречаются в письменных документах из Анжу, Мэн, Нормандии, Орлеана, Иль-де-Франса, Пуату. Напротив, эта замена почти отсутствует в хартиях, составленных в северо-восточной и восточной области Франции. В письме грамот из Бургундии, Франш-Контэ нет случаев замены *ai* на *e*. В письме лотарингских грамот — один случай обратной замены: *vairunt* вместо *verront*. В письме грамот Валлонии — два примера: *serment* < *sacramentum* и *saignor* < *seniōrem*. Письмо собственно пикардских хартий дает на 135 проанализированных документов всего два случая употребления дублетных пар: *serement* — 2 раза и *sairement* — 8 раз. Напротив, в пограничных с нормандским и франсийским диалектами областях монофтонгизация *ai* > *e* происходила под влиянием последних, о чем свидетельствует более частая замена *ai* на *e*, особенно это обнаруживается в рифмах произведений, составленных в Бовэ. В письме шампанских грамот *e* реже, чем *ai*, но случаи взаимозамены обоих написаний чаще, чем в грамотах из других восточных областей, причем они прослеживаются в основном в хартиях из пограничной с Парижем области (Дуар). Во франсийских документах наблюдается только *e* в тех словах, в которых на востоке и северо-востоке употребляется *ai*.

Явление неодинакового использования писцами обеих графем говорит о неоднородности процесса монофтонгизации *ai* > *e* на территории Франции: в то время, как в западных и в центральном диалектах выделение монофтонга уже завершилось, в северо-восточных и восточных, напротив, наблюдается еще дифтонгоидное произношение, и процесс монофтонгизации здесь произошел позже, чем в других диалектах.

Данные хартий подтверждаются также рифмами пикардских поэтов: *traison* : *maison*, *naistre* : *repaistre*, *paistre* : *aistre* : *maistre* (Langfors, Li Regres Nostre Dame, p. LIII) и свидетельствами первых грамматиков о том, что дифтонг произносился в пикардском диалекте еще в XVI в. [14].

Распространение факультативного дифтонгоидного произношения для рефлекса латинского ударенного *ā*[. Анализ документов из различных областей Франции дает примеры неодинакового отражения в письме результата развития латинского ударенного *ā*[. В одних хартиях этот рефлекс представлен преимущественно в виде написания *e*, в других — как *ei*, а в большем количестве документов встречаются оба написания: *verite* — *veritey*, *gre* — *grei*, *tel* — *teil*, *garder* — *gardeir*, *apercevee* — *aperceveie*.

Факты употребления *ei* лишь наряду с *e* только в дублетных парах, т. е. в одних и тех же фонетических условиях, отвергают предположение о фонемном противопоставлении звуков, обозначенных посредством *ei* и *e*. Неосновательной будет и мысль о том, что *ei* и *e* отражают позиционные варианты одной и той же фонемы: хотя *ei* и употребляется преимущественно в ударном конечном положении, однако *e* также часто появляется и здесь. Следовательно, их употребление не связано с комбинаторными условиями. При определении фонетического значения написания *ei* более вероятным представляется предположение, что *ei* отражало реальное, дифтонгоидное произношение, выступавшее по отношению к фонеме /e/ факультативным вариантом.

---

[14] См.: C. T. Gossen, Petite grammaire de l'ancien picard, Paris, 1951, стр. 39—40.

Результаты исследования письменных документов показывают, что параллельное употребление форм с *ei* — *e* особенно часто наблюдается на севере Франции (в Нормандии) и на востоке (в Валлонии, Лотарингии, Бургундии). Например, в пикардском формы с *ei* как раз и засвидетельствованы в документах из областей, пограничных с этими центрами: из Сент-Омера, Авена, Сен-Кантена, Поньте, Монса, Дуэ, Лилля, Турнэ. Реже дублетные формы встречаются в хартиях из Камбрэ, Бовэ, Лаона, Суассонэ, Булоннэ, Эр.

В ходе дальнейшего исторического развития форма с *e*, более употребительная в диалектах запада и центра, вытесняет параллельную дифтонгоидную, остатки которой сохраняют еще современные говоры: *etey*, *veritey*, *filey* [15].

Редукция дифтонга *ie* > *e* или *ie* > *i*. Редукцию дифтонга *ie* к *e* или *i* можно проследить в письме старофранцузских грамот по колебаниям в написании слов, с одной стороны, *ie* — *e*, с другой — *ie* — *i*.

Колебания *ie* — *e* отмечены в письме грамот из западных и северо-западных областей. Здесь еще в ранних текстах засвидетельствованы формы с *e*: XI в. — *Esclancher* (1080), *parcheminer*, *draper* (1060); первая половина XII в., ассонанс: *estragerent* : *giterent* : *lapiderent* [16]. Ранние примеры с *e* дает также Е. Шахт [17] в именах собственных: *Forester* (1059), *Li Peleter* (1059), *Braconer* (1088).

Анализ грамот дает следующие результаты. В документах из юго-западных и западных областей (Онис, Сентонж, Пуату) написание *ie* уступает по частоте встречаемости *e*: *derere*, *darrere*, *arrere* < *retro*; *Pere*, *Pompere* < *Petru*; *perre* < *petra*; *Estene* < *Stephanu*; *seet* < *sedet*; *terce* < *tertiu*; *peces* < *pettia*; *ben* < *bene*; *fe*, *feu* < *feodu*; *tent*, *se tenent*, *tenc* < *tenire*. Для передачи на письме результатов развития *a* после палатального и суффикса *-āriu* в этих областях употребляется преимущественно *e*. Написание *ie* здесь, таким образом, — в значительном меньшинстве: так, в хартиях 1260, 1262, 1263 гг. можно наблюдать следующую частоту встречаемости слов: *chevaler* — 4 раза,; *dener* — 7 раз; *menere* — 5 раз; *chevalier* — 1 раз; *denier* — 2 раза; *meniere* — 1 раз.

Современные говоры этих областей, как правило, сохраняют *e* в произношении: *ie* здесь — влияние литературной нормы (см. карту ЛАФ 1012 *Pied*; произношение *pe* наблюдается в Вандее, пп. 448, 521, 531; в Дё-Севр., пп. 510, 512, 513; в Вьенне, пп. 505, 508, 514).

В документах из Анжу, Мэн, Турени и Бретании колебания *ie* — *e* значительно больше, чем в юго-западных областях, иногда с преобладанием *ie*, как, например, в Турэни и в Бретани.

В письме грамот из Нормандии написания слов с *e* являются исключениями, что, по-видимому, объясняется его близостью центральной традиции письма, где *ie* обнаруживает преимущественное употребление. В противоположность юго-западным и западным говорам и современное диалектное произношение в деп. Манш и прилегающих островах — *ie* : *adres*^{y}*e*^{i} (= *adresser*) [18].

Грамоты из Пикардии и пограничных с ней областей дают для результата развития латинского ударенного *ĕ*[, как правило,— *ie*. Колебания *ie* — *e*, также отмечаемые в этом письме, отражают, однако, другую особен-

[15] L. Brebion, Étude philologique sur le nord de la France, Paris — Londres, 1907, § 223.

[16] P. Fouché, Phonétique historique du français I, Les voyelles, Paris, 1958, стр. 267.

[17] E. Schacht, Die vulgärsprachlichen Elemente in den mittellateinischen Urkunden des Poitou, Wien, 1965.

[18] A. Sjögren, Les parlers bas-normands de l'île de Guernesey, Paris, 1964.

ность, объединяющую пикардский и валлонский диалекты: написание *ie* в этом случае отражает дифтонгоидное произношение результата латинского *e* в закрытом слоге. Эта особенность имеет место в пикардском под влиянием соседнего валлонского диалекта, которому эта черта присуща [19].

Другой вид колебаний в написании слов: *ie* — *i* отмечается в письме северо-восточных и восточных областей, а именно, в валлонском и лотарингском. Первые формы с *i* засвидетельствованы в официальных документах Валлонии уже в XII в. в именах собственных и топонимах [20]: *Rosiris* (1152) (= Petit-Rosiere), *Nicholaus de Perirs* (*petra*), *Watirs Bertaus* (1233). Также и в лотарингском формы с *i* начинают наблюдаться с XII в. [21]: *volentirs*, *brif*, *prumirs*, *pechir*. В валлонских и лотарингских грамотах XIII в. написание *i* появляется чаще, чем *ie*: *Pirres*, *chir*, *Aminos*, *manire*, *cheıalir*, *fif*, *Olivir*, *denirs*, *entirement*. В остальных восточных областях формы с *i* отмечаются, но значительно реже; появление их здесь объясняется, по всей вероятности, влиянием валлонской и лотарингской традиции. Отражение рефлекса латинского *ĕ*[в этих диалектах совпадает с центральной традицией, т. е.— преимущественное употребление написания *ie*.

Анализ употребления в грамотах написаний *ie*, *e*, *i* позволяет установить области их распространения; всю территорию Северной Франции можно, таким образом, разделить на три зоны: а) юго-запад и часть западных областей, б) северо-восток и часть восточных областей, в) центр и пограничные с указанными двумя зонами районы. Параллельные формы с *ie* — *e*, с одной стороны, и *ie* — *i* — с другой, говорят о том, что в старофранцузском языке существовало три произношения одного и того же рефлекса: одно дифтонгоидное, которое в дальнейшем легло в основу литературной нормы, и два недифтонгоидных — редуцированных к *e* или к *i*.

Итак, для рассмотренных здесь фонетических процессов лингвогеографический метод картографирования дает наглядное представление о распространении этих фонетических явлений по областям, он позволяет выявить центры иррадиации того или иного явления, сравнение же карт помогает глубже понять фонетические процессы, происходящие в языке рассматриваемого периода. Так например, дифтонг *ai*, по данным графики претерпевший монофтонгизацию во всех положениях, кроме гиата, сохраняется в XIII в. на северо-востоке и востоке. Это явление совпадает в указанных областях и с явлением дифтонгоидного произношения фонемы /a/ в словах типа: *domaige*, *faice*, *juraissent*. Картографирование результатов анализа неравномерного употребления писцами написаний *ei* и *e* (для рефлекса латинского *ā*[) в хартиях из разных областей дает возможность ясно выделить центры иррадиации факультативного дифтонгоидного произношения *ei*. Наложение на сетку материалов распространения по хартиям форм с *e* или *i* вместо *ie* дает наглядное представление об употреблении редуцированных форм в различных областях Северной Франции.

---

[19] L. R e m a c l e, Le problème de l'ancien Wallon, Liège, 1948, стр. 49—50.
[20] Там же, стр. 48.
[21] F. B o n n a r d o t, Document en patois lorrain relatif à la guerre entre le comte de Bar et le duc de Lorraine, «Romania», I, 1872, стр. 328—351.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1972

Г. К. ВЕРНЕР

РЕКОНСТРУКЦИЯ СЛОГОВЫХ ТОНОВ В ЕНИСЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ XIX в. (по словарным материалам М. А. Кастрена)

Обнаруженные в современных енисейских языках — имбатском (собственно кетском) и сымском (югском [1]) — тональные системы [2] представляют большой интерес для сравнительно-исторического изучения енисейских языков и не могут не учитываться при реконструкции общеенисейского языкового состояния. Накопленные факты позволяют уже на данном этапе исследования ставить вопрос о реконструкции тональных систем в исчезнувших енисейских языках на основе дошедших до нас словарных материалов, несмотря на то, что при этом отдельные детали остаются еще невыясненными. Настоящая работа, являясь в этом отношении первой попыткой, имеет основной своей задачей осмысление тех возможностей в реконструкции слоговых тонов, которые представляет современная слоговая политония и записи по енисейским языкам XIX в., в частности словарные материалы известного исследователя XIX в. М. А. Кастрена.

Как известно, в XVIII в., кроме сохранившихся до настоящего времени имбатского и сымского, существовали и другие енисейские языки, а именно — аринский, ассанский, коттский и пумпокольский; все они растворились в иноязычной (тюркской) среде во второй половине XVIII в. [3], кроме коттского, который существовал до середины XIX в. и был в последний раз записан М. А. Кастреном в Агульском улусе на р. Агул [4].

Словарные материалы по енисейским языкам XIX в. не имеют специальных обозначений для слоговых тонов. В связи с этим для реконст-

---

[1] Аргументы в пользу того, что целесообразней говорить о двух различных языках, а не о сымском и имбатском диалектах кетского языка см. в предисловии: Вяч. Вс. Иванов, В. Н. Топоров, Б. А. Успенский, Кеты, их язык, культура, история, в кн.: «Кетский сборник. Лингвистика», М., 1968, стр. 5.

[2] См.: А. П. Дульзон, О тонах односложных слов кетского языка и их звуковых отражениях, «Происхождение аборигенов Сибири и их языков. Материалы межвузовской конференции 11—13 мая 1969 г.», Томск, 1969; Вяч. Вс. Иванов, Сравнительно-историческое истолкование написаний с *к* и *г* в записях XVIII в. по енисейским языкам, там же; его же, О происхождении ларингализации-фарингализации в енисейских языках, сб. «Фонетика. Фонология. Грамматика. К семидесятилетию А. А. Реформатского», М., 1971; Г. К. Вернер, Звуковая система сымского диалекта кетского языка. Автореф. канд. диссерт., Томск, 1966, стр. 17—22; его же, Сымско-кетская система слоговой акцентуации, «Уч. зап. [Омск. пед. ин-та]», 36 — Труды кафедр гуманитарных наук, 1968; его же, Слоговая ацентуация кетских говоров, там же, 44 — Вопросы диалектологии и языкознания, 1969; его же, К фонологической интерпретации ларингального смычного в кетском языке, ВЯ, 1969, 1; его же, К типологической характеристике енисейской слоговой акцентуации, «Происхождение аборигенов Сибири и их языков»; его же, Слоговые тоны кетских говоров в свете некоторых экспериментальных данных, «Уч. зап. [Омск. пед. ин-та]», 52 — Вопросы филологии, 1969.

[3] См. об этом: А. П. Дульзон, Кетские наречия первой половины XVIII в., «Труды Томского областного краеведческого музея», VI, 2, 1963, стр. 38.

[4] См. об этом: А. П. Дульзон, Очерки по грамматике кетского языка, I, Томск, 1964, стр. 4; его же, Кетский язык, Томск, 1968, стр. 8.

рукции тонов представляются очень важными отмечавшиеся факты взаимодействия между слоговыми тонами и звуковой системой в современных языках. Зная характер воздействия различных тонов на звуковую систему, а также лексико-морфологическую дистрибуцию тонов в современных языках [5], можно проследить, как это воздействие отражается в имбатских и сымских словарных материалах XIX в., и, опираясь на полученные результаты, провести такой же анализ словарных материалов по коттскому языку XIX в. Особенно ценным в этом отношении являются словарные материалы М. А. Кастрена, тонкого фонетиста, исключительно точно передавшего звуковое варьирование (прежде всего вокализма) под воздействием слоговых тонов и производившего к тому же одновременно записи по имбатскому, сымскому и коттскому языкам в середине XIX в. [6]. С анализа материалов М. А. Кастрена мы и начинаем выявление слоговых тонов в енисейских языках XIX в., отталкиваясь при этом от современного состояния [7].

Г. Имбатская и сымская тональные системы по материалам XIX в. Енисейско-остяцкие материалы М. А. Кастрена отражают, как известно, язык сымских кетов и имбатские говоры, которым, судя по отдельным особенностям консонантизма (например, отсутствию ∂, $\partial' > p$, p'), могут в современном имбатском соответствовать говоры Сургутихи и Бакланихи. Проецируя современные сымские и имбатские (два указанных говора) слоговые тоны на соответствующие словарные параллели в словаре Кастрена, а также сравнивая современный вокализм с вокализмом соответствующих слов в XIX в., можно получить вполне ясное представление о тональной характеристике слов, записанных Кастреном. Не исключено, конечно, что говоры, зарегистрированные Кастреном как у сымских, так и у имбатских кетов XIX в., могут не вполне точно соответствовать современным диалектным группам двух языков — при этом нужно учитывать сильное сокращение численности кетского населения в XIX и начале XX вв., а также процессы диалектного смешения; однако привлечение сравнительных данных по современной акцентологии сводит возможные помехи такого рода при реконструкции слоговых тонов к минимуму. Затруднения могут возникнуть лишь при различной лексико-морфологической дистрибуции тонов в словах, записанных Кастреном, и в современном словаре; тем не менее вероятность таких расхождений практически незначительна и, следовательно, не влияет существенно на общую картину.

---

[5] Касаясь воздействия слоговых тонов на звуковую систему, имеем в виду прежде всего качественные и количественные изменения гласных (см.: Г. К. Вернер, К фонологической интерпретации ларингального смычного..., стр. 91; его же, Звуковые соответствия между сымским и другими енисейскими языками, «Уч. зап. [Омск. пед. ин-та]», 44, стр. 99—101; А. П. Дульзон, О тонах односложных слов..., стр. 106).

[6] M. A. Castrén, Versuch einer jenissei-ostjakischen und kottischen Sprachlehre nebst Wörterverzeichnissen aus den genannten Sprachen, St.-Pb., 1858.

[7] Здесь и далее все ссылки на современное состояние делаются в соответствии с воззрениями автора, выделяющего в современных языках четыре слоговых тона: первый — полудолгий, слегка восходящий, нефарингализованный, с тенденцией к сокращению полудолготы в исконно односложных словах, особенно в говоре Подкаменной Тунгуски (в сымском в таких случаях первый тон всегда краток); второй — краткий, отрывистый, восходяще-нисходящий, фарингализованный (с заротовой смычкой в открытых слогах); третий — долгий, восходяще-нисходящий, нефарингализованный; четвертый — а) в сымском: долгий, фарингализованный, восходяще-нисходящий, низкий: б) в говорах Елогуя и Подкаменной Тунгуски: краткий, нисходящий, нефарингализованный; в) в говорах Курейки, Бакланихи и Сургутихи: долгий, низкий, восходяще-нисходящий, с факультативной фарингализацией и с сильно выраженной тенденцией к сокращению долготы и изменению контура в нисходящий (особенно в говоре Сургутихи).

Слова, имеющие в современных енисейских языках первый тон, характеризуются в словаре Кастрена наличием или отсутствием долготы, но при условии закрытого характера вокализма, как и в современных языках, о чем косвенно свидетельствуют примеры типа JO. *s'äs'*, имб. *²c'ə?c'* «лиственница», но JO. *ses*, **sês*, сым. *¹cec*, имб. *¹c'e·c'* «речка» [8]. В отношении длительности можно выделить следующие три случая:

а) наличие длительности в словах, записанных Кастреном: JO. *ês*, имб. *¹e·c'*, сым. *¹ec* «бог»; JO. *xŷf*, имб. *¹ӷы·*, сым. *¹хы·n* «торговля»; JO. *bâg*, кур. бак. *¹ба·γə*, сул. *¹ба·γ*, сым. *¹ба·к* «кряж, бревно, чурка»; JO. *îs*, имб. *¹и·c'*, сым. *¹и·c* «рыба»; JO. *fîg. hîg, hîgi*, кур. бак. *¹hи·γə*, сул. *¹hи·γ*, сым. *¹фи·к* «мужчина»; JO. *sî*, имб. *¹c'и·*, сым. *¹cи* «ночь»; JO. *î*, имб. *¹ и·*, сым. *¹и* «солнце»;

б) отсутствие длительности в словах из собрания Кастрена: JO. *lun'*, имб. *¹л'у·н*, сым. *¹лун'* «хариус»; JO. *dit, dit'*, имб. *¹ди·т*, сым. *¹дит'* «глухарь»; JO. *xир*, имб. *¹ӷу·n*, сым. *¹хуn* «косач»; JO. *xan, qan*, имб. *¹ӷа·н'*, сым. *¹хан* «сажень»; JO. *ei*, имб. *¹ e·й*, сым. *¹ ей* «сосна»; JO. *bul*, имб. *¹бу·л'*, сым. *¹бул* «нога»; JO. *d'ik*, имб. *¹ди·к*, сым. *¹д'ик* «смола»; JO. *dyl*, имб. *¹ды·л'*, сым. *¹дыл* «ребенок»; JO. *quk, xuk*, имб. *¹ӷу·к*, сым. *¹хук* «дыра»; JO. *su*, имб. *¹c'y·*, сым. *¹cу* «рябчик»; JO. *tik*, имб. *¹ти·к*, сым. *¹тик* «снег»;

в) наличие в материалах Кастрена параллельных форм с долгим и кратким вокализмом: JO. *bis, bîs, bîs'*, имб. *¹би·c'*, сым. *¹бис/би·c* «вечер»; JO. *ses*, **sês*, имб. *¹c'e·c'*, сым. *¹cec* «речка»; JO. *sur, sûl, s'ûl, s'ul*, имб. *¹c'y·л'*, сым. *¹сур* «кровь»; JO. *xip, xîp, qîp, qip*, имб. *¹ӷи·n*, сым. *¹xen/xun* «дед»; JO. *im, îm*, имб. *¹и·м*, сым. *¹им* «орех»; JO. *xam, qam, qâm*, имб. *¹ӷа·м*, сым. *¹хам* «стрела»; JO. *dyn, dŷn*, имб. *¹ ды·н'*, сым. *¹дын* «ель».

При сравнении приведенных словарных параллелей нетрудно заметить, что в большинстве случаев краткость гласного в словарных материалах Кастрена соответствует краткости соответствующих гласных в современном сымском и лишь в немногих случаях в материалах Кастрена наблюдается краткость гласных в имбатских словах. Она может объясняться тенденцией к сокращению полудолготы в исконных односложных словах, как это характерно, например, для современного говора Подкаменной Тунгуски. Долгота же, как правило, характерна для имбатских слов и соответствует полудолготе в современных говорах, но наблюдается иногда и в сымских словах, приводимых Кастреном, в частности в тех, которым в современном сымском соответствуют слова с полудолготой (исконные двухсложные слова). Кроме того, в сымских словах по материалам Кастрена наблюдается порою точно такое же варьирование длительности, какое отмечено нами для языка современных сымских кетов [9], ср. JO. *bis, bîs* (сымский) при *bîs'* (имбатский) «вечер». В имбатских словах оно наблюдается реже, см. JO. *qîp, qip* «дед».

Отмеченная краткость вокализма у слов с первым тоном нередко осложняет опознавание в материалах Кастрена слов со вторым тоном, так

---

[8] Сокращения: JO.— енисейско-остяцкий (M. A. C a s t r e n, указ. соч.), имб.— имбатский, сым.— сымский, кур.— курейский, сул.— говоры Подкаменной Тунгуски и Елогуя, бак. сур.— говоры Бакланихи и Сургутихи, К.— коттский (по Кастрену). Транскрипция: *h* — плавная фарингализация, · — полудолгота, : — долгота (в материалах Кастрена для обоих случаев оставлен знак длительности ^), ʔ — фарингализация отрывистого второго тона (в открытых слогах ʔ обозначает заротовую смычку, для которой в словах, записанных Кастреном, сохраняется знак '). Тоны обозначены цифровыми индексами перед соответствующим слогом. Знак *a* в материалах Кастрена, несомненно, отражает открытый гласный, в отличие от *e* (т. е. по правилам немецкой графики); t^h — придыхательный согласный (по Кастрену).

[9] Г. К. В е р н е р, Сымско-кетская система слоговой акцентуации, стр. 149—150.

как они часто характеризуются у него также наличием краткого вокализма. Но второй тон легко опознается в его материалах в словах с дифтонгизацией или с ʔ. В общем, слова со вторым тоном характеризуются у Кастрена следующими чертами:

а) краткостью вокализма: JO. *dup*, имб. сым. ²*дуʔп* «уда»; JO. *aq*, имб. ²*аʔқ*, сым. ²*аʔх* «деревья, дрова»; JO. *fai*, *hai*, имб. ²*haʔй*, сым. ²*фаʔй* «кедр»; JO. *saq*, *s'aq*, имб. ²*саʔқ*, сым. ²*саʔх* «белка»; JO. *baŋ*, имб. сым. ²*баʔң* «земля»; JO. *kat*, имб. сым. ²*кʌʔт* «дети»; JO. *yk*, сым. ²*ыʔк* «самец»; JO. *kus*, сым. ²*куʔс* «лошадь», имб. ²*куʔс'* «корова»; JO. *kit'*, имб. ²*киʔт*, сым. ²*киʔт'* «цена»; JO. *sar*, *sal*, *s'al'*, имб. ²*с'аʔл'*, сым. ²*саʔр* «острие»;

б) краткостью вокализма с параллельной дифтонгизацией: JO. *xyt'*, *qyet*, имб. ²*қыʔт*, сым. ²*хыʔт'* «лук» (оружие); JO. *taq*, *teaq*, имб. ²*тʌʔк*, сым. ²*тʌʔх* «палец»; JO. *seäs*, *s'äs'*, имб. ²*с'эʔс'*, сым. ²*сэʔс* «лиственница»; JO. *fit*, *hiet*, имб. ²*хиʔт*, сым. ²*фиʔт* «клей»; JO. *fyp*, *hyp*, *hyep*, имб. ²*ныʔп*, сым. ²*фыʔп*/ ¹*фып* «сын»; JO. *fun*, *hun*, *huon*, имб. ²*нуʔн*, сым. ²*фуʔн*/ ¹*фун* «дочь»;

в) дифтонгизацией с ʔ или без нее: JO. *di'e*, имб. сым. ²*диʔ* «орел»; JO. *duot*, имб. сым. ²*дуʔт* «шило»; JO. *fyei*, *hyei*, имб. ²*ныʔй*, сым. ²*фыʔй* «филин»; JO. *fyer*, *hy'el*, имб. ²*ныʔл'*, сым. ²*фыʔр* «ясный» (о погоде); JO. *kı'ä*, *kie*, имб. сым. ²*киʔ* «новый»; JO. *ko'o*, *ko'a*, *kogat*, имб. ²*кэʔ* «мозг»; JO. *si'e*, *si'*, имб. ²*с'иʔ*, сым. ²*сиʔ* «подстилка из оленьей шкуры»; JO. *beän*, имб. сым. ²*бʌʔн* «утка»;

г) иногда встречается долгий гласный, но почти всегда параллельно с кратким: JO. *ket*, *kêt*, *kiet*, имб. сым. ²*кэʔт* «человек»; JO. *foq*, *hôq*, имб. ²*нэʔқ*, сым. ²*фэʔх* «экскремент»; JO. *sar*, *sâl*, *s'al*, имб. ²*с'аʔл'*, сым. ²*саʔр* «карась».

Первый случай, когда слова со вторым тоном в словаре Кастрена характеризуются наличием краткого вокализма без ʔ и без дифтонгизации, точно совпадает с соответствующим явлением в современных языках: в произношении многих современных кетов — сымских и имбатских — второй тон сильно упрощается за счет ʔ, но легко опознается по краткому и открытому характеру вокализма. В словах с дифтонгизацией ʔ полностью заменена сверхкратким гласным, но во многих случаях, особенно в открытых слогах, ʔ сохраняется и как бы делит гласный на две части, что очень часто наблюдается в произношении и современных кетов. Однако в тех немногих примерах, где появляется долгий гласный без ʔ и без дифтонгизации, вполне возможно предположение о наличии первого, а не второго тона при учете индивидуально-факультативного варьирования или при допущении, что подобные параллельные формы слов взяты Кастреном из различного контекста (последнее обстоятельство не исключает замены второго тона первым, ср. совр. кур. ²*тыʔс'* «камень», но *тэγэ* ¹*тиˑс'* «точило»).

Слова, имеющие в современных языках третий тон, характеризуются в записях Кастрена наличием дифтонгизации, как у слов со вторым тоном, или обычной долготы, как у слов с первым тоном. Любопытно, однако, что в сымских словах наблюдается такое же сужение второго компонента дифтонга, как в современном сымском, и, наоборот, в имбатских словах — расширение второго компонента дифтонга. Примечательно также, что слова с этим тоном нередко имеют в материалах Кастрена параллельные формы без синкопы интервокального согласного, как это часто наблюдается в современных имбатских говорах: JO. *hûl*, *hûl'*, **hûgul*, имб. ³*ну:л'*, сым. ³*фу:л'* «молот»; JO. *sûl*, **s'ûl*, *sûhul*, имб. ³*с'у:л'*, сым. ³*со:л*/*соул* «нарта»; JO. *sôam*, **sôxam*, имб. ³*сэ:м*, сым. ³*со:м* «томар (стрела с тупым наконечником)»; JO. *sə*, *s'oaxa*, имб. ³*с'ʌ:*, сым. ³*съ:*/*съу*

«тяжелый»; JO. *sət*, **s'oat*, имб. ^{3}*с'л:т*, сым. ^{3}*съ:т/съут* «пятка»; JO. *eil'*, *êi'*, сым. ^{3}*е:л'/ейл'*, мн. число от сым. ^{2}*э?л* (JO. *eäl*) «чашка»; JO. *fûd*, имб. ^{3}*ну:т*, сым. ^{3}*фу:т* «хвост».

Правда, последнее слово имеет в словаре Кастрена имбатскую форму *hû'ut*, но наличие *?* в ней не оправдано, так как сочетание долготы с *?* в материалах Кастрена наблюдается, как правило, лишь у слов, которые имеют в современных языках четвертый тон, ср.: JO. *îet*, *îti*, сым. ^{4}*и^{h}:т*, кур. ^{4}*и:ти/и^{h}:ти* «зуб»; JO. *û'ot*, **uot*, *uoti*, сым. ^{4}*у^{h}:т*, кур. ^{4}*у:ти/у^{h}:ти* «мышь»; JO. *û'os*, сым. ^{4}*у^{h}:с*, кур. ^{4}*у:с'и/у^{h}:с'и* «береза»; JO. *kû'on*, *kuone*, сым. ^{4}*ку^{h}:н*, кур. ^{4}*ку:ни/ку^{h}:ни* «росомаха». Но чаще слова с четвертым тоном имеют в словаре Кастрена обычную дифтонгизацию с большей степенью раствора у второго компонента (как при втором тоне): JO. *eän*, **eän'e*, сым. ^{4}*э^{h}:н'*, кур. ^{4}*э:н'и/э^{h}:н'и* «зять»; JO. *eäd'*, **eädi*, *eäti*, сым. ^{4}*э^{h}:т'*, кур. ^{4}*э:р'и/э^{h}:р'и* «соболь»; JO. *ien'e*, *ien'*, сым. ^{4}*и^{h}:н'*, кур. ^{4}*и:н'е/и^{h}:н'е* «ноготь»; JO. *yed'*, *yedi*, сым. ^{4}*ы^{h} : т'*, кур. ^{4}*ы:р'е/ы^{h}:р'е* «весна»; JO. *xoax*, **qoax*, сым. ^{4}*хɔ^{h}:х* «звезда»; JO. *tied'*, **tiedi*, *tieti*, сым. ^{4}*ti^{h}:т'*, кур. ^{4}*ти:р'и/ти^{h}:р'и* «корень»; JO. *suol'e*, **suol'*, сым. ^{4}*су^{h} :л*, кур. ^{4}*с'у:л'и/с'у^{h}:л'и* «крюк для люльки». Дифтонгизация отсутствует в таких случаях только у гласного /а/ (реже у /о/). JO. *âŋ*, сым. ^{4}*а^{h}:ӈ*, кур. ^{4}*а:ӈə/а^{h}:ӈə* «веревка»; JO. *âs*, **as'*, сым. ^{4}*а^{h}:с*, кур. ^{4}*а:с'и/а^{h}:с'и* «перо»; JO. *târ*, сым. ^{4}*ма^{h}:р* «выдра»; JO. *fâs*, сым. ^{4}*фа^{h}:с* «бубны»; JO. *xôŋ*, сым. ^{4}*хɔ^{h}:ӈ* «днем»; JO. *xâŋ*, сым. ^{4}*ха^{h}:ӈ*, кур. ^{4}*ӄа:ӈə/ /ӄа^{h}:ӈə* «коршун».

Наличие дифтонгизации и *?* в словах с четвертым тоном в словаре Кастрена подтверждает наш вывод о том, что четвертый тон в современном сымском и в говорах Курейки, Бакланихи и Сургутихи является восходяще-нисходящим и характеризуется фарингализацией, постоянной в сымском и факультативной в данных трех имбатских говорах.

Таким образом, особенности транскрипции Кастрена дают основания думать, что сымские и имбатские говоры, отраженные в его работе, характеризовались, как и сегодняшние эти говоры, четырехтоновой системой со сходной фонетической характеристикой каждого тона. Не совсем понятна лишь наблюдающаяся иногда дифтонгизация в словах с первым тоном типа JO. *luon* (сым. ^{1}*лон*, имб. ^{1}*л'о'н*) «губа», JO. *kuoi* (сым. ^{1}*хой*, имб. ^{1}*ӄо'й*) «тетя», JO. *kun*, *kuon* (сым. ^{1}*хон*, имб. ^{1}*ӄо'н'*) «бусы», JO. *sep*, *siep* (сым. ^{1}*сеп*) «достаточно», JO. *seŋ*, **sieŋ*, (сым. ^{1}*сеӈ*, имб. ^{1}*с'е'ӈ*) «печень». Но едва ли есть основания думать, что за этим приемом передачи скрывается особый фонетический признак, отличающий тон этих слов от современного первого тона; скорей всего это индивидуальная особенность одного из информантов Кастрена — по-видимому, у него очень закрытые гласные *о*, *е* воспринимались как дифтонгоиды *уо*, *ие*.

II. Коттская тональная система по материалам XIX в. Опираясь на особенности отражения имбатских и сымских слоговых тонов в транскрипции Кастрена и учитывая тот факт, что коттские материалы записывались им в одно время с енисейско-остяцкими, можно с большой степенью вероятности восстановить коттские слоговые тоны для языка XIX в. Очень важно в этом отношении еще и то обстоятельство, что в коттских материалах Кастрена четко зафиксирован механизм чередования гласных в формах единственного и множественного числа имен, а в этих чередованиях отражаются чередования слоговых тонов, как это отмечено нами для современных языков и как это можно наблюдать в енисейско-остяцких материалах Кастрена. Совершенно очевидно, что формы множественного числа *ikŋ*, *eäkŋ/ekŋ* (от К. *iə* (*îx*) «имя») отражают два различных слоговых тона: в первой форме можно предполагать присутствие тона типа первого имбатского, а в форме *eäkŋ* —

тона типа второго имбатского и сымского, о чем свидетельствует дифтонгизация; третья же форма, очевидно, отражает процесс упрощения второго тона в данной позиции, ср.: кур. ^{1}*ҕы˙ти*, pl. ^{1}*ҕы˙тн*/^{5}*ҕʌтн* (<^{2}*ҕʌʔтен*) «волк»; сул. ^{1}*те˙т*, pl. ^{1}*те˙тн*/^{5}*татн* (<^{2}*таʔтен*) «муж» [10]. Это подтверждается и тем, что отмеченные формы множественного числа получены судя по пометкам в словаре Кастрена, от различных лиц, которые могли принадлежать к представителям различных говоров коттского языка XIX в.

Долгие гласные встречаются в коттских словах Кастрена очень часто, но вовсе не бесспорно, что во всех этих случаях представлен первый тон. Наиболее вероятно появление первого тона, во-первых, в формах единственного числа; это особенно заметно при сравнении их с формами множественного числа: *šîg*, **šîx*, pl. *šaŋ* «ночь»; *îg*, *îx*, pl. *eäkŋ* «день»; *îp*, pl. *iŋ*, *eŋ* «лыжа»; *t^{h}êg*, *t^{h}êx*, pl. *t^{h}akŋ* «ремень», *šêt*, pl. *šat* «лиственница», *šîš*, pl. *šeŋ* «камень»; *fî*, pl. *fan* «мужчина»; *êx*, *êg*, pl. *ax*, *ag* «коза». Данное предположение подтверждается фактами из сымского и имбатского, в которых наблюдается точно такой же механизм чередования тонов, ср.: сым. ^{1}*чем*, pl. ^{5}*чэмын*, имб. ^{1}*те˙м*, pl. ^{5}*тэмн* (< ^{2}*тэʔмен*) «гусь»; сым. ^{1}*чип*, pl. ^{2}*чаʔп*, имб. ^{1}*ти˙п*, pl. ^{2}*таʔп* «собака»; сым. ^{1}*и*, pl. ^{5}*экҥ*; имб. ^{1}*и˙*, pl. ^{5}*экҥ* (< ^{2}*эʔкеҥ*) «день».

Во-вторых, такая интерпретация долготы в коттском оправдана в формах множественного числа при их сопоставлении с формами единственного числа: *ui*, pl. *ûǰaŋ* «детская люлька»; *ol*, pl. *ôlaŋ* «могила»; *ei*, pl. *êǰaŋ* «голос, звук»; *huk*, pl. *hûnaŋ* «дыра»; *peš*, pl. *pêčaŋ* «печь» (из русск.); *xei*, *qei*, pl. *xêǰaŋ* «обух»; *hau*, pl. *hôkŋ* «рог»; *ham*, pl. *hâmaŋ* «сосуд, миска»; *šal*, pl. *šâlaŋ* «острие»; *ton*, pl. *tônaŋ* «нож». Точная аналогия этому имеется в имбатском и сымском, ср.: имб. ^{2}*тыʔн*, pl. ^{1}*ты˙ныҥ*; сым. ^{2}*тыʔн*, pl. ^{1}*тыныҥ* «котел», имб. ^{2}*с'ыʔк*, pl. ^{1}*с'ы˙кҥ*; сым. ^{2}*сыʔк*, pl. ^{1}*сыкҥ* «корыто для теста»; имб. ^{2}*с'уʔл'*, pl. ^{1}*с'у˙ л'еҥ* «нельма».

Нередки и такие случаи, когда долгота наблюдается как в единственном, так и во множественном числе, и, учитывая, что качество вокализма в обеих формах одинаково, можно для них тоже предположить наличие первого тона: *êk*, pl. *êkŋ* «волос»; *ên*, *en*, pl. *ênaŋ* «волна»; *kônaŋ*, pl. *kônaŋan* «мозг»; *ôr*, pl. *ôran* «табун»; *îx*, *ix*, pl. *îkŋ* «имя»; *kêti*, pl. *kêtaŋ* «зима»; *xêg*, *qêg*, pl. *xêgan* «слово»; *êga*, pl. *êgaŋ* «солнце»; *êči*, pl. *êčaŋ* «рыбья чешуя»; *hîma*, pl. *hîman* «бабушка» (ср.: кур. бак. ^{1}*ти˙γэ*, сул. ^{1}*ти˙γ*, pl. ^{1}*ти˙γин'* «лебедь»; кур. бак. ^{1}*та˙ҥэ*, сул. ^{1}*та˙ҥ*, pl. ^{1}*та˙ҥэн* «лямка упряжки» и т. д.).

В пользу предположения, что во всех перечисленных случаях представлен слоговой тон типа первого имбатского, говорит и тот факт, что вокализм не обнаруживает и малейших признаков дифтонгизации, которая могла бы указывать на циркумфлексный характер или на фарингализацию тона. Кроме того, коттские гласные в таких словах и словоформах (за единичными исключениями типа *êga* «солнце») не шире, а наоборот, иногда даже у́же, чем в соответствующих имбатских и сымских параллелях, Так, имбатско-сымскому /а/ в коттском нередко соответствует /е/ (сым. ^{1}*ба˙к*, бак. кур. ^{1}*ба˙γэ*, сул. ^{1}*ба˙γ*, кот. *pêx*, *pêg* «кряж, чурка»); учитывая, что в имбатском в словах с первым тоном /а/ приближается к

[10] Цифровым индексом «5» здесь выделяется особый краткосложный акцентный тип, представленный в многосложных словах и характеризующийся более высоким в тональном отношении и более интенсивным первым (ударным) слогом по сравнению со вторым (безударным). В ударном слоге исторически был представлен второй слоговой тон, упростившийся в результате ассимилятивных явлений. Цифровым индексом «6» выделяется другой краткосложный акцентный тип, также представленный в многосложных словах и характеризующийся более высоким в тональном отношении вторым слогом по сравнению с первым, при одинаковой их интенсивности.

/æ/, можно думать, что кот. /e/ в таких случаях — это инновация по сравнению с имб.-сым. /a/, которая обусловлена воздействием первого тона.

Сходство коттского первого тона с соответствующим имбатским тоном обнаруживается и по признаку долготы: коттские данные Кастрена позволяют говорить о полудолготе тона в перечисленных случаях, о чем свидетельствуют параллельные формы типа: *ix*, *îx* «имя»; *in*, *în*, pl. *inaŋ*, *înaŋ* «игла»; *hei*, **hêi*, pl. *hêjaŋ* «шуба»; *xep*, **xêp*, *qep* «лодка»; *hol*, **hôl*, pl. *hôlaŋ* «щека»; *pei*, ***pêi*** «чужой»; *an*, *ân* «нос»; *ur*, *ûr* «дождь» и др.

Наличие параллельных форм с кратким и долгим вокализмом не исключает, что некоторые слова с краткими гласными, для которых не отмечено вариантов с долгими гласными, тоже могут характеризоваться первым тоном. Такое толкование возможно, например, по отношению к формам единственного числа в примерах типа *hen*, pl. *hênaŋ* «сажень» (ср. имб. ^{1}*ӷа'н'*, сым. ^{1}*хан*); *hek*, pl. *hajaŋ* «след, дорога» (ср. имб. ^{1}*ӷы'к*, сым. ^{1}*хык*); *kei*, pl. *keaŋ* «крыло».

Однако слова с кратким вокализмом могут с такой же степенью вероятности характеризоваться и слоговым тоном типа второго имбатского и сымского. Заметим, что в коттских материалах Кастрена сравнительно редко встречается дифтонгизация и ʔ, а это может свидетельствовать о том, что в большинстве случаев этот тон в произношении информантов-коттов упрощался за счет ʔ, как это часто наблюдается у современных кетов, особенно сымских. Такая интерпретация по отношению к односложным словам и словоформам с кратким вокализмом могла бы подтверждаться чередованием узких долгих и широких кратких гласных или кратких и долгих гласных одного и того же качества в формах единственного и множественного числа существительных, ср.: *êx*, *êg*, pl. *ax*, *ag* «коза»; *šîg*, **šîx*, pl. *šaŋ* «ночь»; *šêt*, pl. *šat* «лиственница»; *ton*, pl. *tônaŋ* «нож»; *bal*, pl. *bâlaŋ* «скот»; *fun*, pl. *fûnaŋ* «дочь»; *šîš*, pl. *šeŋ* «камень»; *hûš*, pl. *huŋ* «чум»; *šal*, pl. *šâlaŋ* «острие»; *t^{h}un*, pl. *t^{h}ûnaŋ* «гребень».

О наличии в коттском слогового тона типа второго (краткого, отрывистого, фарингализованного) в современных языках свидетельствуют слова с дифтонгизацией и с ʔ, сочетающейся с кратким вокализмом. Примерами такой дифтонгизации с вторым компонентом, имеющим бо́льший раствор, чем первый, могут служить слова типа *koaš* «красивый», *čeäŋ*, *čeaŋ* «люди», *eaŋ* «рытье», *t^{h}eaŋ*, *t^{h}eäŋ* «иней», *d'äleä* «девушка», *eäkŋ* «дни» и др. Слова с ʔ встречаются реже: *šu'ol*, pl. *šu'olaŋ* «бочка»; *t^{h}igä*, **t^{h}i'ä* pl. *t^{h}igän*, *t^{h}ikŋ* «корова»; *ka'ir*, *kajer*, pl. *ka'iraŋ*, *kajeraŋ* «бобровая течка»; *šu'uš* «кройка»; *hau*, pl. *hau'i* «рог», *šuga'iči*, *šukaiči* «пятка»; *fuga'iš*, *fukajaše* «соболь»; *he'ûtaŋ* «взбираться»; *b*a'*âkŋ*, **bagâkŋ* «держать»; *tä'gejaŋ* «лизать».

Этот же слоговой тон представлен, по всей вероятности, и в тех глагольных формах, в которых ʔ сочетается с долготой, ср.: *ačo'ukŋ* «сеять», Prät. *ačôla'ukŋ*; *ba'ûtaŋ* «сосать», Prät. *bala'utaŋ*, Pass. *balâ'ut*; *balâ'us* (Pass.) «кроить»; *bušôu* «теленок», род. над. *bušô'uâ*, pl. *bušô'uan*.

Енисейско-остяцкие данные Кастрена, а также факты современных енисейских языков показывают, что во всех этих случаях может быть представлен только второй тон. Вместе с тем в других словах сочетание долготы с ʔ и дифтонгизацией отражает, на наш взгляд, слоговой тон, отличавшийся от второго, ср. *kêgär*, **kê'är* «рука», pl. *kêgäreŋ*; *i^{h}êgär*, **t^{h}ê'är* (ср. сым. ^{4}*ma^{h}:p*, имб. ^{3}*ma:л'*) «выдра», pl. *t^{h}êgätn*; *êčâ'a* «к богу». Возникает, однако, вопрос, с каким тоном в современных языках его можно сопоставить — с третьим или четвертым?

Учитывая, с одной стороны, что данный коттский тон мог возникать в результате синкопы, его следовало бы сопоставлять с современным тре-

тьим тоном, так как последний в большинстве случаев связан именно с синкопой, ср.: имб. ^{3}*ба:т*, сым. *бахат* «старик»; имб. ^{3}*ба:м*, сым. *бахам* «старуха»; имб. ^{3}*ду:н'*, сым. *дуфын*, мн. число от кет. ^{2}*ду?п* «уда» Особенно интересны в этом отношении случаи так называемой свободной (факультативной) синкопы: имб. ^{5}*кԓ*ꚋ*ын*/ ^{3}*кл:н* «лисица», ^{5}*туγун*/^{3}*ту:н* «гребень», ^{5}*саγал*/^{3}*са:л* «ночевать». Наличие в некоторых случаях в коттских словах ? могло бы указывать на факультативную фарингализацию этого тона, как это наблюдается иногда у третьего сымского, и в общем не противоречило бы тому, что его следует сопоставлять с третьим тоном в современных языках. Кроме того, присутствие этого тона можно предполагать в форманте множественного числа коттских существительных *-а : н* (*olča* «платье», pl. *olčân*; *kanša* «курительная трубка», pl. *kanšân*), который очень напоминает форманты имб. *-а:ӈ*, *-а:н*, сым. *-е:ӈ* с таким же значением и с третьим тоном. Правда, коттский формант выступает в вариантах *-а:н/-ан* (*šulpi* «ягода», pl. *šulpan/šulpân*; *šera* «пиво», pl. *šeran/šerân*), но точно такое же сокращение длительности часто наблюдается и в современных языках, например, имб. ^{1}*қи'п* «дед», pl. *қи*^{3}*ба:ӈ/қибáӈ*.

В коттском этот же тон был характерен и для форманта род. падежа: *šeli*, *šele* «дичь», род. пад. *šelâ*; *šu* «рябчик», род. пад. *šuâ*; *d'oga* «гнида», род. пад. *d'ogâ*. При этом нередко наблюдается дифтонгизация, сходная с сымской, что также свидетельствует в пользу третьего тона, например: *fage* «рябина», род. пад. *fagei/fagâ*; *te*, *ti* «шапка», род. пад. *tei*, *tî* (ср.: имб. *ны*^{3}*ба:ӈ/ныбáӈ*, сым. *фы*^{3}*бе:ӈ/фыбейӈ* «сыновья»).

Для выделения в коттском тона типа четвертого в современных языках материалы Кастрена не дают оснований. Не исключено, что третий и четвертый как тоны, связанные с синкопой и апокопой, были в коттском обобщены и совпали в одном долгом циркумфлексном.

Существенные расхождения наблюдаются между коттским и сымско-имбатским и в лексико-морфологической дистрибуции тонов. Они наименее ощутимы в распределении первого и второго тонов в односложных словах, совпадающих в коттском и сымско-имбатском. Можно указать лишь на редкие случаи, когда: а) для коттских слов целесообразней предполагать второй тон при наличии в сымско-имбатских параллелях первого тона (*K. hai*, сым. ^{1}*хой*, имб. ^{1}*қо'й* «дядя»; K. *šat*, сым. ^{1}*сей*, имб. ^{1}*с'е'й* «лиственницы») и, наоборот, б) в коттских словах представлен первый тон при наличии в сымско-имбатских параллелях второго тона (*K. hûš*, сым. ^{2}*ху?с*, имб. ^{2}*қу?с'* «чум»; *K. šêt*, сым. ^{2}*с'э?с*, имб. ^{2}*с'э?с'* «лиственница»; *K. t*^{h}*ît*, кет. ^{2}*тэ?т* «таймень»; *K. šîš*, сым. ^{2}*чы?с*, имб. ^{2}*ты?с'* «камень»). Большинство же расхождений наблюдается в тех случаях, когда коттские и соответствующие сымско-имбатские слова не совпадают по своему звуковому оформлению вследствие синкопы или апокопы в сымско-имбатском. Многим сымско-имбатским односложным словам с первым или вторым тоном соответствуют в коттском двухсложные слова с иным акцентным оформлением, ср.: JO. *di'e*, *K. tage*, *tal.e* «орел»; JO. *saq*, *s'aq*, *K. šagá* «белка»; JO. *xup*, K. *hûpi* «косач»; JO. *xyf*, K. *hapi* «торговля»; JO. *dyn*, *dyn*, K. *tîni*, *tîn'i* «ель»; JO. *î*, K. *ega*, *êgä* «солнце»; JO. *kyl*, K. *hîla* «ворона». Это относится в равной мере и к словам, имеющим в сымско-имбатском третий или четвертый тон, ср.:K. *iti*, *ite*, JO. *î'et*, *îti*, кур. ^{4}*u:mu*, сым. ^{4}*u*^{h}*:m* «зуб»; K. *šeli*, *šele*, *šel'e* «дикий зверь», JO. *seär*, *seäl'*, *s'äl'*, кур. ^{4}*с'э:л'и*, сым. ^{4}*сэ*^{h}*:р* «олень»; K. *iči*, *iče*, JO. *âs*, *as'*, кур. ^{4}*а:с'и*, сым ^{4}*а*^{h}*:с* «перо»; K. *îji*, JO. *yed'*, *yedi*, кур. ^{4}*ы:р'е*, сым. ^{4}*ы*^{h}*:т'* «весна»; K. *ûča*, **ûči*, JO. *û'os*, *uos'* кур. ^{4}*у:с'е*, сым. ^{4}*у*^{h}*:с* «береза».

В коттских двухсложных словах с долготой в первом слоге вероятнее всего предполагать присутствие в нем первого тона. Более сложен вопрос

о тональной характеристике двухсложных слов, у которых оба слога кратки.

Хотя М. А. Кастрен в своем фонетическом очерке отмечает, что словесное ударение в коттском всегда падает на последний слог, если все слоги в слове кратки, в словаре же оно нередко поставлено не на последний слог, например, *tal*, pl. *tálaŋ* «жилка». Можно предположить, что в словах с ударением на первом слоге был, как и в современных языках, представлен пятый краткосложный акцентный тип, в то время как слова с ударением на последнем слоге могли характеризоваться шестым краткосложным акцентным типом: *hatál* «войлок», *hupár* «конец», *urkán* «аркан», *pulap* «подошва», pl. *pulápan*.

А тот факт, что шестой краткосложный акцентный тип встречается в коттском несравненно чаще, чем пятый, может объясняться и тюркским влиянием, если учесть, что тюркское словесное ударение музыкально-динамического характера падает, по мнению большинства исследователей, как правило, на последний слог. Это могло привести к переосмыслению коттского шестого акцентного типа в словесное ударение на последнем слоге.

Таким образом, для коттского языка XIX в., записанного М. А. Кастреном, можно предполагать наличие трех слоговых тонов и двух краткосложных акцентных типов наподобие пятого и шестого в современных языках.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1972

Ю. ЛАУЧЮТЕ

ЛЕКСИЧЕСКИЕ БАЛТИЗМЫ В СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ

История народа, его экономические, социальные и культурные связи, как правило, получают отражение в языке и в первую очередь в лексике. Поскольку заимствования из одного языка в другой, как известно, обычно происходят при наличии более или менее тесных социальных, культурных и других связей между двумя народами, изучение заимствований имеет большое значение как для истории языка, так и для истории народа.

Изучение обоюдных заимствований в балтийских и славянских языках интересно тем, что характер отношений между этими двумя языковыми группами не ограничивается простым контактом географического характера. Близость языковой системы балтов и славян уже давно служит объектом пристального научного интереса [1]. До сих пор не выявлены достоверные критерии, на основании которых можно было бы отличить древнейшие заимствования от исконно родственных слов. В этой ситуации легче можно выявить заимствования, имевшие место в сравнительно позднюю историческую эпоху; к исследованию балто-славянских заимствований обычно привлекаются слова, проникшие из славянских языков в балтийские (и наоборот), в основном, после XIII—XIV вв. н. э.

К настоящему времени изучение взаимных балтийских и славянских заимствований сложилось таким образом, что многое известно о славизмах в балтийских языках [2], но балтизмы в славянских языках исследованы недостаточно [3].

[1] Ср. две противоположные точки зрения о характере древнейших балто-славянских языковых отношений, высказанные, например, А. Зенном (A. S e n n, Die Beziehungen des Baltischen zum Slavischen und Germanischen, KZ, 71, Hf. 3—4, 1954) или О. Н. Трубачевым («Ремесленная терминология в славянских языках», М., 1966, стр. 393), с одной стороны, с другой — В. В. Ивановым и В. Н. Топоровым («К постановке вопроса о древнейших отношениях балтийских и славянских языков», в кн.: «Исследования по славянскому языкознанию», М., 1961, стр. 303—305), В. Пизани (V. P i s a n i, Rom und die Balten, «Baltistica», IV (I), 1968, стр. 13—14), Л. Оссовским («Западное Полесье — прародина славян», ВЯ, 1971, 1, стр. 112, 113) и др.

[2] Ср., например: A. B r ü c k n e r, Die slavischen Fremdwörter im Litauischen, Weimar, 1877; P. S k a r d ž i u s, Die slawischen Lehnwörter im Altlitauischen, Kaunas, 1931; В. И. К о с т е л ь н и ц к и й, Русско-литовские языковые связи по словарным материалам литовского языка. Канд. диссерт., Вильнюс, 1954.

[3] Из монографий можно назвать лишь исследование К. Яблонскиса о литуанизмах в разного рода документах, которые велись на старобелорусском и старопольском языках на территории Великого княжества Литовского, главным образом, с XV в. См.: K. J a b l o n s k i s, Lietuviški žodžiai senosios Lietuvos raštinių kalboje, Kaunas, 1941. Остальные работы — преимущественно журнальные статьи; из наиболее значительных см.: Е. Ф. К а р с к и й, К вопросу о влиянии литовского и латышского языков на белорусское наречие, РФВ, XLIX, 1903; J. O t r ę b s k i, Lituanizmy słownikowe w dialekcie polskim na Wileńszyźnie, «Język polski», XVI, 3, 1931; E. B l e s e, Alcuni rapporti fra il bianco russo e le lingue baltiche, «Studi baltici», V, 1935—1936; А. А. В я р ж б о ў с к і, Беларуска-літоўскія лексічныя ўзаемасувязі. Канд. диссерт., Мінск, 1960; T. Z d a n c e w i c z, Litewskie elementy słownikowe w gwarach polskich okolic Sejn, «Lingua posnaniensis», VIII, 1960; А. П. Н е п о к у п н и й, Українсько-балтійськи студії, «Мовознавство», 1968, 6; сб. «Лексічныя балтызмы у беларускай мове», Мінск, 1969; V. U r b u t i s, Dabartinės baltarusių kalbos lituanizmai, «Baltistica», V (I), 1969; V (II), 1969; и др.

Хотя изучение славянских балтизмов ведется уже более 100 лет [4], до сих пор даже приблизительно не известно общее количество балтийских заимствований в славянских языках, не выяснены и другие частные вопросы, связанные с процессом заимствования (фонетическая субституция, морфологическое оформление и т. д.), не говоря уже о распределении балтизмов на группы (заимствования, проникновения, субстратные слова и т. д.). Все эти вопросы могут быть освещены лишь тогда, когда исследователи смогут располагать как можно более полным собранием балтийских заимствований в славянских языках, отвлекаясь от выяснения их хронологии, распространения и т. д. Составление и обоснование списка по возможности всех славянских балтизмов должно предшествовать более детальному их исследованию.

Когда речь идет о балтизмах в славянских языках, в первую очередь имеются в виду заимствования из литовского языка. Образование Великого княжества Литовского, в состав которого входило немало восточнославянских земель, привело к тому, что наиболее широкие контакты восточные и западные славяне (главным образом, поляки, белорусы и русские) поддерживали с литовцами. Заимствования из латышского языка встречаются гораздо реже, а говорить о каком-нибудь значительном лексическом влиянии прусского, ятвяжского и других исчезнувших балтийских языков на славянские, по-видимому, не приходится. Балтизмы обнаруживаются чаще всего в польском и белорусском языках, реже в русском, еще реже в украинском и только в отдельных случаях в чешском языке.

Источником сведений об уже установленных балтизмах служили названные выше работы, а также исследования А. И. Соболевского, К. Буги, М. Фасмера, Э. Френкеля, Э. Смулковой, А. Сабаляускаса и др. В качестве возможного источника заимствования в славянские языки до сих пор привлекалось около 1000 литовских и латышских слов. Однако среди них оказалось немало исконно славянских слов (белорусск. *крэсла*, русск. диалектн. *нетра* [5] и др.) и даже заимствований из славянских языков в балтийские (ср. литов. *drigañtas*<–польск. *drygant*), а также слова, балтийское происхождение которых у многих исследователей вызывает сомнение и требует дополнительной аргументации (ср. *отава*, *лайба*). После исключения из общего списка подобных недостоверных слов оказалось, что из балтийских языков в славянские было заимствовано более 800 слов. Из них 27 слов было заимствовано сразу в четыре языка: в польский, белорусский, русский и украинский (*вентерь*, *гирса*, *деготь*, *гребяста*, *жлукто*, *евня*, *клуня*, *ковш*, *склют* и др.). Число балтизмов, засвидетельствованных сразу в трех языках (например, в польском, белорусском и русском), составляет 54 слова. Сюда входят такие слова, как *ару́д* «закром», *би́тник* «пчеловод», *буч* «вид рыболовной сети», *ваговáть* «бороздить», *ва́ржа* «вид рыболовной сети», *гигéль* «полевой хвощ», *кярéпла* «увалень», *клу́мба* «обувь на деревянной подошве» и мн. др. Отмечено большое количество балтизмов, общих для белорусского и польского языков (215 слов), и значительно меньше — общих для белорусского и русского (20 слов) или для русского и польского языков (14 слов). Остальные слова балтийского происхождения встречаются лишь в каком-либо одном славянском языке.

Подавляющее большинство балтизмов в славянских языках являются диалектизмами, которые не проникли в литературный язык. Это связано как с характером ареалов балтийских и славянских языков, так и со спо-

[4] Впервые о балтизмах см.: F. Miklosich, Die Fremdwörter in den slavischen Sprachen, Wien, 1867.

[5] Далее диалектный характер слова не отмечается.

собом проникновения балтизмов. Если славизмы в литовский или латышский языки проникали и проникают как устным, так и письменным путем, то для балтизмов, в основном, характерен лишь один путь — устный. Далее, любое заимствованное слово, проникшее вначале лишь в один из литовских или латышских говоров, без особых затруднений могло распространиться на всей небольшой территории балтийских языков. Заимствованиям же в славянских языках для того, чтобы войти в литературный язык, необходимо распространиться на огромной (сравнительно с языком-источником) территории. Поэтому нередки случаи, когда балтизм в славянских языках охватывает территорию, большую, чем территории всех балтийских языков, но тем не менее он остается лишь узким диалектизмом.

Наибольшее количество балтизмов до сих пор было отмечено в польском языке — приблизительно 550 слов (здесь и в дальнейшем включаются балтизмы, встречающиеся также в других славянских языках). Часть из них (200 слов) засвидетельствована только в памятниках письменности; в современном разговорном польском языке эти слова, по известным нам материалам, следов не оставили. Около 50 слов засвидетельствовано только в тех польских говорах, которые находятся в окружении балтийских языков. Таким образом, в современных польских говорах на территории Польши засвидетельствовано около 300 слов балтийского происхождения.

Общее количество балтизмов в белорусском языке составляет приблизительно 430 слов [6]. В современных белорусских говорах на территории БССР отмечено около 240 балтизмов; слова балтийского происхождения, засвидетельствованные лишь в памятниках письменности, составляют 190 слов.

Естественно, что особенно много балтизмов встречается в говорах, находящихся в балтийском окружении. Так, из 180 русских балтизмов только в русских говорах в окружении балтийского населения (на территории Литовской и Латвийской ССР) отмечено около 60 слов.

В украинском языке количество балтизмов составляет 40 слов, в чешском языке слова балтийского происхождения встречаются лишь единично.

Особенность славянских балтизмов состоит в том, что почти все заимствования из балтийских языков своим источником имеют исконно балтийские слова. Случаев, когда балтийские языки являлись бы посредниками при заимствовании из других языков, крайне мало (примерно 10 слов). Иначе обстоит дело с балтийскими славизмами. Наряду с большим количеством исконно славянских слов в балтийских языках много таких славизмов, которые сами в славянских языках являются заимствованиями из греческого и латинского, германских, романских или тюркских языков.

Рассмотренный нами материал позволяет провести некоторые наблюдения по частным вопросам заимствования. Одним из таких вопросов является формальное освоение балтизмов — фонетическая субституция и морфологическое переоформление.

Фонетический тип заимствованных балтийских слов в основном близок к фонетическому облику слов, послуживших источником заимствования. Однако в некоторых случаях балтийские слова на славянской почве претерпели фонетические изменения, неоднородные по своим причи-

[6] Их количество, видимо, следует увеличить. В связи с подготовкой этимологического словаря белорусского языка минские языковеды в последние годы проделали большую работу по выявлению новых балтизмов в говорах белорусского языка.

нам. В плане фонетической субституции можно выделить несколько типов фонетических изменений балтизмов в славянских языках.

1. Историческим изменениям подверглись слова балтийского происхождения вследствие исторических изменений отдельных звуков, происшедших в сравнительно раннее время в славянских языках. К таким изменениям можно отнести, например, передачу литов. *a* через слав. *o* и литов. *o* через слав. *a* в балтизмах древней поры в словах типа польск. *poszor*, белорусск. *пошар* «корм»←литов. *pãšaras* «то же», польск. *dyrwan*, белорусск. *дзірван*, русск. *дырван* «паровое поле, залежь»←литов. *dirvónas* «то же» и т. д. По-видимому, подобные заимствования имели место приблизительно в ту эпоху, когда в славянских языках различие между *a* и *o* было главным образом количественным (*ŏ* и *ā*). Тогда краткое литов. *ă* передавалось посредством краткого же слав. *ŏ*, а долгое литов. *ō* посредством слав. *ā*. В поздних заимствованиях, когда в славянских языках количественные различия между *a* и *o* стираются, литов. (балт.) *a* обычно передается посредством слав. *a*, а литов. *o* весьма часто через слав. *o* (в первую очередь — в ударном положении), ср. литов. *žagaraĩ* «хворост»→ → польск. *żagar*, белорусск. *жагáры*, литов. *amatõkas* «ученик ремесленной школы»→ русск. *аматóкас* «то же» (русские говоры Литовской ССР).

Правда, наличие обычных соответствий (балт. *ă* ~ слав. *ŏ*, балт. *o* ~ слав. *a*) в большом числе исконно родственных слов (литов. *pãdas* — русск. *под*, литов. *sõdas* — русск. *сад*) могло сохранить силу и позже, и соответствующая передача гласных в заимствованиях могла осуществляться и в то время, когда количественное противопоставление гласных *ŏ* — *ā* было в славянских языках уже утрачено. Поэтому в хронологическом плане мы можем твердо говорить, что субституция типа *a* → *a* или *o* → *o* свидетельствует о позднем времени заимствования. В случае же передачи балт. *a* посредством слав. *o* (resp. *o* → *a*) вопрос о хронологии приходится решать с учетом иных факторов.

2. Диалектным изменениям балтийские слова подвергаются постоянно, в зависимости от фонетических особенностей заимствующего славянского языка или диалекта. К таким изменениям можно отнести, например, передачу палатализованных балтийских *d* и *t* через польск. *dz*, *c*. Такая передача встречается и в белорусских балтизмах, ср. литов. *vénteris* «рыболовный снаряд» → польск. *więcierz*, белорусск. *венцерь* «то же» (но русск. *вентерь*), литов. *skilañdis* «сычуг» → польск. *skiłańdź*, белорусск. *шкіляндзя* «вид свиной колбасы» и т. д. К диалектным изменениям можно отнести также передачу литов. *s* через белорусск. *ш*, ср. белорусск. *шкіляндзя*, литов. *skliùtas* «тесак, тесло» → белорусск. *шклют* «то же» (но русск. *склют*), литов. *krū̃snis* «куча камней в поле» → белорусск. *крýшня* «то же» и др.

3. Изменения системного характера связаны с тем, что есть ряд балтийских звуков и звукосочетаний, которые не имеют точных или даже приблизительных соответствий в славянских языках. Так, в последних отсутствуют звуки, близкие к балт. *e* открытому, или дифтонги типа литов. *au*, *uo*. Поэтому при передаче балт. *e* открытого в заимствованиях из балтийского были использованы все гласные славянских языков и звуки *e*, *'a*, хотя в отдельных языках наблюдаются и некоторые более закономерные способы передачи. Так, в польском языке балт. *e* передается чаще всего через *e*, *ie*, *a* (литов. *meškà* «медведь» → польск. *meszka* «то же», *kepùrė* «шапка» →польск. *kiepura*, *grebẽstas* «решетина, обрешетка» → польск. *grabiasto* и т. д.), в белорусском — через *e* (литов. *kurmẽlis* «кротик» → белорусск. *курмéль* «пескарь», *šẽškas* «хорек» → *шэшка* «то же»), в русском через *e* и *'a* (литов. *šẽškas* → русск. *шешок*, *ketùrka* «четырехугольная вставка в подмышке рубашки или в штанах для расши-

рения шага»→русск. *кятýрка* «то же», «ширинка»). Дифтонги *ai*, *ui* обычно монофтонгизируются (литов. *šlaunìs* «бедро» → белорусск. *шлýнне*, русск. *шлýння*, укр. *шлýнок* «внутренности», литов. *kluõnas* «гумно, ток» → белорусск., русск., укр. *клýня*, польск. *kłunia*, *kłonia* «то же» и т. д.); дифтонг *au* может еще передаваться и сочетанием *ov*/*ou* (ср. литов. *káušas*, латыш. *kaũss* → польск. *kowsz*, русск., укр. *ковш*, белорусск. *коўш*, литов. *láužas* «куча обломков» → белорусск. *лоўж*(*а*), русск. *ловж* «куча хвороста».

4. К разного рода нерегулярным изменениям можно отнести спорадически встречающееся озвончение глухих (*t* → *d*, *s* → *z*, *š* → *ž*) или наоборот, оглушение звонких согласных (литов. *g* → слав. *k*), явления метатезы (ср. литов. *kurmẽlis* «кротик»→русск. *курмéль*/*крумéль*), пропуск согласного в начале или в середине слова (ср. литов. *spragà* «брешь, щель, вылаз» → польск. *praga*/*spraga* «то же», белорусск. *прага* «то же»), появление нового звука, отсутствующего в балтийском источнике (ср. литов. *muštìnis* «старинная литовская металлическая монета» → польск. *muksztyn* «рубль») и т. д.

Мы ограничились наиболее яркими и показательными случаями фонетических изменений середины и начала слова. Изменения конца слова обычно связаны с освоением средствами славянских языков морфологических особенностей балтийских слов. Так как среди славянских балтизмов наиболее многочисленную группу составляют имена существительные, здесь мы ограничимся наблюдениями над изменениями морфологического строения этих слов в славянских языках.

При передаче балтийской флексии с конечным *-s* (*-as*, *-is*,-(*i*)*us*) наблюдаются четыре основных возможности: а) балтийская флексия полностью отбрасывается, мужской род исконных балтийских слов сохраняется: *skliutas* «тесак, тесло» *склют* → «то же», *gėgẽlis* «полевой хвощ» → *гигель* «то же», *bùčius* «верша» → *буч* «то же» и т. д. Этот способ передачи является наиболее распространенным; б) отбрасывается только конечное *-s*, мужской род существительных меняется (на средний или женский): литов. *šùlas* → белорусск., русск., укр. *шуло*, литов. *žlùktas* «белье, приготовленное для стирки; стирка белья» → польск. *żłukta*, белорусск. *жлукта*, ст.-белорусск. *жлукто*, русск. *жлукта*, *жлукто* «бак для стирки белья» и т. д.; в) балтийские существительные женского рода на *-is* в славянских языках обычно меняют окончание на *-ia*(*'a*), изредка *-a* при сохранении рода: литов. *krū̃snis* «куча камней в поле» → польск. *kruśnia*, белорусск. *крýшня* «то же», литов. *kùlšis* «бедро» → польск. *kulsza*, белорусск., русск., укр. *кýльша* «то же» и т. д.; г) балтийская флексия полностью сохраняется. Данный вариант обычно наблюдается в поздних заимствованиях, например: литов. *tìtnagas* «кремень» → русск. (в говорах Литовской ССР) *тúтнагас* «то же», литов. *gùrklis* «зоб» → польск. *gurklis* «то же» и т. д.

Балтийская флексия *-a* у существительных женского рода в славянских языках обычно сохраняется (литов. *stìrta* «большая укладка снопов» → польск. *styrta*, белорусск. *сцíрта*, русск. *скúрдá*, укр. *стúрта* «то же»). В немногочисленных случаях флексия *-a* отбрасывается и слово переходит в разряд существительных мужского рода: литов. *gúoba* «вяз» → польск. *gab* «то же», литов. *ìšdaga* «выгоревшее место» → ст.-белорусск. *иждокг* «то же», и т. д. Флексия женского рода *-ė* в славянских заимствованиях обычно передается через *-*(*i*)*a* (*'a*) (литов. *pélkė* «болото» → белорусск., русск., укр. *пелька* «то же», *pūnẽ* «сарай» → польск. *punia*, белорусск., русск. *пуня* «то же»). Иногда флексия *-ė* отбрасывается, ср. литов. *kùrpė*, др.-прусск. *kurpe* «башмак, ботинок» → польск. *kurp*/*kurp'* «то же», «лапоть», литов. *priemenẽ* «сени» → белорусск. *прымен*, *прымень*

«то же» и т. д. Возможны и другие способы изменения флексии балтийских существительных, но они менее распространены и не дают регулярных соответствий.

С точки зрения фонетической субституции балтизмов в славянских языках оказалось, что, кроме случаев передачи балт. *а*, *о*, балтизмы осваивались почти одинаково как в памятниках письменности, так и в говорах. Анализ же тематического распределения соответствующих балтизмов показывает, что между тематическими группами балтизмов в памятниках письменности и в разговорном языке наблюдаются определенные различия. Наконец, с точки зрения лексико-грамматической в памятниках письменности засвидетельствованы преимущественно имена (существительные, редко — прилагательные), глаголов же лишь несколько. Значительно больше глаголов среди лексики балтийского происхождения отмечено в говорах.

В памятниках письменности лучше лексически отражена общая структура материальной и социальной жизни балтийских (прежде всего литовского) народов, а в говорах в основном получили отражение разные конкретные стороны их жизни. Так, среди балтизмов в памятниках письменности преобладают такие тематические группы, как: общие понятия, относящиеся к земледелию (около 40 слов), социальная лексика (более 30 слов), термины географического рельефа (70 слов). Здесь полностью отсутствует группа лексики, связанная с просвещением; впрочем имеется небольшая группа слов, отсутствующих в говорах и относящихся к развитию дорожной сети (наименование дорог и пр.). В говорах славянских языков наиболее многочисленную группу лексики составляют экспрессивные слова (более 80 слов), которые почти отсутствуют в памятниках письменности. Большие группы составляют названия растений и их частей (около 40 слов), названия кушаний (около 30 слов), лексика, относящаяся к животному миру (50 слов), бытовая лексика (30 слов), названия орудий труда и их частей (около 40 слов). Можно выделить тематические группы балтизмов, отсутствующие в памятниках письменности. Это лексика, отражающая народные обычаи, связанная с устным народным творчеством (более 20 слов) и с общими понятиями, относящимися к просвещению (около 10 слов).

Анализ тематического распределения балтизмов в общем подтверждает выводы Е. Ф. Карского и других исследователей о том, что среди балтийских заимствований в славянских языках значительно преобладает лексика, связанная с материальной культурой народа. Однако объяснять такую тематическую направленность балтизмов лишь с точки зрения культурного уровня контактирующих народов (как это делает, например, Е. Ф. Карский[7]) — значит упрощенно представлять сложную картину взаимосвязей балтийских и славянских народов. Тематика заимствований зависит от многих причин, и среди них немаловажную роль играют способы и пути проникновения заимствований, время заимствования, социальные условия жизни, сферы употребления заимствованной лексики и т. д. Весьма показательным является тот факт, что в лексике русских говоров в балтийском окружении, где имеется возможность не только устного, но письменного воздействия балтийских языков на славянские, появляются заимствования, связанные с культурной жизнью народа. Кроме того, знакомство с более полным списком балтизмов показывает, что среди них сравнительно много места занимают и другие тематические группы (группа социальной лексики, лексика, отражающая фольклор и народные обычаи, явления природы, экспрессивная лексика и т. д.).

[7] Е. Ф. Карский, указ. соч., стр. 23.

*

Для составления списка славянских слов, которые в разное время и разными исследователями были признаны балтизмами, первоочередное значение имеет вопрос об объективных критериях выделения балтизмов в славянских языках. Попытки определения таких критериев уже делались и раньше, но при этом обычно либо они смешивались с другими явлениями (например, критерии и способы проникновения слов) [8], либо внимание уделялось лишь какому-нибудь одному критерию [9]. Результаты исследований М. Фасмера, Э. Френкеля и других ведущих этимологов показывают, что при выделении балтизмов в славянских языках можно говорить о следующих основных критериях: фонетическом, морфологическом, словообразовательном, семантическом, этимологическом, лингвогеографическом, историко-этнографическом. Использование этих критериев позволяет выделить в славянской (главным образом, диалектной) лексике целый ряд балтизмов, до сих пор не привлекавшихся к исследованию.

1) На основе ф о н е т и ч е с к о г о критерия можно отнести к балтизмам русск. (псковск., см. картотеку Псковского областного словаря) *у́дра́* «выдра» ← литов. *ūdra* «то же» (точным фонетическим соответствием литовского слова является русск. (*в*)*ыдра*). С учетом того, что в исконно славянских словах сочетание **ke*- обычно дает *че*-, можно выделить такие балтизмы, как белорусск. *каўляць* (точное значение неизвестно, слово дано в контексте) ← литов. *kiáuliotis* «поступать по-свински; скитаться, шататься», русск. *кату́рка* ← литов. *ketùrka*. Специфически балтийское сочетание *-aur-* легло в основу установления балтийского происхождения белорусск. *чаўпці* «болтать вздор» ← литов. *čiáupti* «то же» и т. д. Однако применение фонетического критерия при обосновании балтийского происхождения ряда славянских слов осложняется тем обстоятельством, что результаты фонетической субституции в процессе заимствования нередко совпадают с обычными фонетическими соответствиями в исконно родственных словах. Например, литов. *rãgas* и русск. *рог* — это слова генетически родственные, литов. *pyrãgas* — славянское заимствование (ср. русск. *пирог*), а русск. *ковш* — балтийское заимствование (ср. литов. *káušas*). Таким образом, соотношение слав. *о* — балт. *а* оказывается типичным для исконно родственных слов, для балтийских славизмов и для славянских балтизмов. Поэтому в каждом отдельном случае вывод о балтийском происхождении анализируемого слова должен опираться на всю совокупность перечисленных критериев. Тем не менее фонетический критерий является одним из основных при выделении славянских балтизмов.

2) М о р ф о л о г и ч е с к и й критерий с успехом может применяться в тех случаях, когда налицо морфологические особенности балтийских языков, т. е. когда сохранена прежде всего специфическая балтийская флексия. Чаще всего мы сталкиваемся с сохранением флексии *-as*, *-is*, *-(i)ai* (мн. ч.). Особым случаем заимствования является белорусск. *ды́рдас* «мальчик-шалун, вышедший из детского возраста и бегающий в коротких штанишках», *ды́рда* «девочка-шалунья, вышедшая из детского возраста и бегающая в короткой рубашке». Флексия *-as* в славянских языках может иметь не только балтийское происхождение. Но в данном случае сохранено и специфически балтийское противопоставление мужского и женского рода с помощью флексий *-ас* и *-а*. И хотя в балтийских языках сохранился лишь антропоним *Dìrda* наличие у белорусского сло-

[8] См.: А. А. В я р ж б о ў с к і, Балтызмы ў беларускай мове (метадалогія і крытэрыі даследавання), «Весці АН БССР», Серыя грамадскіх навук, 1959, 2.
[9] «Лексічныя балтызмы...», стр. 24, 33, 45 и др.

ва грамматических отношений с формальными показателями литовского языка — факт весьма убедительный, говорящий в пользу литовского происхождения исследуемого слова.

3) Применение словообразовательного критерия дает возможность говорить о балтийском происхождении русск. (псковск.) *ари́ба* «пахота» ← литов. *arýba* «то же». Суффикс *-īb(a)* с долгим *ī(y)* характерен лишь для балтийских языков. В славянских языках этот суффикс вообще не встречается, здесь ему соответствует суффикс *-ьб(а)* [10] (ср. исконно славянское *орьба* «пахота»). Наличие специфического литовского суффикса *-ienė* для образования названий пищи говорит о литовском происхождении таких слов, как польск. *łapienia* «суп из щавеля или листьев свеклы» (← литов. *lapiẽnė* «то же»). Этот же суффикс представлен в широко известном балтизме польск. *rougienia*, белорусск. *раўге́ния*, русск. *рявге́нья* «солодовая каша; кислые щи» (← литов. *raugiẽnė* «закваска»).

4) Типичным примером использования семантического критерия может служить случай с польск. *miśla* «загадка». С таким значением слово *мысль* (польск. *myśl*) не известно в других славянских языках, но в литовском языке слово *mįslẽ* имеет единственное значение «загадка», что говорит о литовском влиянии при образовании польск. *miśla* «загадка». Данное предположение может быть подтверждено также и фонетическим обликом польского слова, и ареалом, в котором оно засвидетельствовано.

5) С семантическим критерием тесно связан критерий этимологический. Имеются в виду случаи, когда сравнение славянских и балтийских слов как будто говорит об общности их происхождения или об общем третьем источнике. Но при более тщательном анализе оказывается, что слово на славянской почве не этимологизируется, а в балтийских языках оно имеет весьма надежную этимологию и большой круг родственных слов. Этимологический критерий является ведущим в случае русск., белорусск. *лайдак*, польск. *łajdak*, «лодырь, бездельник; негодяй», которые А. А. Потебня, Е. Ф. Карский и др. относили к числу балтизмов. Немецкое происхождение данного слова, принятое, в частности, М. Фасмером, не может считаться правдоподобным. Против этого говорит материал польских говоров, где имеется много слов, не восходящих к немецкой основе *landern* (ср. польск. *łajduś*, *łajdunio* и т. д.). Балтийское происхождение дает правдоподобное толкование как материалу польского языка, так и фонетическим особенностям этого слова (сочетанию *-айд-*, твердому начальному *л-*). В балтийских языках имеется прозрачная этимология литов. *laidõkas* «бездельник; пьяница; растратчик», латыш. *łaĩdaks* «лентяй; увалень», ср. литов. *láidyti* «тратить (деньги); скитаться; бросать», *palaidū̃nas* «бездельник; шатун; развратник», *laidùs* «мот» и т. д.

При ссылках на этимологический, а также и на семантический критерий необходимо всегда иметь в виду возможность утраты в славянских языках отдельных слов; поэтому всегда желательно наряду с этими критериями привлечение других — фонетического, лингвогеографического и т. д.

6) Использование лингвогеографического критерия особенно широко практикуется в последнее время (см. работы Н. И. Толстого, А. П. Непокупного, В. Урбутиса [11]). Значение этого критерия особенно возрастает в связи с тем, что он может применяться при исследовании происхождения практически каждого отдельного слова. Суть лингвогеографического критерия применительно к выявлению балтизмов в

[10] А. Мейе, Общеславянский язык, М., 1951, стр. 285—286.

[11] Н. И. Толстой, Славянская географическая терминология, М., 1969, стр. 167—169. См. также названные выше работы А. П. Непокупного и В. Урбутиса.

славянских языках заключается в том, что славянские слова, засвидетельствованные в России (особенно в северо-западных, западных, отчасти — в южных областях), в Белоруссии, Польше и — значительно реже — на Украине, могут оказаться заимствованными из балтийских языков, если они не встречаются в других славянских языках и если, помимо ареала, в пользу заимствования говорят также фонетические, этимологические и другие особенности рассматриваемых слов.

7) Историко-этнографический критерий является скорее вспомогательным; применяется он, к сожалению, крайне редко [12].

Несмотря на неодинаковое значение критериев — кажущуюся важность одних и более узкие сферы применения других — наиболее достоверные результаты могут быть получены при последовательном комплексном их использовании.

Изучение балтизмов в славянских языках еще далеко от своего завершения, так как привлекаемый к исследованию новый диалектный материал славянских языков является важным источником выявления новых балтизмов. В области изучения балтийской и славянской лексики еще не разработана методология исследования результатов древнейших балто-славянских языковых контактов; все же анализ доступного материала может быть полезным для раскрытия самого механизма балто-славянских обоюдных заимствований древнейшей поры. В этом плане изучение даже самых поздних заимствований может сыграть значительную роль при решении важнейших вопросов балто-славянского этногенеза и балто-славянских языковых отношений древнейшей поры.

[12] Например, весьма полезным может оказаться свидетельство археологов о том, что *шуло* (столб) явилось основным конструктивным элементом наземных жилищных построек балтийских племен («Очерки по археологии Белоруссии», Минск, 1970, стр. 189). Для более широкого применения историко-этнографического критерия плодотворной представляется инициатива Ленинградского отделения Института языкознания АН СССР, организовавшего в феврале 1971 г. совместную научную конференцию языковедов и этнографов. См.: «Ареальные исследования в языкознании и этнографии (Тезисы докладов и сообщений)», Л., 1971.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1972

Т. В. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ

ЗНАЧЕНИЕ ГРАФФИТИ XI—XIV ВВ. ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКА СТАРШЕГО ПЕРИОДА

Основное различие во взглядах исследователей разных направлений на природу древнерусского литературного языка определяется в первую очередь в зависимости от решения вопроса о том, каким образом и с какими результатами происходило взаимодействие церковнославянской книжной традиции и явлений живой разговорной речи в древнерусском литературном языке [1]. Этот вопрос оказывается наиболее существенным для понимания характера и природы древнерусского языка в целом. С этой точки зрения памятники письменности самой различной жанровой принадлежности, взятые во всем их своеобразии, дают важный и ценный материал.

История древнерусского литературного языка опирается на факты, извлекаемые в основном из литературных памятников — церковных и светских. Но не менее важными являются и другие — памятники «бытовой» письменности, не принадлежащие к сфере литературы, к определенным литературным жанрам. Из них оказывается возможным извлечь много самых разнообразных фактов, важных и интересных историку русского литературного языка. О необходимости ввести в научный обиход всевозможные письменные источники по истории русского литературного языка писал Ф. П. Филин: «Среди этих источников особое место занимают весьма многочисленные, обычно очень краткие надписи на стенах церковных сооружений, сосудах, крестах, памятных камнях, монетах, печатях, оружии, разного рода хозяйственных и бытовых предметах и других древних и старинных вещах. Эти надписи, за немногими исключениями, вовсе не пущены в исследовательский обиход историков русского языка, причем равнодушие к ним языковедов поразительно» [2]. В последнее время лингвисты все чаще обращают внимание на материал русской эпиграфики [3].

[1] См., например: В. В. Виноградов, Основные проблемы изучения образования и развития древнерусского литературного языка, в кн.: «Исследования по славянскому языкознанию», М., 1961, стр. 4—113; его же, О новых исследованиях по истории русского литературного языка, ВЯ, 1969, 2; В. О. Unbegaun, Le russe littéraire est-il d'origine russe?, RESL, 44, 1965; Б. О. Унбегаун, Язык русской литературы и проблемы его развития, «VI Congrès international des slavistes. Communication de la délégation française et de la délégation suisse», Paris, 1968; Б. О. Унбегаун, Историческая грамматика русского языка и ее задачи, сб. «Язык и человек», М., 1970.

[2] Ф. П. Филин, Об одном важном источнике истории русского языка, сб. «Вопросы теории и истории языка», Л., 1963, стр. 318.

[3] См.: Н. В. Подольская, Надписи на предметах и зданиях — лингвистический источник (по материалам XI—XIV вв.), сб. «Исследования источников по истории русского языка и письменности», М., 1966; И. Е. Еселевич, Древнерусские надписи XI—XIV вв. как историко-лингвистический источник, сб. «Вопросы теории и методики изучения русского языка», 2, Чебоксары, 1962; ее же, Отражение некоторых фонетических явлений в языке записей и приписок XI—XVI вв. на древнерусских пергаментных рукописях, сб. «Вопросы теории и методики изучения русского языка», 4, Ижевск, 1965; ее же, Исследование о языке записей и приписок XI—XVI вв. на древнерусских пергаментных рукописях. Автореф. канд. диссерт., Горький, 1963; Д. П. Шулаева, К истории русского языка в XIII в. (Палеографическое и фонетическое описание рукописи ГПБ Пог. 12). Автореф. канд. диссерт., Л., 1970.

Приписки и записи на полях рукописей, сделанные писцом, владельцем или читателем, деловые документы — договорные грамоты, духовные завещания, купчии, берестяные грамоты — письма, юридические документы, бытовые тексты — вот круг письменных памятников древней Руси, выходящих за пределы литературы в собственном смысле слова. К ним, несомненно, примыкают и памятники вещевой палеографии, часто разбросанные, не собранные полностью, содержащие короткие надписи на разных культовых и бытовых предметах, на иконах, на серебряных платежных слитках и надписи-граффити на стенах зданий.

Наиболее полный обзор материалов русской эпиграфики и истории их изучения дан М. П. Сотниковой, которая сформулировала задачи в этой области знаний, состоящие в выявлении, фиксации, систематизации материала, в выработке принципов точной датировки и создании справочно-хронологических таблиц, в сопоставлении русских надписей с южнославянскими кирилловскими, в библиографии надписей [4]. Выполнение этих собственно эпиграфических задач сделает возможным лингвистическое изучение данного материала; возникающие здесь трудности связаны в первую очередь с тем, что публикация большинства надписей-граффити разбросана по разным периодическим изданиям, они не выделены из массы публикуемого археологического материала, многие из надписей еще не опубликованы, а сами тексты надписей лаконичны и отрывочны.

До сих пор филологические вопросы изучения надписей ставились и разрешались лишь в той мере, в какой это было необходимо для верного прочтения и интерпретации текста [5]. Из всех памятников бытовой письменности языковому анализу с наибольшей полнотой подвергнуты новгородские берестяные грамоты, которые со времени своего открытия в 50-е годы нашего века привлекли всеобщее внимание историков и филологов. Языку грамот посвящена специальная книга [6], не говоря уже о многочисленных статьях, рассматривающих самые различные языковые явления новгородского диалекта [7].

Поскольку хронология берестяных грамот всегда может быть соотнесена с абсолютной датировкой строительных ярусов раскопа, где грамота найдена [8], новгородские берестяные грамоты приобретают первостепенное значение для выполнения одной из важнейших задач эпиграфики — построения надежной хронологической шкалы. Благодаря этому свойству можно более или менее точно, во всяком случае, точнее, чем по каким-либо другим документам, датировать те или иные языковые явления, что чрезвычайно важно для истории древнерусского литературного языка и его диалектных вариантов. Изучение берестяных грамот важно и в собственно теоретическом отношении. В результате их изучения намети-

[4] М. П. Сотникова, Русская эпиграфика в советское время, сб. «Вспомогательные исторические дисциплины», Л., 1970, стр. 107.

[5] См.: Б. А. Рыбаков, Русские датированные надписи XI—XIV веков, «Свод археологических источников», вып. Е1-44, М., 1964; С. А. Высоцкий, Древнерусские надписи Софии Киевской, Киев, 1966.

[6] «Палеографический и лингвистический анализ новгородских берестяных грамот», М., 1955.

[7] Н. А. Мещерский, Новгородские грамоты на бересте как памятники древнерусского литературного языка, «Вестник ЛГУ», Серия истории, языка и литературы, 1958, 1, 2; его же, К изучению языка и стиля новгородских берестяных грамот, «Уч. зап. Карельск. пед. ин-та», XII, Петрозаводск, 1962; его же. К филологическому изучению берестяных грамот, «Вестник ЛГУ», Серия истории, языка и литературы, 1970, 20, 4; В. И. Борковский, Берестяные грамоты и некоторые вопросы исторического синтаксиса русского языка, сб. «Проблемы сравнительной филологии (сб. ст. к 70-летию В. М. Жирмунского)», М.— Л., 1964.

[8] М. П. Сотников, указ. соч., стр. 89.

лись две точки зрения. Приверженцы одной из них считают, что язык, на котором написаны грамоты (независимо от их жанровой принадлежности) — это язык разговорный, живой, не подвергшийся какой-либо литературной обработке [9]. Другие утверждают, что язык грамот нельзя считать лишь отражением новгородского диалекта, что это язык письменности, претерпевший влияние церковнославянского языка, определенных литературных формул [10]. По сути дела, различное понимание природы языка грамот идет от различного понимания природы и состава древнерусского литературного языка раннего периода; в свою очередь, изучение языка берестяных грамот дает дополнительный материал для интерпретации характера литературности древнерусского языка.

Изучение языка записей и приписок на полях рукописей имеет свою длительную историю [11]. Именно эти памятники письменности чаще других привлекали внимание филологов. И. И. Срезневский в «Древних памятниках русского письма и языка» [12] поместил рядом с приписками и записями в рукописях и надписи на различных предметах, в том числе надписи-граффити, так как он считал их важными памятниками древней письменности. Всестороннему изучению подверглись надписи на серебряных платежных слитках, ранее выпадавшие из поля зрения исследователей [13]. М. П. Сотниковой установлено, что «чрезвычайным палеографическим сходством с письмом берестяных грамот, новгородскими оборотами в языке и правописании и т. п. надписи на слитках подтверждают новгородское происхождение русских серебряных платежных слитков XII—XV вв.» [14]. И все же собственно лингвистические вопросы изучения надписей на слитках затронуты не были. Так же и надписи на иконах совсем не изучались с этой точки зрения. О необходимости филологического изучения надписей-граффити говорилось не раз [15]. Палеографический анализ надписей позволяет сделать вывод об их формальной близости к надписям на серебряных платежных слитках и берестяным грамотам. «По способу начертания букв грамоты на бересте ближе всего стоят к надписям-граффити, сделанным по раствору» [16].

Переплетение церковно-религиозной и бытовой сфер жизни в сознании древнерусского человека нашло отражение в сложном характере языка надписей. Для того чтобы судить, насколько он был связан с литературной традицией, важно отграничить бесспорно бытовые, диалектные элементы в языке этих памятников.

[9] Р. И. Аванесов, Фонетика, в кн.: «Палеографический и лингвистический анализ новгородских берестяных грамот», М., 1955; В. И. Борковский, Лингвистические данные новгородских грамот на бересте, в кн. «Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1953—1954 гг.)», М., 1958 и в кн.: «Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1955 г.)», М., 1958; Л. П. Жуковская, Новгородские берестяные грамоты, М., 1959; сб. «Палеографический и лингвистический анализ...».

[10] Н. А. Мещерский, Существовал ли «эпистолярный стиль» в древней Руси? (Из заметок о грамотах на бересте), «Вопросы теории и истории языка. Сб. в честь Б. А. Ларина», Л., 1963, стр. 212—217.

[11] А. И. Соболевский, Славяно-русская палеография, 2-е изд. СПб., 1908: И. И. Срезневский, Славяно-русская палеография, СПб., 1863; В. Н. Щепкин, Русская палеография, М., 1967.

[12] И. И. Срезневский, Древние памятники русского письма и языка, СПб., 1863.

[13] М. П. Сотникова, Серебряные платежные слитки Великого Новгорода (Вопросы техники и эпиграфики). Автореф. канд. диссерт., Л., 1958; ее же, Эпиграфика серебряных платежных слитков Великого Новгорода XII—XV вв., «Труды ГЭ», IV — Нумизматика, Л., 1961.

[14] М. П. Сотникова, Русская эпиграфика в советское время, стр. 92.

[15] См.: Ф. П. Филин, Об одном важном источнике истории русского языка; Н. В. Подольская, указ. соч.

[16] А. В. Арциховский, Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1958—1961 гг.), М., 1963, стр. 14.

Надписи-граффити, конечно, ограничены по своей тематике, они охватывают не столь широкие сферы общественной и частной жизни, как берестяные грамоты, но тем не менее и они содержат довольно разнообразный материал. Обратимся к надписям, вошедшим в корпус русских датированных надписей Б. А. Рыбакова [17], надписям из Софии Новгородской, частично опубликованным В. Н. Щепкиным [18], частично А. А. Медынцевой [19], надписям из церкви Федора Стратилата [20], церкви Спаса-Нередицы [21], надписям из Киевской Софии, опубликованным С. А. Высоцким [22], надписям из церкви Климента в Старой Ладоге [23] — всего 211 текстов различной сохранности. По содержанию их можно разделить на тексты церковные — вотивные и поминальные и тексты не церковные — светские, т. е. надписи, близкие к летописным известиям, и бытовые (это относится прежде всего к надписям из Новгорода). Между ними имеются и жанровые различия. Так, некоторые надписи носят фольклорный характер (надписи в Новгородской Софии и в церкви Федора Стратилата в Новгороде), одно из граффити Киевской Софии представляет собой юридический документ. Среди надписей Мартирьевской паперти Новгородской Софии есть текст, имеющий соответствия с кондаком Романа Сладкопевца [24].

Больше всего среди граффити надписей молитвенного характера, содержащих традиционную формулу *господи*, *помози* и часто этой формулой и ограничивающихся. Так, в Киевской Софии есть запись Михаила-Святополка Изяславича: г҃и помози рабу своемоу михаилу [25]; там же запись Ставра Гордятича: г҃и помози рабу своему ставърови недостоиному рабоу тв[оему] [26]. Многочисленны надписи такого рода на стенах Новгородской Софии и церкви Спаса-Нередицы [27]. Среди материалов из Старой Лодоги есть несколько кусочков обмазки с процарапанными надписями различной сохранности: г҃ь по[мози] [28]. Помимо этой традиционной формулы, часты надписи, сделанные рядом с фресковым изображением какого-либо святого и обращенные к нему. В Киевской Софии подобного рода записи обнаружены около изображений святых Онуфрия, Николы, Стефана, Артемия, 40 севастийских мучеников [29] и других: с҃ти м҃ мѫченици помозъıте рабѫ св[оемѫ] [30]; с҃тъı [о]ноуфриисе направи мѧ на пꙋть истьнънъıи съпаси дш҃ꙋ грѣшѣнꙋ [31]. Среди надписей Новгородской Софии есть несколько

[17] Б. А. Рыбаков, Русские датированные надписи XI—XIV вв., М., 1964.

[18] В. Н. Щепкин, Новгородские надписи graffiti, «Древности. Труды Московского Археологического общества», 19, III, М., 1902.

[19] А. А. Медынцева, Глаголические надписи из Софии Новгородской, «Советская археология», 1969, 1; ее же, Надписи с именем художника Стефана из Софии Новгородской, «Советская археология», 1970, 4.

[20] А. А. Медынцева, Древнерусские надписи из церкви Федора Стратилата в Новгороде, сб. «Славяне и Русь», М., 1968.

[21] В. К. Мясоедов, Спас-Нередицы. Фрески Спаса-Нередицы, Л., 1925.

[22] С. А. Высоцкий, Древнерусские надписи Софии Киевской, Киев, 1966.

[23] Гос. Эрмитаж, Отдел Истории Первобытной культуры (Далее — ОИПК ГЭ), хранение 54, 1480, ящ. 10—19 (не опубликованы).

[24] Указание на данную аналогию принадлежит Н. А. Мещерскому.

[25] С. А. Высоцкий, Древнерусские надписи..., № 28, стр. 80, табл. XXXI, 1; XXXII, 1

[26] Там же, № 19, стр. 57, табл. XXIII, XXIV. Буквы, взятые в квадратные скобки, не сохранились полностью. Скобками же отмечены места, не поддающиеся прочтению.

[27] В. Н. Щепкин, Новгородские надписи graffiti, XXXIII, табл. IV, 21, стр. 9.

[28] ОИПК ГЭ, хранение 54, 1480/22—26, ящ. 12.

[29] С. А. Высоцкий, Древнерусские надписи..., № 39, № 40, № 41, № 42, № 46, № 64, № 66, № 67, № 68.

[30] Там же, № 42, табл. XXI, 1; XII, 1.

[31] Там же, № 68, табл. XIII, XIV.

содержащих обращение непосредственное к святой Софии, покровительнице Новгорода: сѵтаѧ софиѣ помиᴬʸи [ ]сѵтѣкѣамицѣ ѧ[32].

Обширную группу составляют надписи поминального характера. Появление их на стенах храма вполне естественно. «Общая память была фактом осознанного существования. В этом смысле именно летописи и функционально близкие к ним памятные знаки (могилы и надписи на памятниках, сами памятники, надписи на стенах зданий, топонимика), а не исторические тексты в прагматическом изложении, представляя не объяснение событий, а память о них, могли выполнять для коллектива функцию знака существования» [33]. Поэтому так много среди граффити надписей о чьей-либо смерти — просто прихожанина, посадника, митрополита, князя: мц҃а но[авра] въ ·ѕѕі· пр[ѣстависѧ] ѳакла [34]; мц҃а сѣптав[ра] [пре]стависѧ равъ [35] (материалы из Старой Ладоги); прѣстависѧ посадни[къ] василѣи мѣсаѵа семт[авра] на памата сѵѣа м[ѵнци] ѳеклѧи [36] (из церкви Федора Стратилата); мц҃а авѕгоуста въ кѣ прѣстависѧ равъ бжіи лѹка є҃ппъ в҃женьіи вѣлогородѣскѕіи [37]; въ ѧѕ ѳ ѕ в мц҃а ѳѣврарі к҃ жѕпеніѣ цр҃а нашго въвъ [ ] ѡѣѡдѡра [38] (надписи из Киевской Софии). Поминальные надписи по своей функции близки к записям-маргиналиям на полях рукописей.

Несмотря на свою отрывочность, надписи-граффити ценны тем, что они сравнительно разнообразны по содержанию. Запись в Киевской Софии о покупке Бояновой земли сразу же после публикации ее С. А. Высоцким [39] привлекла к себе внимание не только тем, что она сохранила редкий топоним *Боянѧ-земля*, образованный от имени *Боян* [40], ранний глагол *крити*, но и тем, что эта запись является одним из самых древних юридических документов, обнаруженных на стене Киевской Софии. Вот текст этой записи: мц҃а ѥнаря въ ·л· с҃тто ип[оли]та крила землю кнагѕіи — и боѓаню || вседоложа а передъ стою софиею || передъ попъі а тѹ вѕілъ по || пинъ ѣакимъ дѧмило пателеи || стипѧко михалько нѣжановичь || мил данило марко семѧюнъ михал || єлисавиниуь иванъ ѣанѕуѣінъі || тѹдоръ тоѹвѕіновъ·илѧѣа копъі||ловичь тѹдоръ вѧрзатиуь а пере||дъ тими послѹхъі кѹпи землю кнѧ||гѕіни боѓаню вѧсю· а вѧдала на ниеи || семѧдесатъ гривінъ соболии а въ тому || дранице семѧсѕтѹ гривѧнъ.

Среди надписей Новгорода не найдено записей подобного рода, но существовали надписи, обращенные к князю, построившему храм, записи о постройке и росписи храма. Так, в церкви Спаса-Нередицы существовала надпись (правда не граффити, а сделанная кистью фрескиста) рядом с фресковым изображением князя: нъ о болюбивъі кнаже вторѣіі вседолода злыа облича добрѕіа люба правда корма, і вса цѣрквѧнѕіа уинъі і манастѕіреска ликы мластивенъі иіма (но) о мласт(ѣа)уе кто твоа добродѣтели можеть истино дажъ бо цр҃ствіи нвсое съ вс҃ми свѣти ѹгожешим ти въ

[32] Фотоархив ЛО ИА АН СССР, кол. 163, нег. II 25557.

[33] Ю. М. Лотман, Статьи по типологии культуры, «Материалы к курсу теории литературы», 1, Тарту, 1970, стр. 9—10.

[34] ОИПК ГЭ, хранение 54, 1480/27, ящ. 13.

[35] ОИПК ГЭ, хранение 54, 1480, ящ. 12.

[36] А. А. Медынцева, Древнерусские надписи из церкви Федора Стратилата в Новгороде, стр. 442; XIV в.

[37] С. А. Высоцкий, Древнерусские надписи, № 10, табл. XIII, XIV; XI в.

[38] Там же, № 8, табл. IX, 1; X, 2; XI в.

[39] Там же, № 25, табл. XXIV, XXVIII; XII в.

[40] В. П. Адрианова-Перетц, «Слово о полку Игореве» и памятники русской литературы XI—XIII вв., Л., 1968, стр. 51—52.

бесконъныѧ вѣкъ аминъ[41]. В церкви Спаса Преображения на Ковалевом поле сохранилась надпись о росписи ее: въ лѣто ѕ.ѡ҃п҃и҃ потьписанъ бы҃ храмъ господа б҃а с҃пса нашего і҃са х҃рта а при кнѧзи великомъ дмитри ивановичѣ и при пресвѧщеномъ архіепискꙋпѣ новгородьскомъ алексѣи· а повелѣньемъ храба божьѧ офанасьѧ степановича и подрꙋжи его маріи а съвръшисѧ м҃ца авгꙋста[42]. Такого типа надписи с датой постройки и именами заказчиков широко известны и имеют аналогии с летописными записями. Встречаются граффити, сделанные непосредственно мастерами-живописцами. Так, среди граффити Киевской Софии есть подпись мастера грека рядом с исполненной им фреской: κ҃ε βοήθι τον σὸν δοῦλον Γεόργη[43]. Совсем недавно было опубликовано А. А. Медынцевой несколько граффити из новгородской Софии, сделанные мастером, принимавшим участие в росписи собора: [с]тефанъ ѱ҃лъ егд(ы) [п]сахѫ с҃тѫю софию[44]. Близость граффити по содержанию к припискам и записям писцов на полях рукописей определяет их стилистическое родство. Самая цель надписи — оставить память, ее относительная случайность, непосредственность, с которой она написана, роднит граффити с записями на полях рукописей, маргиналиями, приписками писцов, владельцев, читателей. В текстах граффити и записях на полях рукописей встречаются надписи аналогичного характера. Так, в октябрьской Минее за 1096 год, написанной для Новгородского Лазаревского монастыря (из собрания ГПБ), читаем: господи помози рабоу своему григори...; григорьѧ ѱалъ в лѣто ·҂ѕ·х·д мѣсѧца марта въ кг[45]. Подобные записи в большом количестве найдены и на стенах новгородской Софии: г҃и помози рабоу своему лоуцѣ[46], кꙋзьма ѱалъ[47], иоакмъ ѱл[ ] аврамомь[48]. Запись в Минее из собрания ГПБ и надпись в Софии близки по своей орфографии, глагол ѱалъ употреблен в идентичной форме. Желание прихожан оставить свое имя для поминания в церкви легко находило воплощение в уже существовавшей формуле. Обилие и разнообразие этих имен очень ценно для ономастики; среди них есть определенное количество имен, не известных по другим письменным источникам.

Явления обыденной жизни нашли свое отражение и в бытовых записях на полях рукописи, и в граффити на стене здания. Например, на юго-западном столбе церкви Спаса-Нередицы читаем запись (вероятно, XIV в.): въ лукинъ д҃нь взѧла проскурница пшениц[у][49]. Октоих середины XVI в. из Софийского собрания ГПБ содержит на последнем листе у корешка запись: «вышла проскурнице пшеница на праскуры от Василья

---

[41] И. И. Срезневский, Древние памятники русского письма и языка, стр. 219, до 1200 г.; В. К. Мясоедов, Фрески Спаса-Нередицы, табл. LVI (1, 2).

[42] И. И. Срезневский, Древние памятники русского письма и языка, стр. 112, 1380 г.; А. С. Орлов, Библиография русских надписей XI—XV вв., М.— Л., 1952, № 131.

[43] С. О. Висоцький, Напис художника-фрескіста XI ст. в Софійскому соборі у Київі, «Український Історичний журнал», 1969, 6, стр. 119.

[44] А. А. Медынцева, Надписи с именем художника Стефана из Софии Новгородской, стр. 142.

[45] И. И. Срезневский, Древние памятники русского письма и языка, стр. 20.

[46] Архив ЛО ИА АН СССР, ф. 35, оп 2, № 1626.

[47] В. Н. Щепкин, Новгородские надписи graffiti, XXI, табл. VI, 30, стр. 7.

[48] Фотоархив ЛО ИА АН СССР, кол. 163, нег. III 7308.

[49] Фотоархив ЛО ИА АН СССР, кол. 163, нег. III 6658.

Заговенья Петрово две недели на память св. отца Тихона Чюдотворца» [50]. Эти записи разновременны, но по содержанию предельно близки.

В граффити отразились различные сферы общественных отношений и, конечно, прежде всего область церковно-религиозная. Вместе с тем тексты надписей часто содержат бытовые детали, передающие атмосферу повседневной жизни Киева и Новгорода. Киевская София сохранила совсем немного записей такого характера, например: кѫждъ сѫтворилъ къ сва'гъ дѧнь [51]. В основном эпиграфический материал Киевской Софии дает сведения о церковной и общественно-политической жизни княжеского Киева, и не случайно поэтому софийские граффити близки по своему характеру летописным записям и по языку, и по тематике. Гораздо богаче представлены надписи, включающие элементы бытовой лексики, в храмах Новгорода. Об этом свидетельствуют надписи из церкви Федора Стратилата: а се поютъ на полатѣхъ оу с҃го покрова [52]; на стене лестницы, ведущей на хоры: поиду бобромъ козлѣ рѣки [53]; о попове сѣцици оукл[а]нают[ь] [са ѿ] пѧнѧсѣтава [54].

Наличие надписей на стенах соборов само по себе говорит о широком распространении грамотности в XI—XIV вв. Авторы граффити (в Киеве в большей степени, чем в Новгороде) — различные церковные служители, духовенство и монашество — были носителями византийско-русской образованности. Об обучении грамоте свидетельствует надпись в Михайловском притворе на южной стене в Киевской Софии: «Пищан писал в дьяки ходи выучеником» [55].

Итак, что может дать исследование языка граффити и вообще памятников бытовой письменности для истории древнерусского литературного языка? Прежде всего, оно позволяет рассматривать языковые черты этих памятников в общей системе древнерусского литературного языка. С другой стороны, в языке надписей сохранились черты (в плане фонетики, морфологии, синтаксиса, лексики), которые можно рассматривать как отражение диалектных черт произношения, а иногда — неграмотности писца. Взаимодействие двух языковых стихий — складывающихся литературных традиций и разговорной речи — было существенным фактором образования древнерусского литературного языка. «Богатое содержание и широкий состав древнерусской письменности и литературы, которая уже в начальный период своей истории в XI — XIII вв. культивировала, кроме религиозно-философских, также повествовательные, исторические и народно-поэтические жанры, свидетельствует о быстром развитии древнерусского литературного языка на церковнославянской основе, но с многообразными включениями в его структуру элементов восточного словесно-художественного творчества и выражений живой бытовой речи» [56]. Памятники эпиграфики представляют интерес как отражающие восточнославянские черты древнерусского литературного языка

---

[50] Картотека записей и приписок рукописей Софийского собрания ГПБ, составленная Н. Н. Розовым (не опубликована). Шифр: Соф. 136.

[51] С. А. Высоцкий, Древнерусские надписи..., № 14, табл. XIX, 1; XX, 1; XI в.

[52] А. А. Медынцева, Древнерусские надписи из церкви Федора Стратилата в Новгороде, стр. 446.

[53] Там же, стр. 449.

[54] Там же, стр. 449.

[55] С. А. Высоцкий, Древнерусская азбука из Софии Киевской, «Советская археология», 1970, 4, стр. 138. Представляется более правильным чтение в этой надписи *ходи*, а не *ходив*, как читает С. А. Высоцкий, так как здесь ясно усматривается 3-е лицо аориста от глагола *ходити*.

[56] В. В. Виноградов, Основные вопросы и задачи изучения истории русского языка до XVIII в., ВЯ, 1969, 6, стр. 6—7.

и бытовые элементы в его составе. В. В. Виноградов придавал большое значение изучению народной стихии, проявляющейся в деловой письменности, ее роли в формировании древнерусского литературного языка. Он считал, что его история не может быть оторвана от истории «восточнославянской — устной и письменной — бытовой речи» [57]. Именно в ее изучении он видел непосредственные задачи исследования истории языка [58]. О важности изучения разговорной речи в составе памятников письменности говорил Б. А. Ларин [59]. При исследовании лексического состава надписей-граффити необходимо выделить в них восточнославянские и церковнославянские элементы, так как их соотношением и взаимодействием определяется характер языка памятников. Важно определить, «что нужно считать церковнославянизмами на всех уровнях языка и каков был их удельный вес в разные эпохи как в отдельных жанрах письменности, так и в языке обиходном» [60]. С этой точки зрения основной вопрос изучения языка древнерусских надписей XI—XIV вв.— рассмотрение взаимодействия складывающихся литературных формул, становящихся традиционными, и живой разговорной речи, местных особенностей языка, диалекта. Существование среди граффити записей молитвенного характера, поминальных записей, непосредственно связанных с церковной обрядностью, т. е. текстов, где славянизмы были единственным средством передачи нужного содержания, а также бытовых записей (это прежде всего относится к граффити из церковных зданий Новгорода), в языке которых отразились черты новгородского диалекта, говорит о том, что эти памятники бытовой письменности являются новым и важным источником по изучению древнерусского языка раннего периода. Любопытно, что в языке молитвенных и поминальных граффити, содержащих устойчивые формулы и трафаретные выражения, проявляются диалектные черты (например, запись о смерти посадника Василия). И наоборот, язык нецерковных по содержанию записей не свободен от книжного влияния, от «литературности», которая определена самим характером надписи, сделанной в храме (например, запись о покупке Бояновой земли). Граффити, являющиеся непосредственными записями, сделанными однажды, которые не столь подвержены письменной традиции и которые можно более или менее точно датировать и локализовать, представляют собой важные источники изучения разговорных элементов в процессе формирования древнерусского литературного языка. Поскольку живую речь древней Руси трудно отграничить от диалекта, то сопоставление надписей Новгорода и Киева может выявить в их языке общенародные черты, характерные для языка древней Руси в целом, и местные черты, характерные для киевского койне и новгородского диалекта. Формы койне, языка устной деловой речи, по А. В. Десницкой, «имели наддиалектный характер, в известной мере отражавший исходное состояние большой близости между собой восточнославянских письменных диалектов» [61].

[57] Там же, стр. 15.

[58] В. В. Виноградов, указ. соч.

[59] Б. А. Ларин, Разговорный язык Московской Руси, в кн.: «Начальный этап формирования русского национального языка», Л., 1961.

[60] Ф. П. Филин, Древнерусские диалектные зоны и происхождение восточнославянских языков, ВЯ, 1970, 5, стр. 14.

[61] А. В. Десницкая, Наддиалектные формы устной речи и их роль в истории языка, Л., 1970, стр. 26.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1972

Т. А. ИВАНОВА

ОБ АЗБУКЕ НА СТЕНЕ СОФИЙСКОГО СОБОРА В КИЕВЕ

Недавно С. А. Высоцкий опубликовал три статьи о необычной азбуке, состоящей из 27 букв, которая была обнаружена им в апсидной части Михайловского придела Софии Киевской на штукатурке XI в. [1]. Эта азбука состоит из 23 букв греческого алфавита, порядок следования которых в двух местах нарушен добавлением славянских букв: ѕ после а и ш, щ перед ѡ. Хотя литера щ занимает место греч. φ, автор публикации полагает, и, по-видимому, справедливо, что это не греческая, а славянская буква, «так как подобная форма „пси" не известна греческой письменности, но характерна для кирилловского щ» [2]. Четвертая славянская буква ж написана сверху над строкой после ε.

Вот граффито Киевской Софии в сопоставлении с азбукой Остромирова евангелия:

а б в г д є ж з и ѳ і к л м н ξ о п ρ с т у ф
χ ш щ ѡ

а б в г д є ж з и і к л м н о п ρ с т у оу ф
χ ѿ ц ч ш щ ъ ъі ь ѣ ѫ ѭ ѧ ѩ ѥ ю ꙗ ξ ѱ ѳ
г—6 ς —90

Открытие этой азбуки, которая, с одной стороны, не является греческой, но, с другой стороны, не соответствует и современной ей славянской кириллице, включавшей в XI в. более сорока графем, привело С. А. Высоцкого к далеко идущим выводам, связанным с вопросом о существовании самобытной дохристианской письменности у восточных славян. С точки зрения С. А. Высоцкого, эта азбука представляет раннее дохристианское местное восточнославянское письмо и отражает один из этапов постепенной славянизации греческого алфавита, который, по Храбру, в течение многих лет употреблялся «без устроения» (известно, что при помощи греческой азбуки нельзя было передать некоторые славянские звуки). При этом следует заметить, что идея постепенной славянизации греческого алфавита у самого Храбра вообще отсутствует. После упоминания о том, что греческими буквами нельзя было «добре» написать славянские слова, начинающиеся с б, ж, ѕ, ц, ч, ш, ѣ, ѫ, ю, ѧ [3], Храбр сообщает об изобретении Константином Философом азбуки, состоящей из 38 букв, одни из которых были созданы «по чиноу гръчьскыхь», другие же — «по словѣнстѣи рѣчи».

Постепенная славянизация греческого алфавита вполне допустима и возможна; и все же трудно разделить подобный взгляд на открытую С. А. Высоцким азбуку. Основные доводы высказанного предположения

[1] С. О. Высоцький, Стародавня слов'янська азбука в Софії Київській, «Вісник АН УРСР», 1970, 6; его же, Древнерусская азбука из Софии Киевской, «Советская археология», 1970, 4; его же, Деякі риси давньоруської писемності IX—X ст. за археологічними пам'ятками, «Мовознавство», 1971. 3.

[2] С. А. Высоцкий, Древнерусская азбука из Софии Киевской, стр. 132.

[3] К сожалению, в статье С. А. Высоцкого («Советская археология», 1970, 4) дважды, на стр. 134 и 136, не точно названы некоторые буквы, указанные Храбром, а именно ꙗ вместо ѣ, у вместо ѫ и а вместо ѧ.

сводятся к тому, что все указания об употреблении письменности на Руси до ее официального крещения должны свидетельствовать о наличии у восточных славян самобытной письменности. Именно так интерпретируется ряд подобных свидетельств.

Прежде всего С. А. Высоцкий ссылается на пресловутые «русские письмена» из VIII главы Жития Кирилла, в которых он готов видеть, вслед за В. Ф. Миллером, «славянское письмо греческими буквами» [4]. Однако вряд ли с этим можно согласиться, так как весьма сомнительно, чтобы письмо «греческими буквами» было названо «русским». В свое время Д. С. Лихачев, также допуская возможность того, что книги, найденные Константином-Кириллом в Корсуне, были русскими книгами, «в которых без особого „устроения" были применены буквы греческого алфавита», все же высказал вполне резонное в том сомнение. «Сложная тематика этих книг (по свидетельству жития Константина это были евангелие и псалтырь),— писал Д. С. Лихачев,— говорит как будто бы за то, что письмо было в достаточной мере упорядоченное. Возможно, впрочем, что и буквы этих книг не были греческими по происхождению, иначе автор жития Константина не назвал бы их „руськыми письмены"» [5].

Думается, что если все же понимать под «русскими письменами» раннее восточнославянское письмо и при этом отождествлять его с одним из известных нам славянских алфавитов, то логичнее видеть в этих «русских письменах» глаголицу, как это сделал в свое время В. И. Григорович [6]; в наши дни развивал эту точку зрения П. Я. Черных [7]. Однако и такое толкование «русских письмен», как мне кажется, не имеет под собою достаточных оснований [8]. Более того, отсутствие непосредственной связи глаголицы с каким-либо другим алфавитом и отчетливо выраженный искусственный характер ее делают предположение о Константине-Кирилле как создателе глаголицы наиболее убедительной и правдоподобной научной гипотезой. В этом, кажется, не сомневается и С. А. Высоцкий, принимая концепцию Э. Георгиева. Таким образом, ссылка на «русские письмена», которые сами представляют собой одну из загадок кирилломефодианы, не вносит никакой ясности в вопрос о дохристианской письменности у восточных славян.

Вслед за «русскими письменами» важнейшим доказательством существования самобытной письменности у восточных славян признаются договоры русских с греками. Бесспорно, что не только сами договоры, дошедшие до нас в составе «Повести временных лет», но и содержание некоторых их статей свидетельствуют о том, что письменность на Руси имелась задолго до официального принятия христианства. Однако признание этого факта никак не может служить доводом в пользу того, что договоры русских с греками были написаны архаичным докирилловским письмом, которое, как предполагает С. А. Высоцкий, Нестор «смог прочитать» и «вписать современной ему кириллицей в летопись» [9].

В своих рассуждениях о договорах Руси с греками С. А. Высоцкий неоднократно ссылается на исследование С. П. Обнорского, но при этом совершенно упускает из вида, что последний писал о языке переводов.

[4] С. А. Высоцкий, Древнерусская азбука из Софии Киевской, стр. 135.
[5] Д. С. Лихачев, Возникновение русской литературы, М.— Л., 1952, стр. 21.
[6] См.: «Исследования и замечания о древних памятниках старославянской литературы», СПб., 1856, стр. 44.
[7] П. Я. Черных, Язык и письмо, в кн.: «История культуры древней Руси», II, М.— Л., 1951, стр. 133—134.
[8] Т. А. Иванова, Еще раз о «русских письменах», «Советское славяноведение», 1969, 4.
[9] С. А. Высоцкий, Древнерусская азбука из Софии Киевской, стр. 138.

Вместе с тем выводы С. П. Обнорского в этом отношении чрезвычайно важны. «Языковой анализ,— писал Обнорский,— ... заставляет предполагать, что перевод договора 912 г. был сделан болгарином и на болгарский (т. е. старославянский.— *Т. И.*) язык, но этот перевод был выправлен русским справщиком. Напротив, переводчиком договора 945 г. должен был быть русский книжник, соответственно и отразивший в переводе смешение и русской и болгарской к н и ж н о й (разрядка моя.— *Т. И.*) стихии» [10].

Если принять эти выводы С. П. Обнорского, то, хотя время перевода с греческого договоров русских с греками «приблизительно должно было совпадать со временем фактического заключения соответствующих дипломатических актов» [11], они никак не могли быть написаны еще не вполне славянизированным греческим алфавитом. Напротив, есть все основания полагать, что они были написаны уже совершенно устроенной славянской азбукой. Так, в именах русских послов, которые несомненно находились в подлиннике договоров и не могли появиться в результате позднейшей правки, широко представлены дополнившие греческий алфавит славянские буквы: ѕ, ѧ, ѣ, ѥ, ц, ч. Ср.: Улѣбъ, Каницаръ, Шихъбернъ, Куци, Свѣнь, Боричь и др. [12].

Наконец, наиболее важным для С. А. Высоцкого доказательством существования самобытной письменности у восточных славян в дохристианское время является надпись X в. на корчаге из Гнездовского кургана. С. А. Высоцкий исходит из того прочтения гнездовской надписи, которое предложили Д. А. Авдусин и М. Н. Тихомиров [13] и которое вскоре было отвергнуто как неудовлетворительное с лингвистической точки зрения. Правда, он ссылается и на прочтение этой надписи, предложенное П. Я. Черных: *гороушна*, а не *гороухща* [14], но вместе с тем палеографическому анализу подвергает начертание ц, а не ш. Заметим, что не только П. Я. Черных читал этот знак не как кирилловское ц. Так, В. Ф. Мареш увидел в нем греч. «пси»: гоρоγχψа [15], что было отвергнуто, однако, А. С. Львовым. Но чтение, которое предлагает А. С. Львов,— искаженная форма субстантивированного причастия гоρоγица из гоρжца,— предполагает форму старославянскую, а не русскую по происхождению. Ср совр. русск. *горючее* [16].

Как бы там ни было, С. А. Высоцкий, сопоставляя это начертание с предпоследним знаком из Софийской азбуки, отмечает, что оба они совпадают с буквой ц древнейших русских рукописей, так как средняя мачта этой буквы имеет длинный хвост, далеко выходящий за пределы строки, в то время как в древнейших болгарских рукописях буква ц или вся размещается в строке, или хвост средней мачты незначительно выходит за ее предел. Установленное отличие позволяет С. А. Высоцкому сделать предположение, что эта палеографическая особенность древнерусских рукописей является следом архаичного местного восточнославянского алфавита, каким была написана гнездовская надпись и который в XI в. был воспроизведен на стене Софийского собора в Киеве.

---

[10] С. П. О б н о р с к и й, Язык договоров русских с греками, в кн.: С. П. О б н о р с к и й, Избр. работы по русскому языку, М., 1960, стр. 119—120.

[11] Там же, стр. 120.

[12] «Повесть временных лет», I, М.— Л., 1950, стр. 34—35.

[13] Д. А. А в д у с и н, М. Н. Т и х о м и р о в, Древнейшая русская надпись, «Вестник АН СССР», 1950, 4, стр. 75.

[14] П. Я. Ч е р н ы х, К вопросу о гнездовской надписи, ИАН ОЛЯ, 1950, IX, 5.

[15] F. V. M a r e š, Dva objevy starých slovanských nápisů, «Slavia», 1951, XX, 4, стр. 507.

[16] А. С. Л ь в о в, Еще раз о древнейшей русской надписи из Гнездова, ИАН ОЛЯ, 1971, XXX, 1.

Следы этого архаического восточнославянского письма С. А. Высоцкий усматривает и в берестяных грамотах. Касаясь необычного употребления букв *о* и *е* вместо конечных ъ и ь, он пишет: «Нельзя ли в этом явлении увидеть графический архаизм, который отражает тот этап древнерусской письменности, когда она еще не имела специальных знаков ъ, ѣ для обозначения глухих гласных, вместо которых писались о, е?» [17].

Однако подобная графическая мена конечных ъ и ѣ на о и е находит отражение в берестяных грамотах лишь с XIII в. и особенно последовательно проводится в документах XIV—XV вв., что, по словам Р. И. Аванесова, «говорит, видимо, о поздней утрате редуцированных в новгородском диалекте, что вполне согласуется с ранее принятыми данными истории русского языка» [18]. В наиболее же архаичной грамоте № 9 (от Гостяты к Василию) «сохранены слабые редуцированные, отсутствуют о и е на месте сильных редуцированных и нет написаний с ѣ вместо ъ и ъ вместо ѣ» [19]. Кроме того, исследовавшая палеографию берестяных грамот Л. П. Жуковская как характерную их особенность отмечает предпочтительное начертание буквы ц, полностью умещающееся в строке. «Такие начертания,— заключает Л. П. Жуковская,— свойственны лишь самым древнейшим памятникам, написанным чернилами. В берестяных грамотах они сохраняются довольно долго» [20].

Следовательно, одно из основных отличий «местного» восточнославянского дохристианского письма от болгарской кириллицы, которое установил С. А. Высоцкий, на самом деле таковым признано быть не может. Более того, А. С. Львов, снова подвергший эту надпись палеографическому анализу, пришел к выводу, не лишенному оснований, что гнездовская надпись в начертании некоторых букв (ѣ, о, ц) близка к глаголице и, по-видимому, «отражает ту стадию развития кириллицы, когда в нее (собственно, в греческий алфавит) в Болгарии после 885 г. вначале почти без изменения, а потом видоизменяя под стиль греческих унциальных букв, включали глаголические буквенные знаки...» [21].

С. А. Высоцкий пытается объяснить и то, почему в открытую им азбуку вошло лишь 4 славянских буквы: б, ж, ш, ц. Ему кажется, что эти добавочные буквы были «необходимы в первую очередь для славянского письма» [22]. Остальные же звуки, которые, по Храбру, были трудны для письма «без устроения», могли передаваться приближенно при помощи комбинации разных греческих букв. Но ведь приближенно при помощи греческих букв могли передаваться и вышеназванные звуки. Ср. славянские названия соответствующих букв в греческой транскрипции в так называемом Бандуриевом сказании: μπούκη, ζηβήτ, σάα, σθία [23].

Кроме того, отсутствие в открытой азбуке букв «зело» и «пси» С. А. Высоцкий объясняет тем, что они «употреблялись преимущественно в качестве цифр» [24]. Но ведь не только эти буквы преимущественно употреблялись в цифровом значении, эта же особенность отличала «фиту» и «кси». Почему же они, занимая свои греческие места, имеются в граффито? При этом следует заметить, что если ѳ и ξ употребляются как буквы лишь в заимствованных словах, то употребление ѱ широко отражено в

[17] С. О. Высоцький, Деякі риси давньоруської писемності IX—X ст. за археологічними пам'ятками, стр. 11.

[18] См.: «Палеографический и лингвистический анализ новгородских берестяных грамот». М., 1955, стр. 86.

[19] Там же, стр. 81.

[20] Там же, стр. 77.

[21] А. С. Львов, указ, соч., стр. 50.

[22] С. А. Высоцкий, Древнерусская азбука из Софии Киевской, стр. 138.

[23] W. Regel, Analecta Byzantino-Russica, СПб., 1891, стр. 50.

[24] С. А. Высоцкий, Древнерусская азбука из Софии Киевской, стр. 137.

перфекте славянского глагола пьсати: ѱалъ. Достаточно в этом случае сослаться на ранее опубликованные С. А. Высоцким граффити Софийского собора [25].

Сам С. А. Высоцкий хорошо понимает, что его интерпретация Софийской азбуки вызывает много вопросов, целый ряд которых он в своих статьях и не поднимает. К числу их относится и такой существенно важный вопрос: если это местное восточнославянское письмо, то приходится допустить, что именно из этой азбуки заимствованы в кириллицу буквы ѣ, ж, ш, щ. Но вероятно ли это? Покойный Иван Гошев, опубликовавший древнейшие болгарские глаголические и кирилловские надписи, в специальной статье убедительно показал, как глаголические буквы, необходимые для передачи специфических славянских звуков, проникая в славянские надписи греческими буквами, постепенно видоизменялись под стиль греческого унциала, превращая греческую азбуку, употреблявшуюся, по Храбру, вначале «без устроения», в славянскую кириллицу [26]. И вряд ли это возможно опровергнуть.

Вместе с тем на граффито Киевской Софии можно взглянуть с иной точки зрения, которая позволяет снять неясности и противоречия, вытекающие из предположения С. А. Высоцкого.

Следует ли вообще отличие от кириллицы лишь в количестве букв считать достаточным основанием того, чтобы принять граффито за особую азбуку? Думается, что такому предположению препятствует уникальность надписи. Для того чтобы находку на стене Киевской Софии признать за особую азбуку, т. е. за определенный по составу и порядку следования букв их перечень, необходимо хотя бы однократное ее повторение. При отсутствии этого условия надпись на стене Софийского собора в Киеве представляется лишь неумелой попыткой не очень сведущего в славянской азбуке человека изобразить кириллицу. При этом автор граффито значительно лучше знал греческий алфавит, на который он сбился уже в самом начале, пропустив ж и вставив эту букву над строкой. Этим же объясняется отсутствие буквы ѕ, не входившей в греческий алфавит, греческие места букв ѳ и ξ, а также то, что «азбука» заканчивается ѡ.

Итак, надпись, открытая С. А. Высоцким, вряд ли может быть признана особой и самобытной древнерусской азбукой, представляющей попытку некоторой славянизации греческого алфавита.

---

[25] С. А. Высоцкий, Древнерусские надписи Софии Киевской XI—XIV вв., Киев, 1966, табл. V—VI, XXI, I—XXII, 1; XXIII—XXIV.

[26] Ив. Гошев, Развитие на негръцките кирилометодиевски буквени знации в т. нар. кирилица, в кн.: «Хиляда и сто години славянска писменост», София, 1963.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1972

Н. А. ЕСЬКОВА

О ПРИНЦИПАХ СОСТАВЛЕНИЯ РУССКОГО НОРМАТИВНОГО СЛОВАРЯ ОРФОЭПИЧЕСКОГО ТИПА

В настоящей статье рассматриваются основные вопросы, необходимость решения которых возникла в связи с коренным пересмотром словаря-справочника «Русское литературное произношение и ударение» [1]. Это следующие вопросы: 1) об объеме информации, которую целесообразно сообщать в словаре такого типа, 2) о составе словника такого словаря, 3) о литературной норме и ее отражении в словаре.

1. Словарь-справочник «Русское литературное произношение и ударение» (М., 1959) под редакцией Р. И. Аванесова и С. И. Ожегова (далее АО-59) имеет широко применяемое неофициальное наименование «орфоэпический словарь», как и предшествовавший ему опыт словаря-справочника «Русское литературное ударение и произношение» (М., 1955; далее АО-55); во вступительных статьях к этим словарям дается определение орфоэпии как совокупности норм устной речи — произношения и ударения.

Ориентация на понятие «орфоэпия» определяет в АО-55 подачу сведений грамматического характера. Указание на иные словоформы, кроме исходных, подчинено в этом словаре основной цели — сообщению сведений о произношении и ударении. Это сделано не вполне последовательно [2], на что обратил внимание рецензент словаря Л. В. Копецкий, подчеркнувший необходимость в принципе решить вопрос о месте грамматической информации в пособии по орфоэпии. Сам он склоняется к такому решению: «По-видимому, орфоэпический справочник должен давать последовательно указания и рекомендации о „правильном“ и „неправильном“ в языке вообще, о всех колебаниях и распространенных нарушениях произносительной нормы, которые могут проявляться, естественно, не только в основной форме слова, но и в любой форме изменяемых слов» [3].

В АО-59, созданном на основе АО-55, поставленный Л. В. Копецким принципиальный вопрос решен не был, но была значительно расширена грамматическая информация, не необходимая с «собственно орфоэпической» точки зрения. Словарь этот, по количеству сведений о неисходных словоформах превосходящий едва ли не все другие словари русского языка, дающие грамматическую информацию [4], еще более, чем АО-55, заслуживает упрека в непоследовательности.

---

[1] Работа ведется в Институте русского языка АН СССР под руководством Р. И. Аванесова.

[2] Например, для сведений о произношении и ударении не нужны такие приведенные в АО-55 словоформы: род. мн. *ю́ношей*, мн. *сосе́ди*, *-ей*, *-ям*, мн. *сту́лья*, *-ьев*, мн. *теля́та*, *-ят*, прош. *гас*, *-ла*, прош. *вверг*, *-ла*, деепр. *вы́терев* и *вы́терши* и т. п. Из парадигм существительных *игла́* и *игра́* следовало бы исключить словоформы родительного множественного *игл* и *игр*, оставив только *и́глы*, *и́глам* и *и́гры*, *и́грам*, и т. д.

[3] Л. К о п е ц к и й, [рец. на кн.:] «Русское литературное ударение и произношение. Опыт словаря-справочника», ВЯ. 1957, 2, стр. 119.

[4] Так, в этом словаре последовательно даются формы сравнительной степени на *-е* (включая некоторые малоупотребительные формы — типа *дерзче*, *метче*, *робче*), формы

Для оценки принятого в АО-55 принципа подачи грамматической информации необходимо представить себе, какое место занимают в языковой системе произношение и ударение.

Термином «произношение» принято обозначать совокупность тех черт реального звучания словоформ, которые считаются нерелевантными для морфологического описания. Описание морфем и слов обычно делают, представив их звуковой состав в тех единицах, которые непосредственно не даны в их реальном звучании и к которым приходят путем ряда операций — фонемах или морфонемах. С точки зрения произношения представляет интерес все то, что отличает состав словоформ, выраженный в таких единицах, от их реального звучания. Что же касается сведений о месте ударения в русских словоформах, то они, относясь к морфонологии, составляют органическую часть морфологического описания.

Произношение и ударение представляют собой, таким образом, принципиально разные явления. Их сближает в какой-то мере одно обстоятельство внешнего порядка. Русское письмо, как известно, близко передает фонемный (при другой точке зрения — морфонемный) состав словоформ. Между письменным отражением словоформ и их реальным звучанием существуют регулярные соответствия (в практическом плане именуемые «правилами чтения») и менее регулярные соотношения, диктующие необходимость индивидуальных указаний для определенных групп словоформ и даже для отдельных словоформ — так называемых «произносительных помет». Таким образом, переход от орфографического облика словоформ к их реальному звучанию невозможен без некоторой совокупности сведений, относящихся к произношению. Он невозможен и без дополнительной информации о месте ударения в словоформах (в русском письме знак ударения не используется). Эта необходимость в дополнительной произносительной и акцентологической информации дает право на существование прикладной дисциплины, занимающейся произношением и ударением в аспекте правильности, т. е. орфоэпии [5].

Опыт АО-55 и АО-59 показывает, что ориентация на понятие «орфоэпия» при установлении того, какая грамматическая информация должна быть представлена в словаре, приводит к решению, которого очень трудно придерживаться последовательно (не случайно непоследовательность АО-55 в АО-59 не устранена, а усилена). Вычленение «орфоэпически необходимого» набора словоформ из всей совокупности словоформ парадигмы оказывается неоправданным с точки зрения системных грамматических отношений. С практической точки зрения такое решение также сомнительно.

Является ли ориентация на понятие «орфоэпия» необходимым отправным пунктом при создании словаря такого типа, как АО-55 и АО-59? Самая существенная черта обсуждаемых словарей — то, что они не являются толковыми (заметим, что они не являются также и орфографическими, т. е. специально не решают задач, связанных с письменной передачей словоформ) [6]. Речь идет, таким образом, о нетолковом нормативном словаре, и следует решить, какой его вариант — с точки зрения объема сообщаемой информации — наиболее целесообразен. К ответу на этот вопрос можно прийти, ориентируясь на представление

деепричастий совершенного вида некоторых глаголов непродуктивных классов, образуемые с помощью суффиксов *-ши* или *-я* (*влезши*, *вползши*, *извлекши*, *подметя*, *принеся*, *отведя* и т. п.), последовательнее, чем в других словарях, представлены нестандартные формы причастий и др.

[5] Здесь отражено то понимание орфоэпии, которого придерживается Р. И. Аванесов (см. «Русское литературное произношение», 4-е изд., М., 1968, стр. 8).

[6] Следует отдать себе отчет в том, что подобным лексикографическим изданиям лишь условно может быть присвоено название «словарь», поскольку в них нет характерной для словаря двучленности (слово — толкование или перевод и т. п.).

о некотором полном словарном описании языка. Реально такого описания (по крайней мере для русского языка) не существует, но те словари, которые принято именовать толковыми, в какой-то мере к нему приближаются. В идеале толковый словарь должен представлять собой полное синхронное описание языка в словарной форме. Каждая словарная статья в составе такого описания должна содержать исчерпывающий набор сведений о соответствующем слове. Естественно, должны быть исчерпывающе охарактеризованы как внутренняя сторона языкового знака (означаемое), так и внешняя (означающее). Сведения, относящиеся к означающему, для русского слова складываются, по-видимому, из: 1) сведений о фонемном составе каждой словоформы соответствующей парадигмы, 2) сведений о ее акцентовке, 3) сведений о реальном звучании каждой словоформы в речи, т. е. о ее произношении.

Словарь обсуждаемого типа не может выходить за пределы сведений, относящихся к внешней стороне языкового знака, но он может ставить своей задачей сообщать эти сведения в максимально полном объеме, не внося тех ограничений, которые диктуются ориентацией на понятие «орфоэпия». Определенные ограничения оказываются все же целесообразными. В словаре рассматриваемого типа легко сообщать только те сведения о внешнем устройстве парадигм, которые не нуждаются в привлечении содержательной информации [7]. Указания на парадигматические различия, однозначно определяемые сведениями содержательного характера, в рамках данного словаря связаны с большими трудностями. Так, было бы чрезвычайно затруднительно представить в нетолковом словаре различия парадигм одушевленных и неодушевленных существительных (ср. вин. ед. и мн. от *рыбак* и *кабак*: *рыбака*, *рыбаков* и *кабак*, *кабаки*), так как для этого в ряде случаев требуется дифференцированная подача разных значений слова (ср., например: *кулак* «кисть руки, сжатая для удара» и «зажиточный крестьянин, эксплуатирующий односельчан», *лицо* «передняя часть головы человека» и «человек как отдельный индивидуум», *пугач* — «игрушечный пистолет» и «лесной филин» и т. п.). То же относится к случаям, когда состав словоформ парадигмы неодинаков у слов разной семантики (ср. парадигмы существительных *роза* и *проза*, первое из которых включает словоформы единственного и множественного числа, а второе — только единственного), где тоже не обойтись без дифференциации разных значений слова (ср. *мелочь* «разменная монета» и «пустяк»; в первом значении множественное число отсутствует).

Указанные ограничения в подаче сведений о внешней стороне словоформ определяются не столько принципиальными, сколько практическими соображениями. Вырисовывающаяся из предшествующего изложения разновидность словаря теоретически представляет собой некоторую совокупность извлечений из исчерпывающего словарного описания [8]. Если бы такое описание реально существовало и практическая задача сводилась к извлечению из него готовых сведений, вопрос о том, каким кругом сведений следует ограничиться, ставился бы не так, как приходится его ставить при современном состоянии лексикографической практики. Многих сведений о словах, тесно связанных с раскрытием их значений, не содер-

[7] Конечно, в ряде случаев нельзя обойтись без минимальных указаний на семантические различия. Это относится, например, к словам с омонимичными исходными словоформами и парадигматическими различиями (*óбраз* «икона» — *образá*, *-óв* и *óбраз* «облик, подобие» — *óбразы*, *-ов*), к словам с тождественным фонемным составом при различной акцентовке (типа *мýка* — *мукá*, *зáмок* — *замóк*).

[8] Ср.: «С точки зрения лексикографической Справочник представляет выделенную из словарных статей или, точнее, из грамматического комментария этих статей (толковых, нормативных или больших двуязычных словарей) произносительную и акцентную части» (Л. Копецкий, указ. соч., стр. 117).

жится ни в одном из существующих толковых словарей. Так дело обстоит, в частности, и с указанием на некоторые внешние парадигматические различия, определяемые содержательными сведениями (например, ни один словарь не содержит данных об одушевленности — неодушевленности существительных). Пытаться впервые дать такие указания в нетолковом словаре вряд ли имеет смысл. Составление словаря, сообщающего ограниченные сведения, при невозможности извлечь их в готовом виде из «более полного» словаря, обязывает к самостоятельному решению ряда задач, и имеет смысл вычленять только такие задачи, которые целесообразно решать отдельно. С этой точки зрения представляется актуальным создание словаря, сообщающего последовательно и исчерпывающе [9] сведения, относящиеся к внешней стороне словоформ. Как известно, существующие толковые словари в этом отношении не вполне надежны [10]. Отдельное решение этой задачи в нетолковом словаре (где ее решить практически легче) могло бы иметь значение для последующих толковых словарей, при составлении которых можно было бы воспользоваться готовыми сведениями.

Допустимо ли, чтобы за словарем установленного типа, т. е. за таким словарем, в котором бы (в оговоренных выше границах) исчерпывающе сообщались сведения о внешнем устройстве парадигм, а также сведения о произношении, было сохранено название «орфоэпический словарь»? Такое наименование словаря вполне закономерно, если придерживаться «широкого» понимания орфоэпии, в соответствии с которым орфоэпическим является всякий вопрос правильного звучания слова, независимо от того, закономерностями какого языкового уровня эта правильность определяется. (С этой точки зрения в ведение орфоэпии входит, например, оценка словоформ *делов*, *хужее*, *ездию* [11]). Если же не выходить за пределы наиболее привычного в наше время понимания орфоэпии как совокупности норм произношения и ударения, приходится признать, что предлагаемый здесь тип нетолкового нормативного словаря решает более широкий круг задач, чем собственно орфоэпические. Но все же орфоэпическая информация в нем безусловно преобладает. Поэтому если бы такому словарю было присвоено название орфоэпического, степень допущенной неточности была бы не очень значительной [12].

2. Словник словаря рассматриваемого здесь типа вряд ли целесообразно составлять из расчета полного охвата лексики, так как при этом в него будут включены многие десятки тысяч слов, не имеющих никаких особенностей во внешнем облике словоформ и целиком укладывающихся в стандартные морфологические и акцентные схемы. Для этого словаря должен быть выработан особый принцип отбора слов, отличающийся от того, который применяется при составлении толковых и двуязычных словарей с неполным охватом лексики. Отбор должен производиться так, чтобы словарь максимально полно охватил слова, обладающие теми или иными особенностями внешней структуры. В первую очередь это касается слов,

---

[9] Что, естественно, не исключает сокращенной формы подачи.

[10] См. об этом: А. А. Зализняк, Русское именное словоизменение, М., 1967, стр. 106—107.

[11] Такое понимание орфоэпии восходит к античной традиции (см. определение этого термина в «Словаре лингвистических терминов» Ж. Марузо).

[12] А может быть, неточности и вообще нет? Объектом орфоэпического словаря (как и любого лингвистического) являются слова, которые, конечно, не равны исходным словоформам, традиционно используемым в качестве заголовков словарных статей, а представляют собой совокупности словоформ, образующих парадигмы. Не обязывает ли это обстоятельство к тому, чтобы любой лингвистический словарь давал представление обо всей совокупности словоформ, составляющих парадигму? Тогда это требование должно быть предъявлено и орфоэпическому словарю.

составляющих закрытые ряды, т. е. тех слов, которые должны быть заданы списком в грамматическом описании, претендующем на полноту. Сюда относятся, в частности, слова всех частей речи с подвижным ударением, глаголы непродуктивных классов, существительные и прилагательные, парадигмы которых включают словоформы, отклоняющиеся от морфологического стандарта [13]. Следует стремиться максимально полно представить и такие слова, парадигмы которых не определяются однозначно исходными словоформами или включают в себя отдельные формально непредсказуемые словоформы [14]. Конечно, с максимальной степенью полноты должны быть охвачены слова, о произношении которых нельзя полностью судить на основании их орфографического облика, т. е. такие, которые нуждаются в произносительных пометах.

Приняв такой принцип составления словника, следует помнить о возможности взаимодействия разных морфологических и акцентных типов. Так, существуют слова с неподвижным ударением, имеющие основы такого строения, которое определяет возможность воздействия на них определенных типов подвижного ударения [15]. Подобные проницаемые для тех или иных воздействий группы слов при составлении словника должны быть на особом учете. Не следует упускать из виду и возможность акцентного взаимодействия словообразовательных типов, которое является одним из источников возникновения колебания ударения [16]. Предлагаемый принцип организации словника (изложенный здесь очень кратко) обеспечивает включение в словарь всех «сомнительных» и «трудных» слов (с точки зрения произношения, ударения, формообразования).

Какое решение следует принять в отношении слов, не обладающих перечисленными выше признаками, т. е. таких, внешняя структура которых целиком определяется стандартными схемами и застрахована от воздействий, а произношение может быть установлено на основании орфографического облика? Должны ли они остаться за пределами словаря рассматриваемого типа? Такое решение, очевидно, возможно. При этом достигается максимальное сокращение объема словника — и только

[13] В их число входят, в частности: существительные мужского рода с нулевой флексией в родительном множественного (например: *ампер, ватт, вольт*; *валенок, сапог, чулок, погон*; *солдат, партиван*; *грузин, осетин, румын, башкир*); существительные 1-го склонения, имеющие словоформы родительного множественного с флексией *-ей* вместо морфонологически закономерной нулевой (*юношей, распрей, рохлей, саклей, офеней, дядей* и т. п.); прилагательные с нестандартным соотношением между краткой формой мужского рода и остальными словоформами (типа *безукоризнен — безукоризненна, легкомыслен — легкомысленна*; стандартное соотношение представлено в словоформах с беглыми гласными типа *обыкновенный — обыкновенен*).

[14] Сюда относятся: все существительные с основами на мягкие и шипящие согласные и нулевой флексией в именительном падеже единственного числа, так как у них парадигма формально невыводима из исходной словоформы (ср.: *нехристь — нехристя — нехристем* и *нечисть — нечисти — нечистью*); все существительные pluralia tantum, так как у них словоформы родительного падежа не могут быть формально выведены из именительного (ср.: *дебаты — дебатов* и *хлопоты — хлопот*).

[15] Существует, например, тенденция распространения подвижного ударения схемы *c* (по А. А. Зализняку) на существительные мужского рода с неподвижным ударением на односложной основе (реализация этой тенденции в профессиональной речи и в просторечии дает такие варианты словоформ множественного числа, как *шумы́, -о́в, краны́, -о́в* и т. п.). Существительные мужского рода с неподвижным ударением на двусложной начальноударной основе также проницаемы для схемы *c*, но при этом именительный множественного имеет непременно флексию *-а́* (см. такие ненормативные словоформы, как *выходá, -о́в, плинтусá, -о́в*, и т. п.).

[16] Так, колебание ударения в случаях типа *запáсный — запаснóй, переводнóй — переводнóй, отводнóй — отводнóй* объясняется акцентным взаимодействием отыменных и отглагольных образований: *переводный* от *перевóд* и *переводнóй* от *переводúть* и т. д. Колебание ударения в сложных словах *кило́метр, милли́метр* и др. вызвано воздействием на них образований с «суффиксоидом» *-метр*, оформляющим названия приборов: *спидóметр, барóметр, арифмóметр* и т. п.

за счет слов, не вызывающих у говорящих затруднений. Однако лексический состав языка получил бы в этом случае в словаре крайне однобокое отражение, причем эта однобокость не имела бы и узко утилитарного оправдания. Реализация изложенного выше принципа отбора слов приводит к включению в словарь также и многих тысяч слов, практически не являющихся «трудными», но имеющих такую внешнюю структуру, которая делает их потенциальными участниками происходящих в языке процессов взаимодействия и взаимовлияния [17]. Словник составляется, таким образом, с большим «запасом», и это определяется в первую очередь не практическими соображениями, а ориентацией на системные отношения — морфологические и акцентные. Можно, очевидно, ожидать от словаря рассматриваемого типа (не являющегося словарем неправильностей или трудностей со словником всего в несколько сот слов) известной «представительности» по отношению к лексике языка в целом; поэтому желательно включить в него наиболее употребительные слова — независимо от наличия у них тех или иных внешних особенностей. Четких критериев для такого отбора не существует, в связи с чем эта не строго обязательная часть словника может получиться больше или меньше — с колебаниями в пределах нескольких тысяч слов [18].

3. Еще не изжито полностью противопоставление нормативного подхода к языковым явлениям их научному описанию, находившее столь мощную опору в знаменитой фразе А. А. Шахматова: «Странно было бы вообще, если бы ученое учреждение вместо того, чтобы показывать, как говорят, решалось указывать, как надо говорить». Даже известная статья А. М. Пешковского, показывающая с полной убедительностью настоятельную потребность общества в нормализаторской деятельности лингвистов, не снимает полностью представления о том, что нормативный подход не научен. Сравнительно недавнее высказывание, показывающее живучесть этой точки зрения, принадлежит А. Мартине: «...понятие „научный“ противопоставляется понятию „предписывающий“. Что касается лингвистики, то здесь особенно важно настаивать на научном, не предписывающем характере исследования: ввиду того, что предметом этой науки является человеческая деятельность, у лингвиста может возникнуть искушение вместо беспристрастного наблюдения заняться языковым регламентированием: перестать замечать, как и что говорится в действительности, с тем чтобы указать, как и что следует сказать» [19].

Такому взгляду противостоит иная точка зрения: «Некоторые думают, что нормативный словарь не может быть научным, и готовы противополагать нормативный словарь описательному. Это недоразумение: хороший нормативный словарь не придумывает нормы, а описывает ту, которая существует в языке, и уж ни в коем случае не должен ломать эту последнюю. Может быть, норму иногда трудно подметить, но это уже несчастье исследователя и не имеет никакого отношения к принципиальной стороне дела» [20]. По определению А. М. Пешковского, «объективной

[17] Среди слов, подлежащих включению в словарь, были упомянуты существительные мужского рода с неподвижным ударением на односложной основе как подверженные воздействию подвижного ударения (схемы *c*). Практически многие сотни таких существительных не захвачены этой тенденцией (например: *бак*, *взрыв*, *внук*, *вал*, *залп*, *звук*, *злак*, *знак* и т. п.).

[18] Например, такие слова, как *базар*, *бульвар*, *вагон*, *гитара*, *диван*, *журнал*, *канал*, *контора* и т. п. непременно должны войти в словарь (если будет принято предложенное решение). Но вряд ли можно с той же степенью уверенности высказаться в пользу включения в словарь, например, слов: *бедокур*, *липучка*, *подковырка*, *русофил* и т. п.

[19] А. Мартине, Основы общей лингвистики, «Новое в лингвистике», III, М., 1963, стр. 369.

[20] Л. В. Щерба, Опыт общей теории лексикографии, «Избр. работы по языкознанию и фонетике», I, Л., 1958, стр. 64—65.

точкой зрения на предмет следует считать такую точку зрения, при которой эмоциональное и волевое отношение к предмету совершенно отсутствует, а присутствует только одно отношение — познавательное» [21]. Объектом такого отношения может быть и языковая норма — если смотреть на нее как на объективно существующее явление, неотъемлемо присущее языку. Тогда следует говорить не о противопоставлении нормативного описания научному, а о противопоставлении разных типов научного исследования: таких, где норма сама является объектом исследования или нормативная квалификация фактов так или иначе учитывается (это обычно для синхронных описаний), и, с другой стороны, таких, в которых норма принципиально игнорируется (это характерно, например, для сравнительно-исторических исследований, для исследований, выполненных методом внутренней реконструкции).

Проблема нормы возникает только тогда, когда существует возможность выбора из разных средств выражения, предоставляемых языковой системой [22]. Этот осуществленный выбор и есть, в сущности, то, что называют нормой. Поскольку такой выбор неизбежно производится каждым говорящим, любая индивидуальная речевая практика характеризуется своими «нормами». Составителя нормативного словаря интересует некоторая усредненная норма — совокупность норм, принимаемых коллективом говорящих, которые квалифицируются как «носители литературного языка». Литературная норма не может быть извлечена из речевой практики некоего «идеального» носителя языка или небольшой группы таких носителей. Ее исследование требует привлечения огромного количества фактов, извлеченных из разнообразных источников, относящихся как к письменной, так и к устной речи.

Наши современные знания о литературной норме и методы ее изучения еще очень несовершенны. Не выработано еще четких критериев для определения того, кого считать носителем литературного языка, а без этого невозможна серьезная постановка вопроса об установлении нормы на основе массовых статистических обследований. Приходится констатировать, что современный исследователь вынужден довольствоваться весьма далеким от совершенства (чтобы не сказать «кустарным») способом установления литературной нормы. Ему, в сущности, доступно лишь следующее: используя все известные ему факты, учитывая все выявленные системные отношения, представляя себе в каждом отдельном случае направление развития языка, составить собственное субъективное представление о том, каково в настоящий момент объективное состояние литературной нормы. Представление это тем ближе к истине, чем больше учтено фактов (и, естественно, чем «доброкачественнее» материал), чем лучше изучена система литературного языка и, наконец, чем выше профессиональные качества исследователя (в частности, его языковое чутье). Такая субъективность — субъективность специалиста, профессионально отвечающего за принимаемые им решения, конечно, совсем не то, что субъективность обычного носителя языка, часто склонного к тому, чтобы считать свою индивидуальную речевую норму единственной и не подлежащей оспариванию. Субъективное представление квалифицированного исследователя в той или иной степени приближается к объективному положению вещей. К этому случаю в известной мере приложимо то, что в свое время писал Г. О. Винокур в возражение Б. В. Томашевскому, говорившему о «глубоком субъективизме» филологического метода критики тек-

[21] А. М. Пешковский, Объективная и нормативная точка зрения на язык, «Избр. труды», М., 1959, стр. 50.

[22] Ср.: Ф. П. Филин, Несколько слов о языковой норме и культуре речи, «Вопросы культуры речи», VII, М., 1966, стр. 17.

ста: «Субъективизм этот... покоится на прочных и рациональных научных основаниях, на законах понимания, и в тенденции своей, в идеале, к которому он устремлен, дает знание объективное, строгое и точное» [23].

Взгляд на норму как на объективно присущее языку явление, если придерживаться его последовательно, существенным образом влияет на решение некоторых конкретных вопросов нормализации, в частности, на подход к языковым вариантам. Распространенная нормализаторская установка (которую хочется назвать «нормализаторским предрассудком») заключается в том, чтобы по возможности избегать в нормативном описании вариантов словоформ [24]. Эта установка достаточно отчетливо выражена в АО-55 и АО-59. Во вступительной статье к АО-55 сказано: «Варианты в произношении и ударении отдельных слов, как правило, не даются, так как словарь имеет целью рекомендовать произношение и ударение, соответствующее нормам современного русского литературного языка. Однако в необходимых случаях даются варианты, обычно с особыми пометами» (стр. 9). Вступительная статья к АО-59 содержит следующую формулировку: «Настоящий словарь является нормативным словарем. Это значит, что он ставит целью устранить колебания в области произношения и ударения, рекомендуя основной, правильный вариант» (стр. 7). В предисловии к АО-55 наличие в словаре известного количества вариантов объяснено так: «При настоящем состоянии науки о нормах русского литературного языка не представлялось возможным провести нормализацию более строго, чем это сделано в словаре. Дальнейшая научно-исследовательская работа поможет глубже понять исторические закономерности развития русского литературного произношения и ударения и откроет новые перспективы в нормализации устной речи» (стр. 4) [25]. Идеалом нормализации оказывается, таким образом, полное «избавление» от вариантов, а наличие их в существующих словарях оборачивается едва ли не признанием беспомощности составителей, свидетельством недостаточной изученности соответствующих языковых явлений.

Разделяя нормализаторскую установку составителей АО-55, Л. В. Копецкий рассматривает как «шаг вперед по пути нормализации русского литературного языка» рекомендуемое этим справочником ударение *гóдны, крýпны, мúлы, нóсы* вместо двоякого (*гóдны* и *годны́* и пр.) [26], дававшегося в Академической грамматике и словаре С. И. Ожегова. В действительности эти рекомендации АО-55 являются шагом назад в отражении русской литературной нормы. Чтобы убедиться в этом, необходимо обратиться к соответствующему языковому явлению.

Специальное исследование кратких форм прилагательных с подвижным ударением (проведенное автором этой статьи на материале главным образом стихотворных текстов XVIII — XX вв.) позволяет установить, что за последние 50—60 лет краткие формы множественного числа таких прилагательных изменили акцентовку. Широкое распространение получили варианты этих словоформ с ударением на флексии, которое пока не вытесняет старого ударения на основе. По крайней мере для нескольких десятков наиболее употребительных прилагательных такого типа нормой должно быть признано равноправное сосуществование вариантов: *бедны́* и *бéдны, бледны́* и *блéдны, близки́* и *блúзки, верны́* и *вéрны, горды́* и *гóрды, грустны́* и *грýстны, дружны́* и *дрýжны, нежны́* и *нéжны, стройны́* и *стрóйны, тверды́* и *твёрды, чисты́* и *чúсты, ясны́* и *ясны* и т. п. Это явление до

[23] Г. О. Винокур, Критика поэтического текста, М., 1927, стр. 60.

[24] Вот характерное высказывание: «... иногда даже приходится признать нормой самое наличие двух вариантов (хотя этого следует всячески избегать)» (Е. С. Истрина, Нормы русского литературного языка и культура речи, М.— Л., 1948, стр. 5).

[25] Ср. по существу тот же текст в АО-59.

[26] Л. Копецкий, указ. соч., стр. 116.

сих пор не получило адекватного лексикографического отражения. Впервые оно отражено в словаре под ред. Д. Н. Ушакова, но это сделано неполно и несистематично, а последующие словари и Академическая грамматика оказались едва ли не консервативнее и во всяком случае не более систематичными. Их рекомендации нуждались в существенном пересмотре, но в прямо противоположном направлении по сравнению с тем, что было сделано в АО-55.

В рассмотренном случае детальное изучение конкретного языкового явления убеждает в необходимости узаконить вариантность. В другом конкретном случае выводы могут оказаться противоположными, и в словаре окажется осуществлено то, что именуется в АО-59 «строгой нормализацией». Важно, чтобы в каждом отдельном случае словарь отразил столько вариантов, сколько реально функционирует в литературном языке, как можно точнее квалифицировав их соотношение [27].

Нередко задаются вопросом, должен ли нормализатор быть «консерватором», т. е. поддерживать старую норму и стремиться к тому, чтобы его деятельность способствовала некоторому замедлению языкового развития, или он должен быть «новатором» и способствовать утверждению нарождающихся норм. Обычно признается, что лексикографы-консерваторы полезнее, ибо литературный язык нуждается в стабильности. Последнее, несомненно, справедливо. Но вряд ли необходимо специально стремиться к этой цели: стабильности реально существующей нормы должна способствовать ее максимально точная кодификация.

Существуют специфические трудности описания нормы. Они связаны с тем, что в языке, кроме нормы и «не-нормы», существует множество переходных случаев. В жестких рамках словарного описания многообразие реальных фактов неизбежно должно быть сведено к ограниченному числу рубрик. Искусство составления словаря заключается в том, чтобы найти рубрики, которые смогли бы «вместить» в себя основные, наиболее типичные и существенные соотношения реальных фактов. Устанавливая «шкалу нормативности», необходимо разработать систему оценки таких фактов, которые не выходят за пределы нормы, но находятся как бы на ее периферии. Современные знания о нормах русского литературного языка не достигают той степени точности, которая позволила бы создать дробную шкалу оценок; поэтому целесообразно ограничиться небольшим количеством рубрик. Ниже предлагается система помет для оценки сосуществующих в пределах нормы вариантов, которая несколько отличается от принятой в АО-59. Нормативные рекомендации, иллюстрирующие предлагаемые рубрики, основаны на анализе системных отношений, учитывают тенденции развития литературного языка и «степень употребления при условии авторитетности источников» [28].

[27] Л. В. Щерба в полном соответствии со своей общей нормализаторской установкой решительно высказывался против запрещения вариантности в нормативном словаре: «Очень часто норма допускает два способа выражения, считая оба правильными. Нормативный словарь поступил бы в высшей степени неосторожно, если бы забраковал одну из них, руководствуясь чистейшим произволом или личным вкусом редактора...» (указ. соч., стр. 65). Ср.: К. С. Горбачевич, Границы современного в толковых словарях, «Русская речь», 1967, 2, стр. 20—21. Автор называет здесь «наивным заблуждением пуристского толка» попытки запретить один из сосуществующих в современном литературном языке вариантов, подчеркивая, что «их сосуществование (иногда и длительное) вызвано различными объективными причинами». К числу таких вариантов К. С. Горбачевич справедливо относит тип *искусствен — искусственен*. Вызывает удивление тот факт, что журнал «Русская речь», который в 1967 г. высказался в пользу отнюдь не пуристской позиции в вопросах нормализации, в 1971 г. предоставил свои страницы для наивной пуристской попытки запретить некоторые закономерно функционирующие в литературном языке варианты словоформ, в том числе — варианты типа *искусствен* (см. «Словарь произношения и ударения», № 4, стр. 153).

[28] Е. С. Истрина, указ. соч., стр. 19.

1. «Нулевая» нормативная помета, означающая признание двух вариантов в равной степени соответствующими литературной норме. Примеры: *волна́м* и *во́лнам*, *прожектора́*, *-о́в* и *проже́кторы*, *-ов*, *и́збу* и *избу́*, *петля́* и *пе́тля*, *сильны́* и *си́льны*, *и́скристый* и *искри́стый*, *глубоко́* и *глубо́ко*, *кру́жится* и *кружи́тся*, *сгруди́ться* и *сгру́диться*, *заржаве́ть* и *заржа́веть*, *бу́ден* и *бу́дней*, *грамм* и *гра́ммов*, *носо́к* и *носко́в*, *па́хнул* и *пах*, *свойственен* и *свойственен*, *ловче́е* и *ло́вче*, *чтят* и *чтут* [29].

2. Помета *доп.* («допустимо»), указывающая, что соответствующий вариант в меньшей степени отвечает норме, чем приведенный перед ним. Примеры: *ру́поры*, *-ов* и доп. *рупора́*, *-о́в*, *гру́бы* и доп. *грубы́*, *повтори́т* и доп. *повто́рит*, *премирова́ть* и доп. *премии́ровать*, *о́тдал* и доп. *отда́л*, *продана́* и доп. *про́дана*.

3. Помета *доп. устар.* («допустимо устаревающее»), дополнительно указывающая, что вариант в литературном языке постепенно утрачивается. Примеры: *груди́* и доп. устар. *гру́ди*, *деньга́м* и доп. устар. *де́ньгам*, *ре́кам* и доп. устар. *река́м*, *дру́жит* и доп. устар. *дружи́т*, *уме́ньшить* и доп. устар. *уменьши́ть*, *собра́лся* и доп. устар. *собрался́*, *заводско́й* и доп. устар. *заво́дский*.

Система, принятая в АО-59, имеет для оценки периферийных вариантов нормы пометы «допустимо», «устарелое», «разговорное». Две последние заключают в себе идею движения нормы: утрачивающийся вариант («бывшая норма») — развивающийся вариант («будущая норма»). Второе плохо связывается с пометой «разговорное»: она неизбежно воспринимается как стилистическая (вопреки замыслу составителей АО-59). Еще существеннее то, что подобная симметричная система вообще несостоятельна: если оценка варианта как устарелого (точнее — устаревающего) опирается на реальные факты, то признание его как перспективного для «будущей нормы» заключает в себе уже некоторую претензию на прогнозирование. Кроме того, остается неясным, как соотносятся пометы «разговорное» и «устарелое» с пометой «допустимо».

В соответствии с традицией, наметившейся в словарях неправильностей, в АО-55 и в АО-59 находят отражение не только нормативные факты, но и распространенные отклонения от нормы. Лингвистический смысл таких указаний заключается в значительном расширении круга фиксируемых языковых фактов без нарушения нормативной установки словаря. Часть находящихся за пределами литературной нормы вариантов квалифицируется как своего рода «норма» той или иной профессиональной сферы употребления (например: в профессиональной речи *искра́*, *ро́злив*, *грунты́*, у моряков *компа́с*, *рапо́рт*, *мичмана́*, у математиков *компле́кс*), другая часть (более значительная) получает лишь отрицательную характеристику (помета «не»). Этими запретительными указаниями объединяются очень неравноценные факты: как варианты, наличие которых в речи сигнализирует о недостаточном владении литературной нормой (например, *по́рт-фель*, *мага́зин*, *средства́*, *ходата́йствовать*, *намере́ние*, *поня́л*, *осталось*, *послала́*, *предло́жить* и т.п.), так и варианты, которые хотя и не соответствуют литературной норме, тем не менее встречаются в речи людей, в целом этой нормой вполне владеющих (к ним можно отнести, например, варианты

[29] При «нулевой» помете порядок следования вариантов незначим с точки зрения нормы (что очевидно при такой форме подачи: *кру́жится*, *ржаве́ть*, *пе́тля́* и т. п.). Целесообразно, однако, чтобы в случае системной неравноценности вариантов их последовательность была лингвистически мотивированной. В данном перечне примеров на первом месте везде приведен тот вариант, который находится в менее стандартных соотношениях с прочими словоформами парадигмы. Например, на первом месте приведены все те варианты, которые «создают» подвижное ударение или (при колебании между двумя типами подвижности) более сложную схему подвижности (см. *и́збу* — *избу́*).

зво́нит, *кило́метр*, *правы́* [30]). Картина была бы более точной, если бы эти случаи были разграничены. Для «грубых» отклонений от нормы можно предложить помету «неправильное» (или «нелитературное»). Неправильности второго типа можно было бы обозначить пометой «не рекомендуется». Разумеется, распределение всех фактов между этими двумя рубриками представляет большие трудности, так как и здесь есть свои «промежуточные случаи».

Последовательное стремление максимально точно отразить реальное состояние литературной нормы позволяет обнаружить одно явление, которое до сих пор не привлекало внимания исследователей. Кратким указанием на это явление мы и заключим данную статью. Речь идет о таких случаях, когда для конкретных словоформ в русском литературном языке вообще не существует нормы. Такое положение может сложиться для редко употребляемых (особенно в разговорной практике) словоформ, если их внешняя структура позволяет реализовать в них разные возможности языковой системы. Здесь это будет показано на примере ударения кратких форм женского рода прилагательных с односложной основой. Такая структура основы допускает и подвижное и неподвижное ударения, которые противопоставлены в краткой форме женского рода: *бе́дный — бедна́* и *свя́зный — свя́зна* [31]. Распределение между этими основными акцентными типами не обусловлено какими-либо особенностями внешней структуры основ прилагательных, а определяется исключительно «узусом». Оказывается, что тот выбор между разными системными возможностями, на котором основано существование в языке твердой нормы для конкретных словоформ, фактически не сделан по отношению к нескольким десяткам кратких форм женского рода прилагательных, причиной чего является их крайне низкая частотность. Таковы, например, словоформы: *броска*, *вертка*, *веска*, *катка*, *клейка*, *колка*, *стойка*, *терпка*, *тряска*, *хлёстка*, *цепка*, *чётка*, *шатка*, *смачна*, *чинна*, *дрябла* [32], акцентная норма которых не может быть установлена с той же степенью уверенности, как, к примеру, для словоформ *видна́*, *полна́*, *крепка́*, *ясна́*, *страшна́*, *чиста́* и др., отличающихся широкой употребительностью [33]. Словоформы того и другого типа занимают в языке разное место, и уравнивает их только лексикографическая традиция, в соответствии с которой все они имеют в словарях твердую норму. Следует специально

[30] Эти три случая не совсем одинаковы. Как известно, вариант *зво́нит* системно закономерен, и его утверждению как нормативного препятствует лишь длительное и настойчивое «общественное непризнание». Варианты же *кило́метр* и *правы́* могут быть отвергнуты как норма исходя из анализа внутрисистемных отношений. В свое время Г. О. Винокур проиллюстрировал вариантом *правы́* свою мысль, что то или иное ударение может быть оценено как правильное или неправильное «исключительно в меру общественно-культурной авторитетности тех, кто это ударение употребляет» («Из бесед о культуре речи», «Русская речь», 1967, 3, стр. 13). Но оказывается, есть и внутрилингвистические основания для запрещения варианта *правы́*.

[31] Существуют разные типы подвижного ударения прилагательных, различающиеся местом ударения в кратких формах среднего рода и множественного числа: *цел — цела́ — це́ло — це́лы*, *бе́ден — бедна́ — бе́дно — бедны́* и *бе́дны*, *бел — бела́ — бело́* и *бе́ло*, *белы́* и *бе́лы*. Их объединяет место ударения в форме женского рода, которым они противопоставлены неподвижному ударению (ср. *свя́зен — свя́зна — свя́зно — свя́зны*).

[32] Исследование, позволяющее сделать это утверждение, основано на материале картотеки по ударению Института русского языка АН СССР, отражающей очень широкий круг источников. Знаменательно, что в этом материале совсем не представлены или представлены единичными примерами многие десятки кратких форм женского рода прилагательных с односложной основой, причем есть случаи, когда при наличии всего двух примеров представлены обе акцентные возможности (*те́рпка — терпка́*, *дря́бла — дрябла́* и т. п.).

[33] Другая акцентная разновидность кратких форм женского рода — с ударением на основе — не представлена широкоупотребительными словоформами; к числу самых употребительных относятся словоформы *ве́чна*, *сно́сна*, *схо́жа*.

подчеркнуть, что «неизвестность нормы» — явление принципиально иное, чем равноправное сосуществование вариантов, о котором можно с уверенностью говорить только при широкой употребительности словоформы в речи.

Квалификация определенных словоформ как не имеющих в языке нормы — не свидетельство беспомощности исследователя и не показатель недостаточной изученности соответствующего явления. Дело обстоит как раз наоборот: обнаружить такие случаи позволяет только углубленное и детальное исследование. Различие между словами, имеющими в языке твердую норму и не имеющими ее, конечно, должно быть отражено в нормативном словаре. Практически решить эту задачу чрезвычайно трудно, но не следует на этом основании отказываться от ее решения, помня, что «трудность отыскания чего-либо не доказывает еще отсутствия искомого» [34].

[34] Л. В. Щ е р б а, указ. соч., стр. 70.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1972

В. С. МОЧОС

СОСТАВ И СТРУКТУРНЫЕ ПРИЗНАКИ ОСНОВНЫХ ГЛАГОЛЬНЫХ КЛАССОВ СОВРЕМЕННОГО ГРЕЧЕСКОГО ЯЗЫКА («ДИМОТИКИ»)

В настоящей статье автор ставит своей целью показать наиболее существенные сдвиги, наблюдаемые в составе основных глагольных классов современного греческого языка по сравнению с древнегреческим (доэллинистической эпохи), и отметить наиболее важные из процессов (например, процесс тематизации), обусловивших эти сдвиги и определивших структурный облик глагольного состава новогреческого языка.

В задачу автора не входило исчерпывающее описание структурных типов основ настоящего времени новогреческого глагола или построение схемы морфологической классификации основной массы глаголов современного языка. Варианты подобной классификации (опирающейся, как правило, на формальные взаимоотношения основы настоящего времени с основой аориста) имеются в ряде практических грамматик новогреческого языка, а также в некоторых работах, посвященных вопросам новогреческой морфологии [1]. Здесь обычно указываются отличительные формальные признаки, согласно которым глаголы современного языка (взятые как единицы синхронического плана) могут быть сгруппированы в определенные классы.

Автор настоящей статьи поставил перед собой несколько иную задачу, сделав попытку рассмотреть состав некоторых из этих классов с исторической точки зрения, выяснить, как образовался тот или иной класс, проанализировать структуру основы настоящего времени ряда современных глаголов (унаследованных еще от древнегреческого) с тем, чтобы показать внутренний механизм, источники и способы образования новых презентных основ в современном греческом языке. Поэтому ряд глаголов с «нестандартной» парадигмой — как, например, супплетивные образования (типа βλέπω «видеть», аорист εἶδα, или λέω «говорить», аорист εἶπα и др.), представляющие собой, несмотря на их большую употребительность, пережиточный класс, или «отложительные» глаголы (типа ἐργάζομαι «работать», ἐκμεταλλεύομαι «эксплуатировать» и др.), а также некоторые другие типы (в основном — «осколки» древнегреческих классов) в данной статье не рассматриваются.

При классификации глаголов древнегреческого языка принимаются во внимание в первую очередь особенности оформления основы настоящего времени, которые могут быть обусловлены различием исхода самих образующих основ (например, деноминативные вокалические презенсы τιμάω, φιλέω, δουλόω и презенсы типа κλέπτω, σπουάσσω, βαίνω, στέλλω и др., все образованные с помощью того же презентного суффикса *-j-*);

[1] См., например: A. Thumb, Handbuch der neugriechischen Volkssprache, Strassburg , 1895, стр. 76—77. A. Sofroniu, Modern Greek, London, 1962, стр. 66; A. Mirambel, Grammaire du grec moderne, Paris, 1949, стр. 146 и сл.; его же, La langue grecque moderne, Paris , 1959, стр. 173.

использованием разных суффиксов (ἀλύσκω, ἀλυσκάζω, ἀλυσκάνω), различиями в корневом вокализме основ — презентнсй и так называемой глагольной,— которые сводятся, в основном, к количественным чередованиям по схеме: нулевая (или ослабленная) ступень в глагольной основе (φυγ-) — полная ступень в презенсе (φευγ-) и др.[2].

Глаголы современного греческого языка сгруппировать полностью по тому же принципу не удается. Это является результатом совместных действий ряда факторов и тенденций (некоторые из них проявляются уже в классическую эпоху древнегреческого языка), которые постепенно привели к затемнению связи между основой настоящего времени и исходной (глагольной или именной) основой и в конечном счете — к забвению грамматической «внутренней формы» слова и изменению его морфемного членения.

Так постепенно произошло преобразование состава и структурных признаков основных глагольных классов. Несколько изменился и принцип классификации: наряду с моментом ударения (на основании которого выделяются в особый тип спряжения так называемые «слитные» глаголы), он включает также исход основы настоящего времени (т. е. элемент, непосредственно предшествующий личному окончанию) и связанные с этим особенности оформления основы аориста. Таким образом, речь уже не идет о глагольной основе: вместо нее выступает основа аориста.

Противопоставление этих двух основ — презенса и аориста, которое предельно дифференцировано в семантическом отношении, постепенно выдвинулось на первый план и в морфологической системе новогреческого глагола [3]. С этих пор в языке наблюдается тенденция к возможно более четкому внешнему оформлению данной оппозиции.

Достигается это самыми различными средствами. Одним из наиболее частых является преобразование старой основы настоящего времени, которое производится таким образом, чтобы противопоставление ее основе аориста было достаточно ясно выражено и по возможности подходило бы под схему одного из основных типов данной оппозиции. Большую роль при этом играет аналогия.

Примером может служить преобразование классов древнегреческих глаголов на -σσω/-ττω и на -πτω. Лишь очень незначительная их часть сохранилась в современном языке (димотике) в неизменном виде, и то преимущественно в составе сложных или приставочных глаголов, принадлежащих, как правило, к разряду слов, не очень употребительных в разговорном языке (ἀνκπτύσσω «развивать», ἀνακηρύσσω «провозглашать», ἀνακαλύπτω «обнаруживать», προκύπτω «вытекать, быть следствием», ἐξελίσσω «развивать» и т. п.). Связь с исходной основой (на заднеязычный или на губной) утратилась, и оппозиция типа ἀνακηρύσσω — ἀνακήρυξα, равно как и сам тип презенса на -σσω/-ττω представляется современному языковому сознанию чем-то необычным, не вполне «правильным». В димотике большинство глаголов этого класса оканчивается на -ζω: ἀλλάζω «изменять», διατάζω «приказывать», σπαράζω «биться, трепетать», ταράζω «тревожить», τινάζω «трясти», χαράζω «чертить», σουρίζω (σφυρίζω) «свистеть» и др.

---

[2] См.: П. Шантрен, Историческая морфология греческого языка, М., 1953, стр. 170—208; Ed. Schwyzer, Griechische Grammatik, I, München, 1939, стр. 672 и сл.

[3] О роли оппозиции «презенс/аорист» в перестройке глагольной системы греческого языка см.: A. Mirambel, Quelques problèmes de l' «aspect verbal» en grec byzantin, «Byzantinoslavica», 2, 1967; его же, Le diverses valeurs de l'aspect verbal en grec moderne, BSL, XXXIII, 1—3, 1932.

Это решение было подсказано самим древнегреческим языком, в котором часть глаголов на -σσω/-ττω имела параллельные формы на -ζω, например σφάζω и σφάττω «резать», ἀνᾰβράζω и ἀνᾰβράσσω «варить», ἁρμόζω и ἁρμόττω «скреплять, прилаживать», συρίζω и συρίττω «играть на сиринге, свистеть» и др.— по аналогии с глаголами типа ἁρπάζω «хватать», στάζω «капать», σαλπίζω «трубить», ἐλπίζω «надеяться», ὀνομάζω «называть» и др., где ζ представляла собой регулярное отражение взаимодействия индоевропейского суффикса -*j*-, образующего основы настоящего времени, с конечным заднеязычным или зубным исходной основы. Впоследствии в результате переразложения -άζω, -ίζω были выделены в качестве суффиксов, которые уже в древнегреческом широко использовались для образования презенсов от разных основ (др.-греч. и новогреч. ἀτιμάζω «позорить», δοκιμάζω «пробовать», ἡσυχάζω «быть спокойным, успокаиваться», σχηματίζω «образовывать, формировать», βηματίζω «шагать», ἀτμίζω «испускать пар», ἐξετάζω «рассматривать, исследовать» и др.). Современный язык не только сохранил многие из этих глаголов, но и пополнил их целым рядом новых — частично за счет преобразования прежних гласных основ (см. ниже), частично за счет вновь созданных глаголов (новогреч. ἀγωγιάζω «нанимать вьючное животное и погонщика», ἀδειάζω «быть свободным, освобождать», γυρίζω «поворачивать», σουβλίζω «насаживать на вертел», καφαλίζω «опалять», θρονιάζω «сажать на трон», καβουρδίζω «поджаривать» и др.).

В результате количество глаголов на -ζω в современном языке еще больше возросло по сравнению с древнегреческим. Этот класс презентных основ четко выделяется в качестве одного из основных, под схему которого язык стремится подвести менее употребительные типы. Зато гетерогенность состава данного класса дает о себе знать, когда дело доходит до образования аориста. Поскольку по внешнему облику глагола трудно определить происхождение ζ, а именно — скрывается ли за ней губной или заднеязычный, принадлежит ли он суффиксу или основе (ср. τινάζω и ἀτιμάζω, или σουρίζω и σουβλίζω), то от таких глаголов бывает нелегко образовать форму аориста. И целый ряд глаголов в димотике имеет для аориста параллельные формы на -σα и на -ξα (глаголы ἀγγίζω «касаться», βουίζω «шуметь, гудеть», ταιριάζω «подходить друг к другу, подбирать», σπουδάζω «учиться», στραγγίζω «выжимать, цедить», σφουγγίζω «вытирать» и др.).

Для части прежних глаголов на -σσω/-ττω новогреческий язык восстановил в презенсе основу на заднеязычный (φυλάγω «беречь, сторожить», βήχω «кашлять», τυλίγω «завертывать»), поставив их в один ряд с такими, как πνίγω «душить», τρώγω «есть», βρέχω «смачивать», πλέκω «плести» и др. К этому же классу отошли и некоторые глаголы из числа прежних вокалических основ, которые в современном языке получили для презенса параллельную форму на заднеязычный, например, κλαίγω «плакать», καίγω «жечь», ἀκούγω «слышать», φταίγω (др.-греч. πταίω) «быть виновным» наряду с κλαίω, καίω, ἀκούω, φταίω.

Что касается глаголов на -πτω, то они, как правило, дают -φτω: κόφτω «резать», κλέφτω «красть», ράφτω «шить», βλαφτω «вредить», πέφτω (др.-греч. πίπτω «падать»), κρύφτω «прятать», θάφτω «хоронить», σκάφτω «рыть, копать», σκέφτομαι «думать» и др. (по аналогии глагол γράφω «писать» тоже имеет дублет γράφτω). Наряду с этой, многие глаголы имеют в презенсе параллельную форму, восстанавливающую в основе губной (древнегреческий тоже дает примеры дублетов типа ἀποδρύφω и ἀποδρύπτω «сдирать кожу»): κόβω, κλέβω, ράβω, κρύβω, θάβω, σκάβω, βάφω, ἀλείβω (ἀλείφω), ἀνάβω и т. п. Таким образом, оппозиция «презенс/аорист» становится более регулярно выраженной, а глаголы данного типа, лишившись своего

нестандартного оформления, становятся в один ряд с другими глаголами, основа которых оканчивается на губной (τοίβω «тереть», ἀνταμείβω «вознаграждать», σέβομαι «уважать», τρέφω «кормить», προβλέπω «предвидеть» и др.).

Причины чисто фонетического порядка привели к пополнению этого класса также за счет прежних основ на дифтонги -ευ, -αυ, которые превратились в сочетание гласного с губным: παιδεύω «мучить» (др.-греч. παιδεύω «воспитывать»), βασιλεύω «царствовать; заходить» (о солнце), δεσμεύω «связывать, заковывать в кандалы» и др. Глаголы этого типа были довольно многочисленны, так как презенсы на -εύω образовывались уже в древнегреческом от самых разных основ (др.-греч. ἀληθεύω «быть правдивым», φυτεύω «сажать», συμβουλεύω «советовать»). Суффикс -εύω сохранил свою продуктивность и в современном греческом языке (новогреч. ἀγοιεύω «сердиться», ἀγναντεύω «всматриваться вдаль», δασκαλεύω «наставлять», χειροτερεύω «ухудшать(ся)», μαζεύω «собирать», ἀνακατεύω «перемешивать» (др.-греч. ἄνω и κάτω). Некоторые из прежних глаголов на -εύω в современном языке сменили суффикс, пополнив собой и без того многочисленный класс глаголов на -ζω: новогреч. σκαλίζω «разгребать; высекать» (др.-греч. σκαλεύω), σωριάζω «сваливать в кучу» (др.-греч. σωρεύω), φωλιάζω «вить гнездо» (др.-греч. φωλεύω) и др.

Еще один большой глагольный класс (консонантический) сохранился в современном языке от древнегреческого — глаголы, основа которых оканчивается на -ν. Этот класс очень многочислен, а состав его еще более неоднороден, чем у глаголов на -ζω. Объясняется это необычайной продуктивностью носового суффикса в качестве показателя основы настоящего времени. Сохранив в значительной степени прежние типы, входившие в этот класс, современный язык пополнил их большим количеством новых, образованных на базе самых различных основ. В результате носовой суффикс является, наряду с суффиксом -ζ, чрезвычайно распространенным показателем презентной основы [4].

Глаголы этого класса, как унаследованные от древнегреческого, так и появившиеся в новое время, делятся на следующие группы.

1. Глаголы типа πίνω «пить», κρίνω «судить», μένω «оставаться», ἀποκρίνομαι «отвечать», προτείνω «предлагать», πλένω (др.-греч. πλύνω) «мыть, стирать», κάνω «делать», χάνω «терять», φτάνω «прибывать; быть достаточным; хватать» и др.

2. Многочисленные глаголы на -αίνω (выделенное в качестве суффикса еще в древнегреческом и сохранившее в значительной степени свою продуктивность), состав которых тоже далеко не однороден: γλυκαίνω «делать(ся) сладким», ξεραίνω «сушить, высыхать», κατεβαίνω «спускаться», βαθαίνω (др.-греч. βαθύνω) «углублять», αὐξαίνω «увеличивать», βλασταίνω «прорастать» и проч. (бывшие на -άνω). Сюда же относятся καταλαβαίνω «понимать» (др.-греч. καταλαμβάνω), μαθαίνω «учить; узнавать» (др.-греч. μανθάνω), παθαίνω «терпеть, выносить» (др.-греч. πάσχω), πεθαίνω «умирать» (др.-греч. ἀποθνήσκω), τυχαίνω, λαχαίνω «случаться» (др.-греч. τυγχάνω, λαγχάνω), которые дают иллюстрацию преобразования презентной основы на базе сильного аориста (см. ниже).

3. Глаголы на -ύνω: ἀμύνομαι «обороняться», ταχύνω «ускорять», ὀξύνω, «заострять», εὐκολύνω «облегчать», μολύνω «заражать», διευθύνω «направлять, руководить» и др.

---

[4] Так, А. Мирамбель, указывая на большую популярность суффикса -νω в качестве суффикса, образующего настоящее время, отмечает, что уже с IV в. н. э. в папирусах наряду с φέρω, δέω, χέω, λύω встречаются формы φέρνω, δένω, χύνω, λύνω и т. п. (A. Mirambel, Quelques problèmes ..., стр. 245).

4. Глаголы на -λνω, -ρνω, соответствующие древнегреческим основам на λ и ρ (глаголы на -λλω, -ειρω, -αιρω): φέρνω «приносить» (др.-греч. φέρω), καταφέρνω (также καταφέρω) «удаваться; выполнять», σέρνω (также σούρνω) «тянуть, волочить» (др.-греч. σύρω), δέρνω «бить» (др.-греч. δέρω), γδέρνω «сдирать шкуру» (др. -греч. ἐκδέρω), σπέρνω «сеять» (др.-греч. σπείρω), στέλνω «посылать» (др.-греч. στέλλω), ψέλνω «петь» (др.-греч. ψάλλω), παραγγέλνω «просить, заказывать» (др.-греч. ἀγγέλλω) и др. Некоторые из глаголов данной группы сохранили свой прежний облик, особенно в составе глаголов с приставками (новогреч. χαίρω «радоваться», ἀμφιβάλλω «сомневаться», ἀνταβάλλω «откладывать», ἀναφέρω «сообщать, упоминать», ὑποφέρω «страдать», διασύρω «порочить», διαγείρω «возбуждать» и др.). Зато число основ на -ρ увеличилось в новое время за счет значительного количества глаголов на -άρω, образованных преимущественно от заимствованных слов: ἀγκαζάρω «ангажировать», παρλάρω «болтать», μπλοκάρω «осаждать», μπιζάρω «вызывать на бис» и др.

Подавляющее большинство перечисленных глаголов имеет несигматический аорист, сохраняющий в более или менее «нетронутом» виде древнюю форму: ἤπια, ἔμεινα, πρότεινα, ἔπλυνα, γλύκανα, βάθυνα, κατάλαβα, πέθανα, ἔμαθα, ἔτυχα, εὐκόλυνα, ἔφερα, ἔδειρα, ἔστειλα и т. д. Здесь определенную роль во внешнем оформлении оппозиции «презенс/аорист» играет чередование гласных. Наиболее распространенной его схемой является IeI в презенсе — IiI (или IaI) в аористе. Поскольку аорист лишен яркой отличительной приметы (каковой современному языковому сознанию представляется ς), то язык пошел по другому пути, наделив такой приметой (а именно, суффиксом -ν, где его не было) основу настоящего времени и в ряде случаев проведя дополнительно еще и дифференциацию в плане огласовки (здесь опять-таки не обошлось без влияния аналогии). Этим объясняется, очевидно, изменение огласовки (корня или суффикса) по сравнению с древнегреческими формами в презенсе таких глаголов, как πλένω «мыть, стирать» (др.-греч. πλύνω), βαθαίνω «углублять» (др.-греч. βαθύνω), σέρνω «тянуть» (др.-греч. σύρω), ψέλνω «петь» (др.-греч. ψάλλω) и др. Для некоторых глаголов это чередование является единственным формальным выражением оппозиции основ презенса и аориста, например, πλένω — ἔπλυνα, κονταίνω — κόντυνα, μένω — ἔμεινα.

5. Следующую большую подгруппу данного класса составляют глаголы на -ώνω, заменившие собой прежние гласные основы на -όω (через промежуточную стадию -όννω): новогреч. διπλώνω «складывать», δηλώνω «заявлять», ξαπλώνω «ложиться», ἱδρώνω «потеть», ἐξακριβώνω «уточнять», ἐλευθερώνω «освобождать», ἑνώνω «объединять» и многие другие.

Тенденция современного языка к устранению гласного исхода в основе настоящего времени (исключение составляет исход на α) нашла выражение также в создании таких форм, как новогреч. λύνω «развязывать», κλείνω «закрывать», ξύνω «чесать», φτύνω «плевать», χύνω «лить», δένω «вязать», δακρίζω «плакать, прослезиться», βουίζω «шуметь, гудеть», ἀνθίζω «цвести», σπάζω или σπάνω (но также и σπάω) «бить, ломать», μουδιάζω «неметь, цепенеть», δωρίζω «дарить», φωνάζω «кричать», λούζω «мыть, купать», ρημάζω «опустошать», ζωγραφίζω «рисовать» (ср. др.-греч. λύω, κλείω, ξέω, πτύω, χέω, δέω, δακρύω, βοάω, ἀνθέω, σπάω, αἱμωδιάω, δωρέω, φωνέω, λούω, ἐρημόω, ζωγραφέω), а также κλαίγω «плакать», ἀκούγω «слышать» и др.[5]. Все они имеют сигматический аорист.

[5] Если глагол имел в древнегреческом параллельные формы, то современный язык сохраняет, как правило, форму с исходом на согласный: новогреч. ἐνθουσιάζω «воодушевлять», νοικάζω «снимать квартиру», ξορκίζω «заклинать», θυσιάζω «жертвовать» (др.-греч. ἐνθουσιάω и ἐνθουσιάζω, ἐνοικέω и ἐνοικίζω, ἐξορκέω и ἐξορκίζω, θύω и θυσιάζω).

Правда, некоторые из названных глаголов сохранили старую форму (например, новогреч. ἰσχύω «быть действительным», ἱδρύω «основывать, учреждать»), особенно в составе сложных глаголов с приставками, как ἀπολύω «увольнять», ἀποκλείω «исключать», συνδέω «соединять», ἀναπνέω «дышать» и др.[6]. Но все же общее число глаголов, презентная основа которых оканчивается на гласный, в современном языке значительно сократилось по сравнению с древнегреческим. Практически сохранились только гласные основы на α или на ε, смешавшись в один класс, доминирующая роль в оформлении которого принадлежит спряжению на α. Интересно отметить, что суффикс -ν- проник и сюда; это преимущественно глаголы, имеющие перед конечным гласным основы ρ или λ, например, новогреч. περνῶ, -άω (в 1 и 3-м л. ед. ч. неслитные формы на -άω и -άει очень употребительны) «проходить» (др.-греч. περάω «переезжать, переплывать»), χαλνῶ, -άω «портить, -ся» (др.-греч. χαλάω «ослаблять, распускать»), γυρνῶ (и γυρίζω) «возвращаться, γερνῶ (γεράζω) «стареть», κολνῶ, -άω «приклеивать», σφαλνῶ «закрывать», παίρνω «брать» (др.-греч. ἐπαίρω «поднимать») и др. В формах аориста ν отсутствует: πέρασα, χάλασα, γύρισα, γέρασα, κόλλησα, σφάλησα (σφάληξα), πῆρα.

При образовании новых презентных основ важную роль, как уже отмечалось, играет а н а л о г и я. Так, формы новогреч. λύνω, κλείνω, δένω и т. п. обязаны своим появлением не только тенденции современного языка давать основе настоящего времени согласный исход и большой популярности в этой роли суффикса -ν-, но также и существованию в древнегреческом языке параллельных форм презенса типа δύω и δύνω (также ἐκδύνω, ἐνδύνω), ἐγχέω и ἐγχύνω и т. п. Сходство форм аориста (δύσω — λύσω) тоже поощряло к образованию однотипных форм для презенса (δύνω — λύνω). Подобным образом, отталкиваясь от форм б у д у щ е г о или с и г м а т и ч е с к о г о а о р и с т а, были созданы основы настоящего времени новогреч. ψήνω «печь, жарить», с вариантом φαίνω (на базе формы будущего: др.-греч. ψήσω от глагола ἑψω); ἀφήνω «оставлять, разрешать» (др.-греч. буд. ἀφήσω — ἀφίημι); δίνω «давать» (δώσω — δίδωμι); ζώνω «опоясывать» (ζώσω — ζώννυμι); στρώνω «стлать» (др.-греч. аорист ἔστρωσα — στρώννυμι); χώνω «засовывать» (χώσω — χώννυμι) и др.

Исходным пунктом для преобразования может служить к о р н е в о й а о р и с т, как это имеет место в новогреч. σβήνω (σβένω), «гасить» (др.-греч. ἔσβην — σβέννυμι), ξέρω «знать» (др.-греч. ἐξεῦρον — ἐξευρίσκω [7]); μαθαίνω «узнавать» (др.-греч. ἔμαθον — μανθάνω) и т. п. (см. выше, стр. 138); п а с с и в н ы й а о р и с т: новогреч. δείχνω «показывать» (др.-греч. ἐδείχθην — δείκνυμι), διώχνω «прогонять» (др.-греч. ἐδιώχθην — διώκω).

Преобразование глаголов старого а т е м а т и ч е с к о г о спряжения дает особенно богатую иллюстрацию использования самых разных основ для создания новых парадигм: сигматического аориста и будущего времени, корневого аориста, пассивного аориста на -θην. Приведем еще несколько примеров.

---

[6] Вообще нельзя не заметить, что глаголы с приставками гораздо более «живучи». Это можно проиллюстрировать на примере таких глаголов (кроме вышеприведенных), как новогреч. ἐπιδιώκω «добиваться» (при διώχνω), ὀπορρίπτω «отвергать» (при ρίχνω), ἐκδίδω «издавать» (при δίνω); также ἐπεμβαίνω «вмешиваться», ἐξαρτάω «зависеть», ἐξαιρῶ «исключать», ἐξηγῶ, -οῦμαι «объяснять, -ся», κατάγω (κατάγομαι) «происходить, быть родом (откуда-то)», ἐπιθυμῶ «желать», ἐπιτρέπω «разрешать» и др., при отсутствии соответствующих бесприставочных глаголов (др.-греч. βαίνω, αἱρέω, ἡγοῦμαι и т. д.), также упоминавшиеся выше глаголы на- σσω,-πτω: ἀνοπτύσσω, προκύπτω, ἐξελίσσω и др.

[7] Бесприставочный глагол с тем же корнем (др.-греч. εὑρίσκω) сохранился в форме новогреч. βρίσκω «находить», аорист βρῆκα (др.-греч. перфект εὕρηκα).

Современные глаголы στήνω «ставить, устанавливать» и στέκω (στέκομαι) «стоять» являются потомками древнегреческого ἵστημι «ставить». Первый образован на базе формы будущего στήσω с переходным значением «поставлю», второй — на базе формы перфекта ἕστηκα с непереходно-медиальным значением «я стою». Στήνω в аористе сохраняет старую форму ἔστησα «поставил, установил», а στέκω, στέκομαι имеет новую форму στάθηκα «я встал», в которой использована основа старого пассивного аориста (др.-греч. ἐστάθην).

Древнегреческий глагол того же корня ἐγκαθίστημι (также мед. ἐγκαθίσταμαι) «размещать,-ся; обосноваться» имеет в современном языке форму εγκαταστaίνω (наряду с ἐγκατστήνω), аорист ἐγκατάστησα (и ἐγκατέστησα), мед.-пасс. ἐγκαταστάθηκα «я обосновался». С древнегреческим ἵστημι связаны также современные глаголы ἀνασταίνω (и ἀνστήνω) «воскрешать» (др.-греч. ἀνίστημι), аорист ἀνάστησα «я воскресил», мед.-пасс. ἀναστήθηκα «я воскрес»; ἐπαναστατῶ «восставать, поднимать восстание» (др.-греч. ἐπανίστημι) и ἀναστατώνω «переворачивать, приводить в беспорядок» (др.-греч. ἀναστατόω «возмущать, бунтовать»). В последних двух глаголах использована основа отглагольного прилагательного στατός.

Основу отглагольного прилагательного θετός от др.-греч. глагола τίθημι «класть» мы находим в современном глаголе θέτω «ставить, класть» (аорист ἔθεσα и ἔθηκα), который образует с приставками ряд других глаголов: ὑποθέτω «предполагать», διαθέτω «располагать», ἐκθέτω «выставлять; компрометировать» и др.

Процесс преобразования основ настоящего времени нередко сопровождается переразложением основ, стиранием границ между корневой и служебными морфемами и в конечном счете — изменением морфемного членения слова. Иллюстрацией подобного явления «массового характера» может служить история суффиксов -ίζω, -αίνω, -εύω, бывших продуктивными уже в древнегреческом языке. Многочисленны примеры проникновения прежних префиксов (-ἐκ, -ἐν, ἐπι-, απο-) в состав корня: νοικιάζω (др.-греч. ἐν-οικίζω) «снимать квартиру», ντύνω «одевать» (др.-греч. ἐν-δύνω), γδέρνω «сдирать шкуру» (др.-греч. ἐκδέρω с последующей ассимиляцией), ξυπνῶ «будить, просыпаться (др.-греч. ἐξ-υπνίζω), μπαίνω «входить» (др.-греч. ἐμ-βαίνω), βγαίνω «выходить» (др.-греч. ἐκ-βαίνω, с последующей перестановкой и ассимиляцией согласной префикса), ξέρω «знать» (др.-греч. ἐξ-εῦρον), παίρνω «брать» (др.-греч. ἐπ-αίρω), μπήγω «втыкать» (др.-греч. ἐμ-πήγνυμι [8]), σμίγω «смешивать» (др.-греч. εἰς-μείγνυμι [9]) и др.

Изменению морфемного членения обязана своим существованием в современном языке пара κάθομαι «сидеть» — καθίζω «сажать» (др.-греч. κάθημαι и καθίζω с теми же значениями). Глагол καθίζω уже в древнегреческом имел аорист ἐκάθισα (вместо правильного καθεῖσα), образованный по аналогии с глаголами на -ίζω, хотя в данном случае ἵζω — корень со значением «сидеть, садиться». В качестве корневой морфемы, сосредоточивающей в себе лексическое значение слова, была выделена приставка καθ-. Это повлияло и на судьбу глагола κάθημαι: настоящий корень, представленный единственной гласной (η), был переосмыслен как тематический гласный. Внешний вид глагола почти не изменился, но морфологическое членение стало совсем другим. В результате всех этих «недоразумений» пара κάθομαι (κάθουμαι) — καθίζω стоит в современном языке

[8] С глаголом πήγνυμι связаны еще два современных глагола — πήζω «сгущать» (на базе др.-греч. буд. πηξω, аорист ἔπηξα) и πηχτώνω с тем же значением (основа отглагольного прилагательного πηχτος).

[9] Современную форму σμίγω можно толковать и как результат перестановки ς в др.-греч. μίσγω (параллельная форма к μείγνυμι).

рядом с κοιμᾶμαι (κοιμοῦμαι) «сплю» — κοιμίζω «усыпляю», φοβᾶμαι (φοβοῦμαι) «боюсь» — φοβίζω «устрашаю» и т. п.

Еще один пример подобного заблуждения дает нам история древнегреческого глагола ἀποθνήσκω «умирать», форма аориста которого (ἀπέθανον) была, по-видимому, ошибочно расчленена на ἀπέθ-αν-ον, т. е. часть корня выделена в качестве суффикса, а часть отошла к приставке и образовала новый «корень». Впоследствии начальное α отпало, а «суффикс» -αν- был заменен -αιν (подобно тому, как др.-греч. αὐξάνω стало αὐξαίνω, ἁμαρ-, τάνω — ἁμαρταίνω, μανθάνω — μαθαίνω и т. п.), откуда современное πεθαίνω. Сходные процессы имели место и при образовании современного глагола πετυχαίνω «преуспевать; успешно делать что-либо», созданного на базе аориста ἐπέτυχον от др.-греч. ἐπιτυγχάνω.

В результате всех этих процессов состав глагольных классов современного греческого языка являет собой в высшей степени пеструю картину с исторической точки зрения. Число же самих классов по сравнению с древнегреческим языком сократилось за счет устранения части некоторых более редких типов. Эти последние были распределены по основным классам, которые отличаются общими структурными признаками и сходством в образовании главных времен (т. е. в конечном счете — сходством в оформлении основы аориста).

Такими классами в современном греческом языке являются: 1) слитные глаголы; 2) глаголы на -ψω; 3) глаголы на -ζω; 4) глаголы с основой на заднеязычный и 5) глаголы с основой на губной. Остальные типы — будь то новообразования (подобно глаголам на -άρω) или «осколки» древнегреческих классов (как глаголы на -σσω, -σκω, -λλω, -ύω, -θω и др.) — немногочисленны, гораздо менее продуктивны (или вовсе не продуктивны) и не являются определяющими для характеристики основного глагольного состава современного греческого языка.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1972

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

С. Маркус. **Теоретико-множественные модели языков,** перевод с англ. М. В. Арапова; под ред. Ю. А. Шрейдера. — М., изд-во «Наука», 1970, 332 стр.

Теоретико-множественными, или аналитическими моделями, принято называть модели языка, исходящие из множества правильно построенных фраз языка и системы парадигм словоизменения (парадигмы понимаются как множества словоформ). Их обычно противопоставляют порождающим, или синтетическим моделям, в которых исходной данностью принимается некоторый порождающий процесс. Оба указанных подхода дополнительны в том смысле, что более или менее удовлетворительное описание формальной структуры языка возможно лишь при их объединении.

С другой стороны, каждый из подходов использует не только свой собственный логический аппарат, но и обладает некоторыми общими чертами, в какой-то мере влияющими на позицию исследователя. В частности, при использовании порождающих моделей огромную эвристическую роль играют общие гипотезы о природе и функционировании грамматики, о соотношении синтаксиса и семантики.

Аналитические модели, вообще говоря, не предполагают подобных гипотез; поэтому часто их использование носит более «мелочный характер» (исследование отдельных, частных проблем), причем для одного явления один и тот же исследователь предлагает ряд различных моделей, вовсе не стремясь доказать, что верна одна и только одна из них. Так, в рецензируемой книге для одной категории, например, падежа, предлагается несколько моделей, а связь между ними не устанавливается. Неявно предполагается, что лингвист, использующий эти модели, соединит полученные результаты в соответствии с требованиями содержательной теории. Иначе говоря, предлагаются вспомогательные инструменты, которые удобны, но вовсе не обязательны и не всегда связаны между собой.

Следует отметить и то обстоятельство, что если теория порождающих грамматик начала разрабатываться в американской лингвистике, то основы теоретико-множественного подхода были целиком заложены в советской науке. Об этом специально пишет в предисловии к книге Ю. А. Шрейдер (стр. 7). В подготовке этой теории и в прояснении соответствующих понятий участвовали и лингвисты; более того, создание основ теоретико-множественного моделирования языка, ставшего теперь разработанной отраслью математической лингвистики, было почти целиком подготовлено двухлетней (1956—1957) работой семинара [1] на филологическом факультете МГУ по применению некоторых математических методов в лингвистике, руководимого Вяч. Вс. Ивановым, покойным П. С. Кузнецовым и В. А. Успенским.

Впрочем сам Маркус вполне объективно отражает вклад советских ученых, и в этом также большое достоинство книги. Автору вообще удалось отобрать наиболее значительное и интересное в теории аналитических моделей языка.

Все это показывает, что перевод книги Маркуса [2] вполне своевремен. Собственно говоря, речь идет не о переводе, а о новой книге, ибо редактор русского перевода сократил некоторые места, не имеющие прямого отношения к теоретико-множественным методам, но зато включил из другой книги Маркуса [3] раздел о падеже, занимающий очень большое место в новой книге.

Во всех теоретико-множественных моделях, в сущности, речь идет о той информации, которую лингвист может извлечь из соотношений между дистрибутивным классом слов (он называется семейством), т. е. классом слов, имеющих одинаковую дистрибуцию, и системой форм словоизменения, т. е. парадигмой.

---

[1] См. дневник работы семинара в «Бюллетене объединения по проблемам машинного перевода», М., 1958, 5 (стеклограф. изд.).

[2] S. Marcus, Algebraic linguistics, analytical models, New York — London, 1967.

[3] S. Marcus, Introduction mathématique à la linguistique structurale, Paris, 1967.

Эта же идея используется для построения теоретико-множественной типологии языков, которой посвящена вторая глава книги, хотя эта типология и исходит из других предпосылок, чем традиционная типологическая схема, построенная на морфологической классификации (распределение «вещественных» и «формальных» значений). Тем интереснее, что некоторые типы, выделенные здесь, совпадают с типами морфологической классификации. Так, аморфный язык, определяемый как язык, в котором все парадигмы одноэлементны, разумеется, то же самое понятие, что и в морфологической классификации. Более интересно, что понятие однородного языка, в котором все парадигмы устроены строго регулярным способом, практически совпадает с понятием агглютинативного типа, если одновременно не вводится требование простоты, также рассматриваемое Маркусом (язык прост, если в нем две формы одной и той же парадигмы не могут принадлежать одному дистрибутивному классу). Вторая часть главы посвящена проблеме изоморфизма двух языков. Весьма полезно рассмотрение изоморфизмов между языками в строгом смысле этого слова, в частности, разграничение парадигматических и синтагматических изоморфизмов.

В третьей главе исследуются модели понятия «часть речи», причем часть речи определяется, грубо говоря, синтаксическими свойствами всей парадигмы как таковой. До сих пор для флективных языков такой подход к части речи не применялся, но для «аморфных языков», в которых дистрибутивные классы часто отождествлялись с частями речи, он вполне обычен. Более того, некоторым китаистам [4] такой подход не кажется странным и применительно к флективному языку.

Вторая часть главы посвящена учению о синтаксических типах, возникшему в работах польских логиков Айдукевича и Лешьневского и формализованному Бар-Хиллелом и Ламбеком. Идейно данная проблема связана не столько с частями речи как определенными парадигматическими классами, сколько с проблемой синтагмы (или словосочетания) и ее следовало бы обсуждать вместе с учением о конфигурациях (см. ниже).

Четвертая глава посвящена проблеме грамматического рода. Здесь Маркус, в отличие от третьей главы, где, в основном, излагались результаты других ученых, предлагает оригинальную концепцию моделирования грамматического рода. Маркус выступил в поддержку синтаксической точки зрения на категорию рода, исходящую из особенностей согласования, причем ему удалось построить модель, в которой содержится не только ответ на вопрос, принадлежат ли два слова к одному грамматическому роду, но и вполне естественно возникает понятие расстояния между двумя грамматическими родами в данном языке. Основная идея состоит в следующем. Существуют пары словоформ, допускающие построение цепи, в которой любые две стоящие рядом словоформы связаны в том смысле, что находятся в одной парадигме либо в одном дистрибутивном классе. Две парадигмы относятся к одному грамматическому роду, если любую словоформу одной из них можно соединить с любой словоформой другой при помощи цепи, насчитывающей не более трех членов. Особенность этой модели Маркуса в том, что в ней некоторые парадигмы могут входить в два разных грамматических рода.

Если общая идея Маркуса весьма плодотворна, то согласование ее с лингвистическим опытом вызывает некоторые сомнения. Парадигма относится к мужскому роду, если любой ее член связывается описанной выше цепью, состоящей не более чем из трех слов, с любым членом парадигмы, обозначающей понятие «мужчина», «женщина» в языке. Аналогично определяется женский род. Если соответствующие множества различны, то говорится, что род в языке не выражен. Слово принадлежит к среднему роду, если оно не относится ни к мужскому, ни к женскому, и к «общему роду» (в оригинале: doublegender), если оно относится одновременно и к женскому, и к мужскому роду. Эта идея лишена необходимой общности: ибо, во-первых, как показал еще Мейе для индоевропейского, категория рода складывается не только из противопоставления «мужскости» — «женскости», но и одновременно одушевленности — неодушевленности и/или личности — неличности. Во-вторых, как отмечает сам Маркус, схема действует лишь для языка, в котором не более четырех категорий рода (причем распределенных описанным способом). Маркус говорит (стр. 168), что «общий род» может возникнуть, например, при объединении в одну парадигму французских слов *cousin* и *cousine*. Но такой подход лишь подчеркивает, что понятие парадигмы нуждается в предварительном лингвистическом анализе (см. ниже). Модель «общего рода», как она описана Маркусом, могла бы быть использована для характеристики слов pluralia tantum в таких языках, как русский или немецкий, ибо формы типа русск. *часы* не имеют рода, и именно поэтому могли бы описываться как имеющие одновременно и мужской, и женский (и средний!) род. Отметим, что слова pluralia и singularia tantum привлекаются Маркусом при анализе рода, но в другой связи (стр. 183).

[4] Ср.: С. Е. Яхонтов, Понятие части речи в общем и китайском языкознании, «Вопросы теории частей речи на материале различных языков», Л., 1968, стр. 73.

Наиболее парадоксален, однако, тот факт, что явления, трактуемые, например, в русской грамматике как общий род, по Маркусу, попадают в средний род. Маркус приводит итальянские слова *nipote*, *consorte*, *cantante*, *giovane*, *paciente* (аналогично можно было бы привести для русского языка слова *судья*, *старо-ста*, ср. *красивый*, *красивая судья* и т. п.).

Вообще нужно отметить, что отрицательный способ определения среднего рода как остаточного класса, куда, вообще говоря, могут попасть самые разнообразные слова, фактически удобен лишь для таких языков, как румынский, где «средний род» (или «обоюдный род») очень специфическое образование, а именно: совокупность слов, согласуемых в единственном числе по мужскому роду, а во множественном числе — по женскому.

Зато большой интерес представляют исследования связи особенностей грамматического рода с типом языка и, в частности, особый статус рода в однородном языке. Вообще аппарат данной главы, несомненно, полезен для дальнейшего исследования синтаксических аспектов категории рода.

Пятая глава посвящена проблеме моделирования падежа. Эта проблема была поставлена А. Н. Колмогоровым, который предложил определение падежа как класса эквивалентных состояний предмета. Это определение подробно исследуется Маркусом, который приходит к формулировке понятия семантического падежа (стр. 231). Возвращение к точке зрения А. Н. Колмогорова представляется весьма важным по следующим соображениям. В свое время семантическая природа понятий «состояние» и «предмет» смутили некоторых исследователей, и были предприняты попытки построить аналоги этого понятия в терминах дистрибуции. Однако сейчас в связи со все более интенсивным привлечением семантических соображений при моделировании языка идея падежа как класса эквивалентных состояний предмета (или иначе: его отношений к действию) вновь становится чрезвычайно актуальной. Одновременно Маркус подробно исследует ряд моделей падежа, целиком построенных в терминах дистрибуции.

Итак, во всех трех главах, посвященных части речи, роду и падежу, теоретико-множественная концепция, как она описана в книге Маркуса, очень четко отражающей ее состояние в определенный период, может быть суммарно охарактеризована следующим образом. Предположим, что: а) нам задано множество всех правильно построенных предложений языка; б) позиция слова в предложении — единственный фактор, определяющий грамматическую природу слова и в) мы умеем однозначно определять для каждого слова объем его парадигмы (т. е. во всех случаях мы можем провести границу между словоизменением и словообразованием).

Тогда имеется возможность формально определить категории частей речи, рода и падежа для произвольного языка.

Известно, что все три предпосылки достаточно шатки.

Разумеется, все три проблемы могут быть решены и отчасти соответствующие изменения уже вносятся в теорию моделирования языка (ср. модель, которую предложил А. В. Гладкий [5] и в которой исходным объектом является заданность управляющих свойств каждого слова). Однако тем не менее нелегко отвести упрек, что здание начали строить с верхних этажей, так сказать, в надежде, что оно может висеть в воздухе. И тем не менее, как это ни парадоксально, такой ход развития часто наблюдается в науке. Ниже будет сделана попытка показать, что фундамент здания уже сейчас может быть эффективно укреплен, с тем, чтобы последующая теория могла использоваться без всякого изменения.

Предположим, что нам задано не множество фраз, а множество цепочек слов, в которых каждое слово синтаксически подчиняет себе последующее (вне зависимости от реального порядка слов). Например, вместо предложения *Я видел вчера очень большую кошку* даны цепочки: *видел я*, *видел вчера*, *видел кошку большую очень*. Ясно, что таких цепочек намного меньше, чем фраз, ибо каждая из них может входить компонентом в синтаксическую структуру многих фраз. Поэтому некоторые (разумеется, не все!) вопросы, связанные с грамматической правильностью, отпадают, а проверка дистрибутивной эквивалентности упрощается.

Покажем теперь, что исходя из этих цепочек, может быть определено понятие парадигмы. Правда, нам понадобится еще одно понятие, а именно референциального тождества, т. е. тождественности называемого объекта и отношения к нему говорящего. Пусть все вхождения слов в соответствующие цепочки перенумерованы, начиная с конца. Назовем слово абсолютно зависимым, если любое его вхождение в произвольную цепочку получает нулевой номер. Теперь мы предлагаем следующее индуктивное определение понятия парадигмы.

Базис определения: два абсолютно-зависимых слова относятся к одной парадигме, если они референциально тождественны.

Индуктивный шаг. Вхождение слова $x_{(i)}$, где i его номер в цепочке, относится к той же парадигме, что и $y_{(j)}$, где $j \leqslant i$, если 1) $x_{(i)}$ и $y_{(j)}$ референциально тождественны; 2) для всех $k < i$ отноше-

[5] А. В. Гладкий, К определению понятий падежа и рода существительного, ВЯ, 1969, 2.

ние принадлежности к той же парадигме определено и 3) для любого слова $w_{(j-1)}$, непосредственно следующего за $y_{(j)}$ в некоторой цепочке, найдется слово $z_{(i-1)}$, непосредственно следующее за $x_{(i)}$ в некоторой цепочке, причем $z_{(i-1)}$ и $w_{(j-1)}$ принадлежат одной парадигме, и обратное верно для любого слова $z_{(i-1)}$, непосредственно следующего за $x_{(i)}$ в некоторой цепочке. Так, в русском языке на первом шаге будет установлена одноэлементность парадигмы наречий типа *очень*, на втором шаге будут объединены в одну парадигму слова *красивый*, *красивому*, *красиво* и т.п., ибо все они подчиняют одинаковым образом слова типа *очень*, а на третьем шаге объединены слова типа *студент* и *студенту*, ибо они подчиняют соответственно слова *красивый* и *красивому*, о которых на предыдущем шаге было установлено, что они принадлежат одной парадигме. Таким образом, теория, развиваемая в книге Маркуса, может достраиваться во многих направлениях и в том числе может быть сокращено число спорных допущений, в ней используемых.

Если первые пять глав (за исключением раздела о синтаксических типах) были посвящены морфологии (вернее парадигматике), то шестая глава посвящена синтаксису (вернее, синтагматике) в терминах теоретико-множественной концепции, а именно конфигурационной модели, впервые разработанной О. С. Кулагиной. Интерес этой модели для лингвистов прежде всего в том, что в ней формализуется теория синтагм (или словосочетаний). Смысловая емкость этого понятия отразилась, в частности, в том, что А. В. Гладкий предложил несколько отличное от кулагинского определение конфигурации и, наконец, чешский математик М. Новотный предложил еще одно, наиболее широкое понимание конфигурации [6].

Конфигурационный анализ интересен в том смысле, что он позволяет вскрыть естественные связи между аналитическими и синтетическими моделями. В этом его родство с теорией синтаксических типов, на основе которых был создан и исследован класс так называемых «категориальных грамматик» (в этом еще одна из причин, по которым учение о синтаксических типах следовало бы отнести в шестую главу). Связь между конфигурационным анализом и порождающими моделями была впервые показана А. В. Гладким, результаты которого подробно излагаются в книге Маркуса. В последнее время М. Новотный построил класс порождающих моделей, соответствующих конфигурациям в его смысле, а затем достроил теорию таким способом, чтобы и конфигурациям в смысле Кулагиной соответствовал свой класс порождающих грамматик [7]. Таким образом, теперь имеется определенная иерархия грамматик (а следовательно, и порождаемых ими языков), целиком описываемая в терминах конфигураций.

Очень большую методологическую ценность имеет приложение «Алгебра бинарных отношений», написанное Ю. А. Шрейдером. Понятие отношения — гораздо более общее, чем понятие класса или множества, на котором основана теоретико-множественная концепция. При этом в современной лингвистике понятие отношения играет все более значительную роль. Оказалось, что вся теоретико-множественная теория языка гораздо проще излагается в терминах алгебры бинарных отношений. На это обстоятельство уже обращали внимание Д. Н. Ленской [8] и М. Новотный [9]. Однако впервые лингвист получает очень четкое и компетентное изложение основ алгебры бинарных отношений, причем один из наиболее важных в лингвистике типов отношений, а именно отношения толерантности, описывается, насколько может судить рецензент, впервые. Кроме того, редактор и переводчик проделали большую работу по упорядочению терминологии, употребляемой в математической лингвистике.

Книга должна заинтересовать не только математиков, к которым она обращена в первую очередь, но и широкий круг лингвистов — вне зависимости от того, заставляет ли их специфика изучаемых лингвистических явлений применять математические методы.

И. И. Ревзин

[6] M. Nˇovotný, Algebraic structures of mathematical linguistics, «Bulletin mathématique de la Société des Sciences Mathématiques de la R. S. de Roumanie», 12 (60), 1969.

[7] M. Novotný, On configurations in the sense of Kulagina, «Publications de la faculté des sciences de l'Université J. E. Purkyně à Brno», 507, 1969.

[8] Д. Н. Ленской, Об одном применении алгебры бинарных отношений в лингвистике, «Уч. зап. Кабардино-балкарского ун-та», 16, Серия физико-математическая, Нальчик, 1962.

[9] М. Новотный, Об алгебраизации теоретико-множественной модели языка, «Проблемы кибернетики», 15, 1965.

«Сравнительно-историческая лексика дагестанских языков». — М., изд-во «Наука», 1971. 295 стр.

Задачи сравнительно-генетического изучения групп автохтонных языков Кавказа настойчиво требуют создания широкой фактической основы исследования. Важную роль призваны сыграть в этом плане обобщающие лексикологические труды, к которым лишь относительно недавно приступило кавказское языкознание. Естественно поэтому, что кавказоведы разных специальностей с большим интересом встретили выход в свет первого сравнительно-исторического исследования лексики дагестанских языков, выполненного коллективом лингвистов Дагестана (С. М. Гасанова, Г. Х. Ибрагимов, П. Т. Магомедова, У. А. Мейланова, Б. Б. Талибов).

Рецензируемый труд создавался в специфических условиях. Если учесть, что сколько-нибудь древние письменные памятники дагестанских языков практически отсутствуют, а широкие сравнительные штудии в дагестанском языкознании находятся по существу еще на начальной ступени развития, то становится ясным, насколько важным средством сравнительно-исторического исследования здесь должна быть внутренняя реконструкция. А это в свою очередь значит, что основной эмпирической базой труда является синхронное состояние рассматриваемых языков. Вместе с тем, несмотря на проделанную в последние десятилетия огромную работу по изучению этих языков, состояние синхронной лингвистики в дагестановедении пока еще трудно считать удовлетворительным. Во-первых, далеко не для всех языков существуют достаточно полные и единообразно выполненные грамматические описания, во-вторых, для ряда языков отсутствуют какие бы то ни было словари, в-третьих, нет единой системы фонетической транскрипции. Все перечисленные факторы, несомненно, были серьезной помехой при создании этого труда.

Сбору лексического материала здесь должна была предшествовать большая теоретическая работа по обобщению всех итогов дагестановедческих исследований. Необходимо было выработать единую классификацию фонологически значимых звукотипов, встречающихся в этих языках, и устранить разнобой в существующих транскрипционных и орфографических системах: для целей сравнительно-исторического исследования единственно приемлемой могла явиться унифицированная транскрипционная запись, способствующая установлению адекватных соответствий между морфемами сравниваемых языков. Степень родства различных групп дагестанских языков подсказывала, что сопоставлению должны подлежать не столько цельные лексемы, сколько корневые морфемы, а это потребовало от авторов кропотливого труда по определению инвентаря служебных морфем (как словообразовательных, так и словоизменительных) по всем языкам. Исследованию должна была также предшествовать работа по определению тематического состава собираемого словаря с тем, чтобы выявить максимальное число генетически связанных лексем. Важной и очень трудоемкой стороной исследования, несомненно, оказался сбор самого лексического материала, в значительной мере производившийся в полевых условиях.

Поскольку с решением всех этих сложных задач авторы в общем справились, им удалось подготовить полноценное исследование, достоинства которого прежде всего определяются уровнем сравнительно-исторического анализа материала.

Рецензируемая книга состоит из «Предисловия» (стр. 3—10), написанного Г. Б. Муркелинским, «Введения» (стр. 11—20), двух частей — I. «Фоно-морфологическая структура слов в дагестанских языках» (стр. 21—102) и II. «Сравнительный словарь дагестанских языков» (стр. 103—273) — и «Заключения» (стр. 274—286); к книге приложены библиографический перечень, список сокращений и перечень транскрипционных знаков. В первой части трактуются конкретные вопросы фонетики и грамматики дагестанских языков. Большой раздел посвящен описанию их современного звукового инвентаря, а также обобщениям, касающимся предполагаемого состава прадагестанских фонем (стр. 21—58); приводится таблица соответствий согласным прадагестанского языка для всех современных языков (стр. 51—58). В двух последующих разделах рассматривается структура именных (стр. 59—72) и глагольных основ (стр. 73—102), что необходимо для понимания принятых авторами принципов морфоделения.

Основная, вторая часть книги представляет собой словарное собрание, охватывающее материал всех двадцати шести дагестанских языков. Авторы вполне обоснованно избрали тематический принцип организации словаря. В словарной статье они отправляются от некоторого общего смысла, передаваемого корневыми морфемами сопоставляемых лексем. Этот смысл фиксируется соответствующей русской лексемой, стоящей в заглавии статьи. Словарные статьи группируются по частям речи: существительное (около 280 статей, стр. 103—216), прилагательное (около 40 статей, стр. 216—228), местоимение (8 статей, стр. 228—231), числительное (14 статей, стр. 231—239), глагол (50 статей, стр. 239—269), наречие (11 статей, стр. 269—273). В свою очередь, существительные разбиты на

тематические подгруппы — названия частей тела человека и животных, семья и терминология родственных отношений, болезни человека, отношения между людьми; зоологические и ботанические названия; сельское хозяйство и инвентарь; явления природы и календарь; дом, строения, утварь; пища, пищевые продукты; одежда, обувь, принадлежности обихода.

В фактической части словарной статьи сопоставлены лексемы (по языкам в фиксированном порядке), корни которых могут быть возведены к предполагаемой праформе. Если существует более одной общей праформы, словарная статья членится на соответствующее число подстатей. В исследовательской части статьи дается фонетико-морфологический анализ приведенных лексем и содержится исторический комментарий.

В краткой заключительной части книги (стр. 274—286) дается семантическая характеристика всего рассмотренного лексического фонда с попыткой его культурно-исторического истолкования.

Наиболее важным итогом труда следует считать первый в истории кавказского языкознания опыт систематизации прадагестанского словаря, каким он представляется в настоящее время (в качестве праязыковых здесь трактуются основы, засвидетельствованные по крайней мере в каких-либо двух группах дагестанских языков). Этот опыт, несомненно, должен быть признан удачным. Авторы собрали и подвергли сравнительно-историческому рассмотрению огромный лексический материал (около 400 словарных статей). Выполнена тщательная работа по исключению усвоенного в позднее время фонда, не представляющего интереса с компаративистской точки зрения, вследствие чего число неопознанных заимствований сведено практически до минимума [1].

Общий высокий уровень интерпретации лексики, особенно если учесть объективные трудности самого материала, не вызывает сомнений. В этой связи достаточно сказать, например, что в аспекте предпринимаемых реконструкций звукотипа прадагестанских лексем рецензируемая работа опирается на образцовые труды Е. А. Бокарева и Т. Е. Гудава и, в частности, в принципе разделяет тезис об исконности здесь серии латеральных согласных [2]. Имеются все основания утверждать, что вместе с некоторыми другими параллельно ведущимися работами рецензируемая книга закладывает фундамент этимологического словаря нахско-дагестанских языков.

Другим очевидным итогом труда является предпринятая на собранном материале дальнейшая разработка ряда проблем сравнительной грамматики дагестанских языков. Ее конкретные результаты дают себя знать в аспекте анализа как фонологической, так и морфологической структуры основ. Так, материал словаря наглядно свидетельствует, что если глагольные основы чаще характеризуются схемой *CV* и реже — *CVC*, то в именных, напротив, резко преобладает *CVC*: примерно на 245 непроизводных двуконсонантных именных основ приходится лишь около 70 одноконсонантных (более строгим критиком число последних могло бы быть существенно сокращено).

В плане морфологического анализа основ привлекает внимание довольно осторожный подход авторов к толкованию исторической структуры именных баз, которые еще в недавнем прошлом были объектом совершенно произвольного членения. Весьма показательно, в частности, что в большинстве случаев они осознают проблематический характер постулации окаменелых классных префиксов в субстантивах неотглагольного происхождения.

Следует, наконец, отметить, и самостоятельную ценность содержащегося в работе лексического материала, особенно — по бесписьменным языкам, способного в известной мере играть роль справочника (использование книги в этом плане несколько затруднено отсутствием пословного указателя).

Материал исследования сосредоточивает внимание на некоторых специфических факторах, учет которых сравнительной грамматикой дагестанских языков представляется необходимым.

Один из них — роль фактов нахских языков в реконструкции общедагестанских архетипов. Как известно, ни один кавказовед не сомневается в родстве нахских языков с дагестанскими (особенно тесно они связаны с аварско-андийско-цезской группой последних). Внутренняя логика исследования привела авторов в ряде случаев к ссылкам на соответствующие нахские факты. Действительно, не приходится сомневаться в том, что учет последних повышает степень достоверности реконструируемых прадагестанских форм. Так, именно к праформе **барцI* «волк», а не **бацI*, предлагаемой

[1] Из в общем немногочисленных в этом отношении упущений можно указать на лексемы: «тулуп» (авар. *хъабача* и др.— стр. 215), «граница» (ахвах. *дазу* и др.— стр. 141), «невестка» (авар. *нус* и др.— стр. 132), «пророк» (дарг. *идбаг* и др.— стр. 146), «друг» (будух. *гьамбаз* и др.— стр. 130), «коса» (авар. *чIиникI* и др.— стр. 174), «барабан» (легз. *далдам* и др.— стр. 139), «пуговица» (авар. *кIичI* и др.— стр. 214), «сливочное масло» (гунз. *кIарахи* и др.— стр. 208) и некот. др.

[2] См.: Е. А. Бокарев, Введение в сравнительно-историческое изучение дагестанских языков, Махачкала, 1961; Т. Е. Гудава, Консонантизм андийских языков, Тбилиси, 1964.

на стр. 150, естественно прийти, если принять во внимание не только лакск. *барцI* и исторический лезгинский эквивалент основы *барцI*, выявленный недавно Б. Б. Талибовым, но и имеющиеся нахские параллели, например, бацбийск. *бIорцI*. Нахские формы вносят коррективы в реконструкцию общедагестанских лексем со значением: «женщина», «дым», «серп», «лиса», «жать», «палка», «ты», «семь» и мн. др. Следует также иметь в виду, что систематическое обращение к нахскому материалу способно не только уточнить облик основ праязыкового фонда, но и расширить объем этого фонда (ср. в этой связи эксклюзивные соответствия типа нахск. *тIум* — цахур. *цIум* «костный мозг»).

Другой подобный фактор составляет внутридагестанская лексическая интерференция. Целый ряд словарных параллелизмов, повторяющихся здесь по языкам в более или менее идентичной форме и занимающих в них более заметное место, чем это можно было предполагать, вплотную подводит дагестанское языкознание к разработке сложной, но очень интересной проблемы внутридагестанских заимствований. Как свидетельствует рецензируемая книга, в настоящее время эта проблема пока находит свое решение преимущественно в рамках отдельных языковых групп (ср., в частности, соображения авторов о зависимости ряда андийских и цезских лексем непосредственно от аварского источника).

Вполне естественно, что в адрес первого в своем роде исследования можно выдвинуть и ряд замечаний.

Не всегда адекватное решение находит в работе материал общедагестанских именных основ, что обусловлено неопределенностью критериев вычленения в них исторических аффиксов (особенно так называемых «суффиксов-детерминантов» и классных экспонентов). В результате вычленение классных показателей, например, в аварск. *ра-кI* «сердце», *рихел* «дизентерия», *ну-цIцI* «дверь», *бо-кьь* «хлев», бежт., гунзиб. *ри-с* «горло», чамал., ботл. *ре-кькьа* «вершина» и др., остается необоснованным. Вообще при рассмотрении этого вопроса следует учитывать, что в отличие от частей речи, изменяющихся в дагестанских языках по морфологической категории класса, имена существительные здесь распределяются по семантическим классам (отсюда неудобство использования в обоих случаях единого термина «грамматический класс»). Поэтому оправдана, например, постулация классных префиксов в отглагольных субстантивах. Однако даже, казалось бы, очевидные прецеденты функционирования этих префиксов в составе нескольких непроизводных даргинских имен (ср. *в-арг* «желудок мужчины», *р-арг* «желудок женщины», *д-арг* «желудок животного») представляют собой выражение иной категории, а именно — категории органической принадлежности, пережитки которой прослеживаются в названиях частей тела и номенклатуре родства,— также в отдельных других дагестанских языках. Что же касается «суффиксов-детерминантов» основ, то самое их понятие обрисовано весьма неопределенным образом.

Одним из кардинальных вопросов для работ подобного рода является вопрос о системе нотации. Авторы уделили ему большое внимание: они рассмотрели фонетические системы всех дагестанских языков и создали транскрипционную систему, традиционно связанную с орфографиями ныне письменных языков (следует отметить, что это нелегкая задача, так как в разных алфавитах приняты различные обозначения сходных звукотипов). Алфавит знаков приведен в конце книги. Каждый знак интерпретируется в терминах фонетических признаков, определяющих обозначаемый им звук. Однако не все здесь сделано последовательно: как правило, проводится различие между смычными, аффрикатами и спирантами, а знаки *къ* и *хъ* неожиданно описываются как соответственно «глухой увулярный непридыхательный» (стр. 293) и «увулярный глухой придыхательный» (стр. 294), в то время как признак придыхательности нигде больше не участвует. В принципе этот признак следовало бы ввести, но не в первую очередь для увулярных; в данной транскрипции фонетически придыхательные трактуются как простые; а непридыхательные (и краткие, и долгие) — как геминированные, что связано с кавказоведческой традицией; неудобство этого видно на материале хиналугского языка, где в интервокальном положении могут быть придыхательные, непридыхательные и долгие смычные [3]; это обусловлено тем, что в увулярном ряду авторы не выделяют смычные аффрикаты. Упущением в системе обозначений является также отсутствие указаний на то, как интерпретировать такие сочетания, как *кк*, *цIцI*, *тт* и др., тем более, что проблема геминированных, которые здесь имеются в виду, достаточно запутана и для разных языков признак геминации имеет различные фонетические интерпретации.

Вообще надо заметить, что в работе недостаточное внимание уделено вопросу об уровнях записи. Неясно, на каком уровне записаны некоторые лексемы в пределах одного языка и, при явном тяготении к морфофонемной записи, можно встретить случаи как фонетической (ср. признак мягкости в хинал. *никI'* «кость» на стр. 114), так и близкой к морфемной записи (ср. арчин,

[3] С этим связаны трудности записи краткого непридыхательного *к* в словах *мыкIыр* «доска» (стр. 171) и *лыкка* «мясо» (стр. 204).

да-х- «открыть» на стр. 259). Представляется, что для целей сопоставления желательно иметь несколько уровней записи, а если это невозможно, то в каждом случае фиксировать уровень обозначения конкретной формы (разумеется, это очень сильное требование, так как известно, насколько трудно его выполнить даже при описании одного языка).

В плане разграничения уровней желательно иметь и специальные пометы для обозначения реконструируемых форм.

Последний примыкающий сюда вопрос — вопрос точности записи. При существующем состоянии синхронных описаний значительное количество материала авторам приходилось записывать непосредственно у информанта. При недостаточной изученности языка сложность фонологической интерпретации звуков может приводить к ошибкам; здесь и ниже мы в основном опираемся на материал двух бесписьменных языков — хиналугского и арчинского, на которых ввиду недостаточной изученности обоих ярче видны трудности и недостатки исследования такого рода. Так, в хиналугском языке иногда непридыхательные глухие смычные записаны как соответствующие звонкие (*гыза* вместо *ккыза* «снег» на стр. 192, *доз* вместо *ттоз* «дверь» на стр. 196, *была* «шило» вместо *ппла* на стр. 202, 216) и, более того, ошибочно фигурируют фонемы *дз* (*дзо* вместо *цва* «небо» на стр. 190) и *къг* (*къгув* «крыша» вместо *къув* «потолок» на стр. 200). В ряде случаев можно отметить другие неточности записи. Приведем примеры из арчинского языка: *ссат* вместо *сот* «зуб» (стр. 111), *бакьь* вместо *бабкьъв* «кишка» (стр. 112), *мамурчи* вместо *маIмиIрчи* «лицо» (стр. 116), *намхъ* вместо *набхъ* «слеза» (стр. 125), *мацц* вместо *мац* «язык» (стр. 127, ср., однако, стр. 43), *лъеннол* вместо *лълъоннол* «жена» (стр. 130), *декь* вместо *деIкь* «дорога» (стр. 142), *анш* вместо *аIнш* «яблоко» (стр. 168), *рохъ* вместо *рахъ* «борозда» (стр. 169), *сан* вместо *ссан* «год» (стр. 182), *сангъи* вместо *ссангъи* «вчера» (стр. 194), *дагьани* вместо *дахони* «зеркало» (стр. 197), *мегI* вместо *меI* «сыворотка» (стр. 207), *хъанкIьерту* вместо *хъонкIертту* «хинкал» (стр. 210), *хоIшан* вместо *хоIшон* «рубаха» (стр. 215), *олъх* вместо *олъ* «шерсть» (стр. 216), *шубус* вместо *шшубус* «брать» (стр. 240), *бацIцIас* вместо *баццас* «доить» (стр. 246), *элъас* вместо *элълъас* «жать (серпом); класть» (стр. 248, 251), *хас* вместо *хос* «найтись» (стр. 254). Имеются неточности и в записи хиналугского материала: *стIал* вместо *ыстIал* «палец» (стр. 120), *ункI* вместо *унг* «сердце» (стр. 124), *хнимкIар* вместо *хинимкIир* «жена» (стр. 130), *пышла* вместо *пшлаь* «лиса» (стр. 154), *тIынкI* вместо *тIынг* «капля» (стр. 188), *ваз* вместо *вацI* «луна» (стр. 193), *ницI* вместо *нуьцI* «мед» (стр. 205) *эʰс'* вместо *энг* «сыр» (стр. 209), *чешири* вместо *ччаьширu* «класть» (стр. 251).

Словарные статьи строятся таким образом, что в них даются только лексемы, сводящиеся к единому знаменателю. Поэтому при отсутствии в статье лексемы какого-либо языка предполагается, что там ее нет. Однако просмотр материала по арчинскому и хиналугскому языкам свидетельствует, что он не всегда учтен в полной мере. Так, в словаре отсутствуют арчинские слова: *хъал* «кожа» (стр. 113), *кььонтIол* «ноготь» (стр. 119), *бува* «мать (моя)» (стр. 131), *ацIцIи* «болезнь» (стр. 135), *хъаIшхъаIр* «парша» (стр. 137), *куц* «вид» (стр. 140), *бутIи* «доля, часть» (стр. 141), *чIорбутI* «рогатка» (стр. 144), *лъоб* «ножны» (стр. 145), *швитIила* «свирель» (стр. 147), *микIиран* «сновидение» (стр. 148), *нибсу* «моль» (стр. 156), *гваччи* «собака» (стр. 158), *мугь* «зерно» (стр. 164), *лъол* «вилы» (стр. 169), *хат* «горсть» (стр. 170), *цIахIан* «дрова» (стр. 172), *ссум* «стерня» (стр. 176), *ххеIл* «дождь» (стр. 185), *чIеле* «камень» (стр. 187), *генук* «яйцо» (стр. 211), *паIмтала* «брюки» (стр. 211), *тунг* «веретено» (стр. 212), *бехиттут* «высокий» (стр. 217), *цIекъдут* «кислый» (стр. 220), *беIхеIттут* «черный» (стр. 226), *цIун ас* «беречь» (стр. 244), *чарас* «печь (хлеб)» (стр. 247), *бу-кььас* «зарезать» (стр. 248), *асмус* «измерить» (стр. 250). Более беглый обзор хиналугского материала выявил отсутствие лексем: *ки* «баран» (стр. 148), *могь* «зерно» (стр. 164), *мычI* «крапива» (стр. 165), *ынка* «река» (стр. 191), *цIытар* «голый» (стр. 217), *кьи* «быть» (стр. 240).

К неточностям фактического материала можно отнести некоторые случаи ошибочного включения лексем в словарную статью. Таковы, например, формы *кыла* (стр. 203), *гьархъ* (стр. 206), *бахас* (стр. 263), записанные как арчинские эквиваленты семантем «лепешка», «пирог», «приносить».

Принцип организации словарной статьи, при котором в ее заглавии стоит русский эквивалент, естественно предполагает возможность случаев несовпадения в том или ином языке значения рассматриваемой лексемы с данным в заглавии. Авторы избрали, по-видимому, правильный путь устранения этой трудности: в таких случаях при отклоняющейся от заглавного значения лексеме дается ее отдельное толкование. К сожалению, эта важная семантическая информация не всегда фиксируется. Ср. следующие арчинские примеры: *эйттур* «мать» (стр. 131) на самом деле означает «не моя мать»; *ноIш* (стр. 152) — не «кобыла», а «лошадь»; *мукьур* (стр. 183) — не «грязь», а «грязь на теле»; *хацIи* (стр. 202) означает «щипцы» (которыми пользуются у очага), *кIичI* (стр. 214) — не «петля», а «пуговица»; *оккас* (стр. 245) — не «гореть», а «жечь»; *субус* (стр. 247) — не «жарить»,

а «варить»; *аблIес* (точнее: *а-б-лIис*, стр. 249) — не «идти», а «прийти»; *абтис* (стр. 257) не «оставить», а «освободить, пустить»; *боцIцIас* (стр. 258) — не «стоять», а «стирать»; *хъан квес* (стр. 265) — не «родиться», а «отелиться». В хиналугских примерах *вох* (стр. 175) означает «жернов», а не «мельница», *цIили* (стр. 260) — «сеять; наполнять», а не «пахать».

Большие трудности, очевидно, представляла для исследователей проблема выбора словарной формы для каждой части речи в целом и по каждому языку, поскольку приводятся лексемы, а не морфемы или основы. Действительно, выбрать для всех языков одни и те же грамматические формы едва ли возможно. Так, например, глагол в одних языках знает категорию инфинитива, а в других нет, в одних языках в словоформе легче выделимы показатели одного класса, а в иных — другого класса, не говоря уже о том, что состав классов по языкам не совпадает, и т. п. Тем более в пределах каждого языка следовало бы выбрать соответствующие опорные формы и придерживаться принятого условия. Тенденции подобного рода, несомненно, имеются в словаре, но они выдержаны не до конца. Так, арчинские прилагательные даются без достаточного основания с показателями разных классов: *чIубатту-т* (4 кл.) «белый» (стр. 216), *йатIынну-б* (3 кл.) «красный» (стр. 221), *кьуретту* (1 кл.) «сухой» (стр. 218), слово же *б-икьатту* «голодный» (стр. 218) имеет префиксальный показатель 3-го класса и суффиксальный — 4-го; форма *мацIат* «новый» (стр. 222) в отличие от всех прочих приведена в усеченном виде (вместо *мацIатту*). Арчинские глаголы также даются с показателями разных классов: *кьъан к-в-ес* (1 кл.) «любить» (стр. 253), *кьурас* (4 кл.) «сохнуть» (стр. 268), *а-б-цIас* (3 кл.) «наполниться» (стр. 255); в статье «опорожнить» (стр. 257) вместо глагола *б-ачIи-б-у а-б-ас* (3 кл.) приведено прилагательное (во 2-м классе) *да-чIартту-р*; в статье «открыть» вместо реальной словоформы *даблъас* (этот глагол по классам не изменяется) приведена форма на некотором морфемном уровне: *да-х* (стр. 259).

Хиналугские глаголы приводятся в форме причастий нерезультативного вида (это не очень удачно, так как морфологически она сложнее форм результативного вида, и приходится специально выделять видовые суффиксы *-ри*, *-ли*, *-ги*), а глагол «гаснуть» (стр. 244) дан в форме одного из прошедших времен от результативного вида: *кIи-ш-аьмаь*.

Все эти замечания показывают, насколько трудные задачи стояли перед авторами рецензируемого исследования. В силу необходимости им нередко приходилось впервые решать многие вопросы синхронного описания дагестанских языков, не получившие разработки в специальной литературе. В подобной ситуации ошибки неизбежны.

Конечно, последующие исследования не только внесут в обсуждаемый труд немало коррективов, но и существенно расширят его объем (в работе не учтены, например, общедагестанские лексемы со значениями «молоко», «хвост», «тур», «палка», «серп», «делить», «есть», «косить», «убивать»). Однако, едва ли возможно сомневаться в том, что именно рецензируемая монография послужит отправным пунктом всей дальнейшей работы в области сравнительно-исторической лексикологии нахско-дагестанских языков. Этот труд будет, несомненно, стимулировать и развитие описательного дагестановедения, важность которого для компаративистских исследований трудно переоценить. Настоящая работа будет полезна дагестановедам-синхронистам еще и потому, что, собирая воедино многочисленные факты всех языков, она позволяет шире взглянуть на место тех или иных грамматических и фонетических явлений в их типологии. Думается поэтому, что имеются все основания поблагодарить дагестанских лингвистов за создание большого и интересного труда.

А. Е. Кибрик, Г. А. Климов

Е. С. Скобликова. **Согласование и управление в русском языке.**— М., изд-во «Просвещение», 1971. 238 стр.

Способы связи слов, которые принято называть согласованием, управлением и примыканием, очень разнообразны. В последнее время все чаще высказывается мнение о необходимости пересмотра традиционного учения о видах грамматических связей между словами и введении в науку новых, более дифференцированных и точных понятий в этой области, более эффективной системы описания соответствующих конструкций.

К этой апелляции пересмотра и уточнения способов синтаксической организации слов в связной речи присоединяется и Е. С. Скобликова, опубликовавшая интересную и содержательную монографию о семантико-грамматической природе согласования и управления в русском языке.

Целью работы является характеристика «механизма» согласования и управления с точки зрения принципов, лежащих в их основе. Анализируются семантико-

грамматические функции управления и согласования, а также факторы, которые определяют выбор данной управляемой или согласуемой формы слова. При этом затрагиваются вопросы взаимодействия синтаксиса и лексики в сфере управления синтаксической валентности слова и слов определенных лексико-семантических групп, грамматического значения в синтаксисе, выясняется, какие грамматические категории участвуют в согласовании и управлении; автор касается проблемы словосочетания, второстепенных членов предложения.

В книге представлен метод «активной грамматики» Л. В. Щербы, призывавшего изучать те или иные грамматические явления, исходя «из потребностей выражаемой мысли» [1].

В первом разделе «Основные вопросы трактовки управления в современной синтаксической науке» автор показывает, что в понимании управления в русской науке наметились два направления. Сторонники узкого понимания управления ограничивают это понятие, связывая «синтаксическую функцию» зависимого падежа с выражением объектных, субъектных и предикативных отношений, а «семантическую функцию» — с выражением обстоятельственных отношений. При этом под управлением понимается только такая связь, «при которой имя, зависящее от глагола, другого имени или наречия, стоит в форме косвенного падежа с объектным или комплетивным значением» [2]. В присоединении же косвенных падежей с «наречной» функцией усматривается «именное примыкание» [3].

Автор монографии присоединяется к тем исследователям, которые придерживаются традиционного, широкого понимания управления, под которое подводятся все случаи, когда падежные и предложно-падежные формы находятся в подчинении у господствующего слова, выражая определенные смысловые отношения (стр. 25—26). Таким образом, автор относит к управлению и предложные конструкции необъектных глаголов (например, *ехали к лесу*, *ехали в лес*, *росли у реки*, *росли за рекой* и т. п.), и именные конструкции (например, *кувшин для молока*, *житель Москвы*, *ручка от двери* и т. п.). Конструкцией с примыканием признается «глагол + зависимое наречие» (например, *росли внизу*). При этом подчеркивается, что примыкание «не располагает грамматическими средствами для выражения разных реальных отношений; оно может передавать различия этих отношений только лексически» (стр. 31); следовательно, при примыкании речь идет только о лексическом выборе. Самостоятельными, «активными» способами грамматической связи слов в предложении, по мнению автора, являются только согласование и управление. Автор не может согласиться с тем, что управляемая форма зависит непосредственно и преимущественно от лексических особенностей управляющего слова. Форма управляемого слова, по его мнению, зависит скорее всего от плана смыслового содержания.

Во втором разделе анализируются функции согласования и управления. Управление располагает наибольшими возможностями в грамматическом выражении различных смысловых отношений между словами словосочетания и предложения. Оно определяется как падежный и предложно-падежный способ грамматического выражения отношения глагольного действия к предмету. В противоположность этому согласуемые формы показывают лишь, к какому предмету относится признак или действие. Участие согласования, управления и примыкания в синтаксической организации слов не ограничивается рамками словосочетания. Некоторые зависимые формы относятся к группе членов или ко всей структуре предложения и могут зависеть от всего строения предложения.

В третьем разделе описывается роль различных факторов в выборе падежной или предложно-падежной формы при управлении. «Широкое» и «узкое» понимание управления автор связывает с учением о словосочетании. Формирование словосочетания происходит не «до предложения», а в предложении как акте коммуникации. Автор не согласен с мнением, согласно которому словосочетание считается автономной единицей по отношению к предложению, существующей независимо от предложения и входящей в предложение в готовом виде (стр. 46).

Главным условием, определяющим выбор зависимой падежной или предложно-падежной формы, по мнению Е. Скобликовой, является потребность выразить определенные отношения между предметами и явлениями реальной действительности. И лишь как дополнительные факторы выступают: а) роль грамматических особенностей господствующего слова в выборе падежных и предложно-падежных форм, б) конкретное лексическое наполнение конструкции.

В четвертом разделе автор ставит целью выявить и описать две системы функционально однородных падежных и предложно-падежных средств. Исследованию подвергаются сравнительно узкие группы синтаксических конструкций, выделенные на основе функционально-семантического принципа: обстоятельственные конструкции, выражающие момент

[1] Л. В. Щ е р б а, Преподавание иностранных языков в средней школе, М.—Л., 1947, стр. 84.

[2] «Основы построения описательной грамматики современного русского литературного языка», М., 1966, стр. 139.

[3] «Грамматика современного русского литературного языка», М., 1970, стр. 516.

времени, и объектные словосочетания с глаголами речи, в которых падежная или предложно-падежная форма обозначает второго участника речи.

Детально проанализированы конструкции со значением промежутка времени в трехчленной оппозиции: предшествования обозначенному времени (*до собрания*, *перед собранием*), совпадения с обозначенным временем (*во время собрания*, *на собрании*), следования после обозначенного времени (*после собрания*). В конструкциях, определяющих второго участника речи, рассмотрены способы выражения второго активного участника речи (*говорил с братом — говорил брату*), пассивного участника, участника речи — ее адресата (*доложил командиру*), наличия или отсутствия обозначения адресата речи («В это время докладчик Вельяминов... *отвечал Акундину*: „Вы правы так же, как права лавина, когда обрушивается с гор...“», А. Н. Толстой, Сестры. «Люся ходила в детский сад. Я *спросил*, как ей там живется. „Плохо“,— отвечала девочка», там же).

В пятом разделе определяется роль грамматических и смысловых факторов в оформлении согласуемого слова. Согласование автор считает наиболее «формализованным» способом установления связи между словами. Принципы согласования рассматриваются отдельно по каждой из категорий, которые может иметь согласуемая подчиненная форма. Такими являются формы рода, числа и лица. При выборе формы рода различаются несколько видов согласования: собственно грамматическое, условно-грамматическое, ассоциативно-грамматическое и смысловое согласование. При выборе формы числа согласование также зависит от грамматических и семантических особенностей господствующего слова. Согласование глагола-сказуемого с подлежащим зависит не от речевой ситуации, а от словесного выражения субъекта.

В шестом разделе рассматриваются явления, которые иногда не по праву относят к согласованию. Речь идет о падежном параллелизме двух существительных в сочетаниях с приложением и предикативным существительным. Это особый способ синтаксической организации слов, стоящий ближе к управлению, чем к согласованию.

Работа дает ясное представление об участии форм слова в синтаксической организации строго нормированной речи. По сути учтены все возможности употребления субстантивных падежей в предложении.

Возможные замечания касаются прежде всего понятной неполноты работы. В отдельных случаях можно встретить абстрактные рассуждения, не подкрепленные достаточным иллюстративным материалом и поэтому трудно воспринимаемые. Отдельные положения не наполнены конкретным содержанием (стр. 82, 83, 102, 137, 141 и др.). Не раскрыты факты «примыкающего соединения» (по Н. Ю. Шведовой), когда в субстантивном словосочетании подчиненное существительное ставится в форме именительного падежа. Не раскрыта синтаксическая функция обращения. Автор не объясняет, как эта функция получает свое выражение при помощи входящих в предложение форм слов (стр. 234). Не нашла в работе достаточного отражения синонимичность и валентность слова в формировании управления и согласования. Интересно было бы, наверное, предложить анализ управления при словах — различных частях речи, отмечая синонимы и антонимы: это позволило бы показать, какими возможностями какое слово располагает, сколько беспредложных и сколько предложных конструкций оно способно образовать. Ср., например, ограниченность управляемых форм при слове *страх* и большее их число при слове *борьба* и т. п.

Эти и некоторые другие мелкие недочеты не снижают достоинств анализируемый книги. Она содержит много хороших и полезных рекомендаций и дает обильный материал не только для изучения способов синтаксической связи в словосочетании, но и для грамматической характеристики второстепенных членов предложения: «последние связаны с наиболее крупным разграничением компонентов предложения в соответствии с их коммуникативно-семантическими функциями» (стр. 236).

М. В. Симулик

«Этнография имен», ред. В. А. Никонов и Г. Г. Стратанович. — М., изд-во «Наука», 1971. 264 стр.

Имена собственные, занимающие весьма своеобразное место в словаре любого языка, выступают в качестве объекта целого ряда общественных наук — языкознания, этнографии, истории, географии, социологии и т. д., поэтому вполне закономерно рассмотрение их с разных точек зрения. Вышедший под редакцией В. А. Никонова и Г. Г. Стратановича сборник «Этнография имен», подготовленный группой ономастики Института этнографии АН СССР, посвящен, как

видно из грифа и заголовка, этнографическому аспекту изучения имен собственных.

В сборнике рассмотрены вопросы разных отраслей ономастики (этнонимика, антропонимика, топонимика, а также более мелкие и слабо разработанные подразделения ономастики, изучающие клички животных, названия небесных объектов, собственные имена вещей и организаций) в отдельности и в их пересечении на материале различных языков и народов, причем статьи сборника не одинаковы по степени обобщения и глубины разработки материала, который в ряде случаев лишь инвентаризуется, но не исследуется в полном смысле слова, что неизбежно на первом этапе научного анализа. Разобраться во всей сложной проблематике, решаемой или просто затронутой в сборнике, помогает вводная статья «Этнография и изучение собственных имен», написанная редакторами тома, в которой содержание статей соотносится с актуальными задачами нынешней ономастики и сформулированы дальнейшие задачи в разных областях ономастических разысканий с учетом перечисленных во вводной статье достижений ономастики в последнее время.

Всего в сборнике «Этнография имен» помещено 42 статьи, из них 19 посвящено анализу личных имен (антропонимика), 13 — анализу географических названий (топонимика), 4 — анализу названий и самоназваний народов (этнонимика), 3 — связям географических названий с этническими и личными именами (комплексные вопросы ономастики) и лишь по одной статье анализу названий небесных объектов (космонимика), анализу кличек животных (зоонимика) и анализу так называемых словесных «товарных знаков» (название этой отрасли ономастики еще не установилось, как и ее объект). В сборнике также представлена одна статья зарубежного автора — В. Васченко, занимающегося разновидностями восточнославянских антропонимических систем. Количество статей по тому или иному разделу ономастики в сборнике отражает не только и не столько степень ее разработанности, сколько степень интереса к ней со стороны исследователей в настоящее время, а также объем подлежащего исследованию материала и возрастание интереса к изучению той или иной группы собственных имен в науке. Так, если изучение личных имен и географических названий уже имеет длительную традицию и выработанные методологические основы анализа подобного рода лексики (хотя обобщение сделанного и бурный интерес к изучению этих слов в последнее время, особенно в теоретическом плане, создает видимость зарождения здесь новых отраслей науки), то изучение этнических наименований, особенно в теоретическом плане сильно отстает от прочих отраслей ономастики, чему (и это весьма поучительно!) в немалой степени способствовала традиционная орфография многих языков (и прежде всего современная русская), в соответствии с которой названия народов писались со строчной буквы и исключались из области собственных имен не только молчаливо, но и даже с попытками обосновать это исключение путем неубедительных рассуждений на эту тему [1]. Другие отрасли изучения имен собственных имеют еще меньшую традицию разработки и представлены лишь единичными статьями; сборник, таким образом, отражает современное состояние развития ономастических исследований в нашей стране.

В сборнике рассматриваются преимущественно этнографические вопросы иногда в ущерб лингвистике, что проявляется, прежде всего, в отсутствии точно выработанной единой системы транскрипции, а использование для сопоставления форм, закрепившихся традицией в русской орфографической передаче иноязычных названий, смазывает их некоторые фонетические особенности. Можно ограничиться одним примером. Если в статье Н. А. Баскакова «Русские фамилии тюркского происхождения», продолжающей серию уже опубликованных статей под тем же названием, применяется тюркская транскрипция на латинской основе, то в следующей за ней статье Т. Ж. Жанузакова «Обычаи и традиции в казахской антропонимии» тюркские слова можно узнать с трудом, ибо русская орфография стирает различия между гласными *о — ӧ*, *и — ӥ*, между согласными *q — k*, *γ — g* и т. п. И уж совсем

[1] «Некоторые ошибочно считают, что к собственным именам относятся и названия племен и народов. Однако это неверно. Названия народов — такие же нарицательные имена, как и все остальные (?). Правда, они звучат для нас подобно собственным именам в том случае, если мы впервые слышим эти названия, например: племенные группы *сго*, *пво*, *бве*, народности *кая*, *пью*, *ва*, *нага*, *карены*, *качины*, *чины*, *моны* (Бирма). Но так же мы воспринимаем и неизвестные нам нарицательные: обычай любования цветами — *ханами* (Япония), древесная порода — *пьинкадо*, золотой зонт на пагоде — *хти*, золотой или алмазный шар, венчающий пагоду,— *сейнбу*, круговой барабан— *саин-ваин*, бирманская арфа — *саун*, бирманский ксилофон — *паттала*, танцы — *озн*, *йодайя*, туфли без задников — *пана* (Бирма) и т. д. Все эти названия — не собственные имена, а просто незнакомые или мало знакомые нам имена нарицательные» (А. В. Суперанская, Прописная и строчная буква в собственных именах разных категорий, «Орфография собственных имен», М., 1965, стр. 27—28).

неясно, почему почти одинаково звучащее в казахском и узбекском языках слово *börі* «волк» передается на письме поразному: казах. *бөрі*, узб. *бўри*. Вероятно, здесь сказались особенности казахской и узбекской график (казах. *бөрі*, узб. *бўри*), которые лишь частично были нивелированы при русской передаче (стр. 102). Неточная транскрипция ведет к незакономерным сближениям или, наоборот, разъединяет (при отсутствии последовательности в упрощении) формы, которые следовало бы сблизить.

Другой недостаток, свойственный многим статьям сборника, проявляется в некоторой беззаботности авторов при обосновании этимологических решений, когда этимология дается на слишком узком материале, который не может согласоваться с материалом родственных языков. Например, на основании двух названий для Венеры в турецком языке: *Чолпан* и *Чобан ыылдызы* делается вывод, что и казахское *Шолпан жулдызы* значит «пастушья звезда» (стр. 235). Однако география иранизма *чобан*, *чопан* (< перс. *šubān*) «пастух, чабан» и монголизма *Чолпан* «Венера» в современных тюркских языках такому этимологическому объяснению решительно противятся [2]. Просто в турецком языке произошло случайное сближение двух основ разного происхождения, что ни в коей мере не может быть распространено на другие тюркские языки.

Не всегда преодолевается в сборнике и такой недостаток, как произвольное членение собственных имен на удобные для составителя части, причем учитываются лишь согласные и полностью игнорируются гласные. Особенно ярко этот недостаток проявляется в статье Л. С. Толстовой «Некоторые вопросы исторической ономастики Хорезмского оазиса», где автор выделяет в хорезмских топонимах и этнонимах части, напоминающие по консонантизму название древнего государства в Месопотамии XVI—XIII вв. до н. э.— *Митанни* (Маитани), хотя уже сопоставление каракалпакского этнонима *мюйтен* с узбекским *митан* (в орфографии Л. С. Толстовой) требует обоснования из-за своей нерегулярности (узб. *і*— каракалп. *ий*).

В статье можно отметить и другой недостаток, свойственный отдельным статьям сборника,— отсутствие историзма, проявляющееся в игнорировании данных из письменных памятников, которые дают возможность проверить правомочность сопоставлений современных форм с удаленными от них хронологически и территориально древневосточными названиями.

Зато большая статья В. А. Никонова «Женские имена в России XVIII века» в то же время являет собой образец тонкого филологического анализа архивного материала из памятников деловой письменности: на основании последнего делаются весьма интересные выводы историко-этнографического характера относительно моды на имена в разных сословиях России XVIII в. Приведенные в этой статье материалы позволяют думать, что ставшее во многих языках Поволжья нарицательным общим названием русской женщины имя *Марья* (татар. *Марҗа*, чуваш. *майра* и т. п.) первоначально относилось только к русским женщинам социальных верхов [3].

Из частных замечаний укажем на то, что на стр. 97 груз. *Кутаиси* ошибочно толкуется как тюркизм (ср. др.-груз. *Kutatisi*).

В целом сборник исследований по собственным именам содержит большой фактический материал из разных регионов и языков, ряд интересных наблюдений над бытованием и развитием собственных имен, дает некоторые обобщения для общего учения о собственных именах и вводит в научный оборот новый конкретный фактический материал, особенно ценный для этнографии и истории. Сборник хорошо отражает современное состояние ономастических исследований в нашей стране. Широкий охват ономастической проблематики во всем ее объеме обусловил как слабые, так и сильные стороны сборника — они производны от состояния самой науки, которая развивается неравномерно на разных участках. Подводя итоги сделанному и ставя новые задачи, сборник будет способствовать подтягиванию отстающих участков науки.

Сборник «Этнография имен» с интересом будет встречен всеми специалистами по собственным именам с уклонами в разные науки, он будет полезен также для всех кто проявляет внимание к жизни собственных имен. Хочется надеяться, что издание таких сборников будет более или менее регулярным.

И. Г. Добродомов

[2] M. Räsänen, Versuch eines etymologischen Wörterbuchs der Türksprachen, Helsinki, 1969, стр. 112, 115.

[3] Ср.: Э. М. Ахунзянов, Русские заимствования в татарском языке, Казань, 1968, стр. 155, где отмечается первый не вполне ясный случай употребления этого слова в татарском документе 1639 г.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1972

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

10—12 ноября 1971 г. в Ленинградском отделении Института языкознания АН СССР происходила юбилейная конференция, посвященная пятидесятилетию академического лингвистического центра в Ленинграде. Конференцию открыл старейший сотрудник Института В. И. Абаев.

Доклад чл.-корр. АН СССР А. В. Десницкой (Ленинград) был посвящен роли лингвистических институтов Ленинграда в истории советского языкознания. Первый лингвистический институт, созданный 50 лет тому назад в Ленинграде, на протяжении многих лет сосредоточивал в себе основную работу в области теории языкознания. В нем работали крупнейшие советские языковеды — академики Н. Я. Марр, И. И. Мещанинов, Л. В. Щерба, В. М. Жирмунский, В. Ф. Шишмарев, С. П. Обнорский, С. А. Жебелев, И. И. Толстой, члены-корр. АН СССР Д. В. Бубрих, С. Е. Малов, В. И. Чернышев, Е. С. Истрина, Н. В. Юшманов, А. К. Боровков, профессора Б. А. Ларин, Л. П. Якубинский, В. А. Брим, К. Д. Дондуа и ряд других. Своим рождением исследовательский коллектив, собравший в себе языковедов — специалистов по разным языкам Советского Союза и зарубежных стран, был обязан Великой Октябрьской социалистической революции. Объединение для коллективной творческой работы ученых различных поколений, различного типа научной подготовки, различного круга исследовательских интересов было одним из важных шагов в организации молодой советской науки; оно имело целью разработку лингвистической теории на широком и новом языковом материале с применением положений марксизма-ленинизма.

Первый лингвистический Институт в системе Академии наук, получивший сначала название Института яфетидологических изысканий, был организован акад. Н. Я. Марром в 1921 г. В 1931 г. он был переименован в Институт языка и мышления. После смерти акад. Н. Я. Марра руководителем Института почти 20 лет был акад. И. И. Мещанинов. Работа Института постепенно расширялась, охватывая все большее число лингвистических специальностей и разную проблематику. Институт усиливал работу по подготовке научных кадров, в том числе для национальных республик. В 30-е годы в состав Института влились коллективы Словарной комиссии Академии наук, а также Ленинградского научно-исследовательского Института языкознания (бывшего Института речевой культуры). В 30-е годы теоретический профиль Института в значительной мере определялся исследованиями грамматических структур многочисленных языков Советского Союза, в особенности бесписьменных и младописьменных языков северо-востока Сибири, а также Северного Кавказа. Значительно продвинулось изучение истории германских и романских языков. Большая и плодотворная работа проводилась в области изучения русского языка. В Институте были развернуты подготовительные работы по созданию большого академического словаря, академической грамматики, атласа русских народных говоров, а также интересные исследования по исторической лексикологии, имевшие целью создание словаря древнерусского языка.

В 1950 г. был создан Институт языкознания Академии наук с центром в Москве. Ленинградский лингвистический коллектив сохранился и функционирует как отделение Института языкознания, включая в себя также и словарный сектор Института русского языка Академии наук. Он продолжает традиции, которые создавались трудами и талантами первых поколений советских лингвистов.

В своем докладе «Славистика и русистика в Институте языка и мышления» чл.-корр. АН СССР Ф. П. Филин (Москва) выделил четыре линии исследований в областях «славистика и русистика», проводившихся в Институте языка и мышления: 1) лексикография и лексикология, 2) академическая грамматика, 3) происхождение русского литературного языка, 4) лингвистическая география, и затем перешел к их подробной характеристике. Он остановился на дискуссиях, которые велись по вопросу о выборе теоретических основ академической грамматики и по вопросу о литературном языке древней Руси. По его мнению, ни Л. В.

Щерба, который продолжал линию А. А. Шахматова, ни С. П. Обнорский не были вполне правы, ибо в древней Руси еще отсутствовал единый полифункциональный литературный язык: религиозная литература основывалась на старославянском, деловая — на народно-разговорном языке. Сложна была история лингвогеографических исследований, пионером и главным представителем которых в СССР был акад. В. М. Жирмунский. Многое было сделано также Д. В. Бубрихом. Во время войны в работу по составлению атласа включилась группа московских диалектологов во главе с Р. И. Аванесовым. В заключение Ф. П. Филин подчеркнул важность преемственности в науке.

Доклад чл.-корр. АН СССР В. Н. Я р ц е в о й (Москва) был посвящен германистике и романистике в Институте языка и мышления. Хотя романо-германская филология оформилась в Институте языка и мышления позже, чем некоторые другие частные языковедческие дисциплины, ее развитие в стенах академического Института было очень плодотворным. Теоретические положения, разработанные на материале разноструктурных языков, развивались в работах М. М. Гухман, С. Д. Кацнельсона, А. В. Десницкой, В. М. Жирмунского и других романо-германистов. В работе Института принимал активное участие акад. В. Ф. Шишмарев.

Сравнительно с положением романо-германистики в русской науке начала XX в. после Октябрьской революции не только развернулась работа по составлению сравнительно-грамматических исследований, но и интенсивно шло изучение живых языков. Исследования в ИЯМ характеризовались свободой от узкого морфологизма, интересом к содержательной (понятийной) стороне конструкций.

В своем докладе «Изучение языков малых народов Севера в Институте языка и мышления — Институте языкознания» О. П. С у н и к (Ленинград) говорил о том, что их планомерное изучение началось только в 20-х годах нашего века. Он остановился на истории изучения языков малых народов советского Севера, Сибири и Дальнего Востока в Институте народов Севера, в Ленинградском университете, ЛГПИ им. А. И. Герцена, в Институте языка и мышления. Северные языки чрезвычайно интересовали Н. Я. Марра, который организовал обработку полевых записей, произведенных В. Г. Богоразом. Особенно важной для изучения северных языков была деятельность И. И. Мещанинова, собравшего вокруг себя научный кружок молодых лингвистов-северников. В 1935 г. И. И. Мещанинов прочитал в Ленинградском университете курс лекций с широким привлечением фактов этих языков, а в 1936 г. издал его в виде книги «Новое учение о языке». В «Общем языкознании» (1940) материалы северных языков были использованы еще шире. В послевоенные годы усилиями И. И. Мещанинова и некоторых его помощников работа по изучению северных языков была продолжена в ИЯМ, а позднее в ЛО ИЯ, где исследования по этим языкам ведутся и сейчас. Свидетельством тому являются многочисленные словари, грамматики, сборники текстов, описания диалектов, обобщающие очерки. Необходимо, как подчеркнул О. П. Суник, более широкое развертывание полевых исследований для фиксации некоторых постепенно исчезающих языков.

В докладе С. Д. К а ц н е л ь с о н а (Ленинград) была дана оценка синтаксической типологии 30-х годов. По его определению, типология как специальная лингвистическая дисциплина — это не обязательно классификация языков и не учение о типах языков, а скорее наука, продолжающая традицию универсальной и философской грамматики XVII—XVIII вв., т. е. наука о теоретических основаниях единства и своеобразия естественных языков. Анализируя типологические взгляды И. И. Мещанинова, С. Д. Кацнельсон отметил, что аналогичную проблематику разрабатывали и многие другие ученые, подчас далекие от взглядов Н. Я. Марра. Вопросы типологии стояли в центре внимания многих советских языковедов и были навеяны более серьезными потребностями науки, чем интересы одного лишь «нового учения о языке». Типологическая концепция И. И. Мещанинова была генетической и, в отличие от многих современных типологических теорий, ставила перед собой цели раскрытия основных исторических стадий в формировании грамматического строя. При этом конструкции брались не изолированно, а как приметы своеобразного синтаксического строя. Теорию И. И Мещанинова отличало и то, что его типология ориентировалась на содержание языковых форм (в наиболее позднем варианте учения — на понятийные категории). Крушение стадиальной типологии было вызвано не ошибочностью исходных принципов, а неразработанностью категориального аппарата (под синтаксисом понимались и синтаксическая морфология и синтаксическое содержание; не учитывалось, что форма и содержание в языке не изоморфны; в плане содержания не вполне различались формы сознания, идеологические формы и формы мышления, а в самом языке — формальные и собственно семантические функции).

Доклад М. М. Г у х м а н (Москва) был посвящен универсалиям в лингвистических исследованиях 30—40-х годов, когда универсализму противопоставлялось историко-диалектическое понимание общего и частного. Важно было не столько обнаружить общее, сколько раскрыть специфические черты реализации

этого общего. Такой подход к соотношению общего и частного обусловил, например, характер синхронной типологии у И. И. Мещанинова. Другой характерной чертой исследований по универсалиям, проводившихся в Институте языка и мышления, являются поиски общих признаков в самом процессе развития языка. В 30-е годы была выдвинута гипотеза о существовании для каждого стадиального типа определенной системы взаимосвязанных признаков, т. е. стадиальных универсалий (ср. с импликационными универсалиями, описываемыми в современной лингвистике).

Содержательный аспект универсалий был ориентирован на систему синтактико-смысловых отношений, а не на логико-грамматические категории или типологию поверхностных (формальных) структур. Это определяло, отметила М. М. Гухман, новизну и оригинальность самой постановки вопроса не только по сравнению с более ранними логико-грамматическими схемами, но и сравнительно с универсалиями, выявленными во многих работах последних десятилетий, в которых нередко единичный, подчас мало релевантный, а то и случайный или частный признак возводится в ранг универсалии.

А. П. Евгеньева (Ленинград) в докладе «Работы по исторической лексикологии и лексикографии в Институте языка и мышления» осветила историю подготовки Словаря древнерусского языка, с которой были связаны исследования по исторической лексикологии. В 1925 г. Отделение русского языка и словесности РАН по докладу акад. А. И. Соболевского приняло решение образовать «Комиссию по собиранию материалов по древнерусскому языку». Созданную Комиссию возглавил А. И. Соболевский. В ее состав вошли акад. М. Н. Сперанский, акад. Б. М. Ляпунов, С. П. Обнорский, П. К. Симони, А. М. Селищев, В. Ф. Ржига и др. Комиссия начала разработку вопросов об источниках Словаря, его направлении, занялась подготовкой материалов. В 1931 г. она вошла в состав ИЯМ. Особенно широко развернулась работа с 1934 г., когда был создан постоянный штат сотрудников, во главе которого стал Б. А. Ларин. Выдвигаются новые проблемы, значительно расширяются задачи Словаря, ведутся исследования по исторической лексикологии. Создается «Проект» Словаря (1936). Начинается составление Словаря, однако широта и многообразие поставленных задач осложняют работу. Война прервала начатое дело, а послевоенное время выдвинуло новые задачи. Работа продолжается по пересмотренным принципам в Ленинграде до 1953 г. В настоящее время она ведется в Москве.

В докладе Г. Ф. Турчанинова (Ленинград) «Кавказоведение в Институте языка и мышления» шла речь об организации работы по изучению языков Северного Кавказа и Дагестана. В 20 и 30-е годы в ИЯМ велись исследования по таким языкам, как абхазский (Н.Я. Марр, К. Д. Дондуа, А. Н. Генко, Г. Ф. Турчанинов), черкесские (адыгские) (Н. Ф. Яковлев), кабардинский (Г. Ф. Турчанинов), лакский (Г. Б. Муркелинский), дидойский (цезский) (И. В. Мегрелидзе), чамалинский и аварский (А. А. Бокарев), даргинский (С. Л. Быховская), агульский и языки шах-дагской подгруппы яфетических языков Дагестана (Р. М. Шаумян). По некоторым из этих языков были подготовлены и выпущены в свет грамматики и словари. Традиции кавказоведческой работы в Ленинграде не прерываются. В настоящее время в Ленинградском отделении Института языкознания работает группа кавказоведов, сотрудники которой занимаются изучением абхазского, лакского, грузинского, аварского и адыгских языков.

О картвелистике в Ленинградском яфетическом институте — Институте языка и мышления рассказал член-корр. Грузинской АН Ш. В. Дзидзигури (Тбилиси). К моменту создания Ленинградского лингвистического центра картвелистика стояла на высокой ступени развития. В Институте работа сразу же развернулась по четырем направлениям: 1) текстологии, 2) структуре и лексике картвельских языков, 3) грузинской диалектологии и 4) грузинско-баскским параллелям. Исследования осуществлялись под руководством и при непосредственном участии акад. Н. Я. Марра. Наряду с разработкой теоретических вопросов картвелистики большое внимание уделялось полевой работе. Были исследованы и описаны такие диалекты грузинского языка, как имеретинский (С. Л. Быховская, Л. Г. Башинджагян, Ш. В. Дзидзигури), лечхумский (М. Я. Чикавани), гурийский (Н. Я. Марр, И. В. Мегрелидзе, А. А. Глонти), кахетинский (М. П. Чхаидзе), месхский (К. Д. Дондуа, Ш. В. Дзидзигури), говор грузинских евреев Ахалцихского района (Г. В. Церетели) и др.

В. И. Абаев (Москва) выступил с докладом «Яфетический институт. 20-е годы». Он поделился своими интересными воспоминаниями о том периоде в истории Яфетического института, который он назвал «романтическим». В. И. Абаев рассказал о сотрудниках, работавших в Яфетическом институте, о докладах и семинарах, проходивших на квартире у Н. Я. Марра, о том впечатлении, которое произвели на него встречи с Н. Я. Марром и Л. В. Щербой.

Заключительным на конференции был доклад Л. Р. Зиндера и Т. В. Строевой (Ленинград) «Институт речевой культуры и советское языкознание в 20—30-х гг.» Существовавший с

1921 по 1936 г. научно-исследовательский институт назывался первоначально Институтом сравнительного изучения литературы и языков Запада и Востока (ИЛЯЗВ), затем Государственным институтом речевой культуры (ГИРК) и, наконец, Ленинградским научно-исследовательским институтом языкознания (ЛНИИЯ). Ведущими проблемами, разрабатывавшимися в Институте, были история национальных языков, социальная диалектология, развитие синтаксиса в связи с развитием мышления, лингвистическая типология (издание серии «Строй языков» под ред. А. П. Рифтина) и др. В работе над этими вопросами участвовали многие лингвисты Ленинграда, не состоявшие в штате Института.

Конференция вызвала большой интерес самых широких кругов лингвистов. В библиотеке Института языкознания была развернута выставка, на которой были представлены работы сотрудников Института за истекшие 50 лет.

А. С. Либерман, Л. З. Сова (Ленинград)

*

27—29 октября 1971 г. в Институте русского языка АН СССР состоялся симпозиум по теории русской грамматики, посвященный обсуждению «Грамматики современного русского литературного языка» (М., «Наука», 1970). В симпозиуме приняли участие языковеды из 80 городов Советского Союза и зарубежные специалисты из ГДР, Болгарии, ЧССР, Венгрии, Югославии и США. Открывая симпозиум, директор Института чл.-корр. АН СССР Ф. П. Филин сказал, что обсуждение «Грамматики» должно иметь две цели: оценку ее достоинств и недостатков и обсуждение важнейших проблем грамматической теории. И то и другое важно потому, что на тот же коллектив под руководством Н. Ю. Шведовой возложена задача подготовить новую, академическую, грамматику русского языка. «Грамматика» 1970 г. является не академическим пособием-справочником, а экспериментальным исследованием. Академическая грамматика должна быть капитальным сводом всех грамматических правил и исключений из них; в ней не должно быть гипотез и иных положений, не проверенных в исследовательской и педагогической практике; ее теоретическая основа — то, что является более или менее общепринятым в русской грамматической науке.

Обсуждение «Грамматики» началось дискуссией по общим принципам ее построения. Было признано, что авторам в целом удалось осуществить главную из поставленных ими задач — показать языковые явления в системе, последовательно разделяя аспекты формы и ее функции. По мнению В. И. Кодухова (Ленинград), положительной стороной «Грамматики» является стремление к наиболее полному отражению языкового материала, к подчинению всех ее разделов единой, четко сформулированной точке зрения. Заслуживает одобрения попытка согласовать задачи исследования с принятой моделью описания, в которой списки образцов, систематизированных в виде парадигм и наборов схем, дополняются методикой изучения их конкретных реализаций. В сравнении с академической «Грамматикой» 1952—1954 гг. обсуждаемая «Грамматика» в большей степени учитывает функциональный и семантический аспекты языковых явлений. Вместе с тем предлагаемая методика, если оценивать ее с точки зрения пригодности для описания литературной нормы, страдает отсутствием критерия нормативности. Эта мысль получила поддержку в выступлении А. И. Моисеева (Ленинград), остановившегося на принципах отбора и способах подачи иллюстративного материала. В отличие от предшествующих грамматик, построенных исключительно на материале художественной литературы, подаваемом методом прямого цитирования, обсуждаемая книга оперирует преимущественно сокращенными речениями и примерами-образцами, смещающими весь материал в сторону свободной разговорной речи. А. И. Моисееву, оценившему этот факт отрицательно, возражали А. А. Леонтьев (Москва) и В. А. Ицкович (Москва), по мнению которых принципиальная и систематическая опора «Грамматики» на живую речь является ее большим достоинством. По мнению В. Н. Ярцевой (Москва), полнота охвата языковых фактов выгодно отличает обсуждаемую книгу от большинства зарубежных «структурированных» описаний, в которых стройность и непротиворечивость решений чаще всего достигается за счет обеднения самого языкового материала. Однако совместить полноту описания с его непротиворечивостью авторам не везде удалось. Общим условиям построения описательной (академической) грамматики языка посвятил свое выступление Б. Н. Головин (Горький). Особое внимание докладчик уделил вопросу о правомерности отхода от ряда традиционных решений в трудах такого типа. Б. Н. Головин изложил свое понимание академической грамматики как жанра, не допускающего пересмотра традиционных взглядов. Эта точка зрения была поддержана Е. С. Скобликовой (Куйбышев). Как синтезирующее исследование, сохранившее главные достижения русской лингвистической традиции и в то же время отразившее существенные стороны развития лингвисти-

ки, квалифицировали «Грамматику» А. Ф. Прияткина (Владивосток), И. А. Мельчук (Москва), Р. Эккерт (Лейпциг), Р. Ружичка (Лейпциг) и др. О большой роли, которую сыграет эта книга в преподавании русского языка нерусским, а также в исследованиях сопоставительного характера, говорилось в выступлениях Л. Л. Кима (Ташкент), Д. К. Джагацпаняна (Ереван), Л. Дежё (Будапешт), М. Ивич (Новый Сад), Р. Ружички. Положительное влияние «Грамматики» на развитие отечественного языкознания было признано большинством участников обсуждения. Негативная оценка книги, ее метода, материалов, способа изложения, композиции, предложенных решений содержалась в выступлениях Б. Н. Головина, А. А. Данилова (Вологда) и В. Л. Архангельского (Тула).

При обсуждении раздела «Сведения по фонологии» (автор С. Н. Дмитренко) были поставлены вопросы, связанные с выбором исходной фонологической теории, с определением объема необходимых сведений, с местом и назначением данного раздела в описательной грамматике. В ходе дискуссии выявилось несколько точек зрения. По мнению М. А. Жовтобрюха (Киев), в академической грамматике должно быть представлено максимально полное синхронное описание звукового строя русского языка в его фонологическом и фонетическом аспектах, с привлечением результатов экспериментального изучения звуков. Обсуждаемый же раздел страдает неполнотой (существенным его недостатком является отсутствие данных о сочетаемости фонем); кроме того, в нем есть некоторые противоречия, отсутствует связь с другими разделами. Негативная оценка раздела содержалась в выступлении К. В. Горшковой (Москва), квалифицировавшей работу С. Н. Дмитренко как элементарное изложение известной книги Р. И. Аванесова «Фонетика современного русского литературного языка». Напротив, Л. Л. Буланин (Ленинград) нашел в разделе дальнейшее развитие некоторых ключевых понятий концепции Р. И. Аванесова, например, понятия слабой фонемы, которое удачно определяется через ограниченную различительную способность.

Весьма противоречивыми были также оценки раздела «Альтернации в словоизменении» (автор В. А. Редькин). Общее одобрение получил сам факт включения такого рода сведений в грамматическое описание. Хотя и было высказано мнение, что обсуждаемый раздел занимает в «Грамматике» обособленное положение и требует оценки вне ее рамок (З. Д. Попова — Воронеж), в центре внимания оказались все же противоречия, в которые вступает этот раздел с другими главами книги. Это прежде всего — интерпретация фонемного состава алломорфов типа стол — [о] стол'[е], алломорфов именных основ с исходом на заднеязычный, отличные от интерпретации тех же явлений в главах «Парадигматика» и «Словообразование», иные, чем в фонологическом разделе, принципы классификации фонем и некот. др. В этой связи в выступлении С. М. Толстой (Москва) был поставлен вопрос о зависимости грамматического описания от фонологических и морфонологических решений. Докладчица показала, что хотя отмеченные противоречия и связаны с фактами, не имеющими однозначной трактовки в пределах самой фонологии, их можно было бы избежать, если учесть, что фонологический материал, с которым соприкасается грамматист, ограничивается лишь функционально значимыми явлениями и потому, как правило, однозначно предопределяет выбор между несколькими решениями. Исходя из этих соображений, следует признать, что в ряде случаев решения, принятые В. А. Редькиным, оказываются более целесообразными. Положительный отзыв о разделе содержался также в выступлении Р. М. Трифоновой (Оренбург). Иначе подошли к оценке раздела И. Г. Милославский (Москва) и С. В. Бромлей (Москва). Отметив ряд пропусков и фактических неточностей (преимущественно при описании беглых гласных), И. Г. Милославский связал их с общими недостатками теоретической концепции автора, в частности — с отсутствием противопоставления фонетических альтернаций нефонетическим. По мнению С. В. Бромлей, предложенное в разделе описание чередований лишь внешне имеет грамматическую направленность, поскольку в нем не учитывается, что морфонологические альтернации в системе языка образуют иерархические структуры, отдельные звенья которых в разной степени способны нести грамматическую функцию.

Критический анализ раздела «Ударение» (автор В. А. Редькин) содержался в выступлении Н. А. Еськовой (Москва), по мнению которой стройность предложенной здесь классификации акцентных кривых носит лишь внешний характер и достигается, с одной стороны, за счет существенных огрублений (теряется очень важное для русской акцентологии противопоставление подвижного и неподвижного ударения, не делается различия между основными и второстепенными акцентными кривыми), а с другой,— за счет выделения ряда аномальных парадигм, не по праву оказавшихся в основе построения. Высокую оценку раздела дала З. Д. Попова (Воронеж). Параллельно с обсуждением разделов «Альтернации» и «Ударение» шла речь о нецелесообразности разобщенного рассмотрения морфонологических и акцен-

тологических явлений в словоизменении и в словообразовании, поскольку при этом затушевываются важные общие закономерности (выступления И. Г. Милославского, М. А. Жовтобрюха, Н. А. Еськовой).

В результате обсуждения раздела «Словообразование» и примыкающего к нему «Введения в морфемику» (авторы В. В. Лопатин и И. С. Улуханов) было признано, что авторам удалось выработать надежные критерии синхронной мотивированности одного слова другим и, исходя из этих критериев, доказать возможность чисто синхронного осмысления процессов деривации (Г. С. Зенков — Фрунзе). Как первое сплошное описание системы русского словообразования, выполненное со строго синхронных позиций, квалифицировали обсуждаемый раздел Е. А. Земская (Москва), К. А. Тимофеев (Новосибирск), Н. А. Янко-Триницкая (Москва), А. Н. Тихонов (Самарканд), О. П. Ермакова (Калуга), А. Д. Зверев (Черновцы). По мнению П. А. Соболевой (Москва), принцип синхронного описания словообразования особенно четко проявился в интерпретации словообразовательных типов наречий, в выделении раздела о нулевой аффиксации, в выявлении всех возможных случаев усечения производящих основ. Исходя из синхронного состояния системы и из синхронных критериев производности, авторы поставили вопрос о направлении деривации, впервые в рамках академической грамматики подняв его на уровень принципа описания.

Положительным моментом является самый факт выделения словообразования в самостоятельный раздел грамматики (Р. Эккерт и др.). Достоинства описания во многом определяются и тем, что оно не сводится к простому перечислению словообразовательных аффиксов и их значений: в отличие от «Грамматики» 1952 г. здесь ставится и решается вопрос об иерархическом представлении данного языкового уровня. В ходе обсуждения конкретного материала ряд теоретических положений и практических выводов получил разноречивые, а иногда и взаимоисключающие оценки. Так, разошлись мнения по поводу изъятия из описания лексико-семантического способа словообразования (в защиту его выступил Р. М. Гейгер — Павлодар), различной была оценка нулевой суффиксации и усечений (критика этих разделов содержалась в выступлении Н. А. Янко-Триницкой), дискуссионным оказался вопрос о роли семантики при описании словообразовательных явлений. На взгляд Н. А. Янко-Триницкой, сдвиг всей проблемы словообразования в сторону семантики — главный недостаток обсуждаемой работы. Напротив, по мнению Ю. Д. Апресяна (Москва), нацеленность на семантику является одной из сильных сторон раздела. Эта прогрессивная тенденция находит здесь разнообразное проявление: она выражается, в частности, в элементах ономасиологического подхода к описанию словообразовательных средств, в сознательной установке на разработку метаязыка словообразования. О важности семантической стороны говорили А. Д. Зверев и Р. С. Манучарян (Ереван), Л. В. Сахарный (Пермь).

В сообщениях П. А. Соболевой и Г. С. Зенкова были поставлены вопросы, связанные с пониманием системы словообразования и с принципами классификации словообразовательного материала. По мнению П. А. Соболевой, в предложенной авторами классификации универсальное оказалось подчинено индивидуальному: словообразовательные значения — словообразовательным типам и через них способу словообразования, а не наоборот. Этот логический недостаток легко устранить, если положить в основу классификации не способ словообразования, а «деривационный шаг» (отношение категорий производящего и производного). Критика исходного принципа расположения материала по частям речи содержалась в выступлении Г. С. Зенкова, по мнению которого словообразовательные классификации должны строиться независимо от классификационных схем грамматики. Оба оппонента пришли к заключению о недостаточности сформулированного авторами понимания системы словообразования как совокупности словообразовательных типов и выдвинули в качестве актуальной задачи описание словообразовательных гнезд. Эта же мысль содержалась в выступлениях Л. Л. Кима, Е. Л. Гинзбурга (Москва), Р. С. Манучаряна.

В ряде выступлений содержалась критика отдельных сторон словообразовательного анализа. По мнению Л. Л. Кима, утверждаемое авторами тождество лексического значения слов разных категорий (типа *косить—косьба*) допустимо лишь с известными оговорками, поскольку лексическое значение не ограничивается соотнесенностью с денотатом. О необходимости более четкого разграничения лексической и синтаксической деривации при описании словообразования отдельных частей речи говорилось в выступлении О. П. Ермаковой, остановившейся также на некоторых вопросах словообразования наречий. О внутренних связях словообразования и синтаксиса и о недооценке этого момента в обсуждаемом разделе шла речь в выступлениях Е. Л. Гинзбурга и Г. А. Смирновой (Москва). Вопросу об отношении видового словопроизводства и словообразования посвятил свое выступление Л. Андрейчин (София). Сожаление по поводу недооценки

теоретической и практической стороны процесса универбации высказывалось в сообщении Р. Эккерта.

В дискуссии по разделу «Введение в морфемику» центральными оказались проблемы, связанные с принципами идентификации морфем, с понятием позиции в словообразовании, с разграничением разных видов морфем. Вопросу о пределах допустимого варьирования аффиксальных и корневых морфем и условиям объединения морфов в одну морфему посвятила свое выступление Е. А. Земская. Она выразила несогласие с определением позиционного распределения как такого употребления единиц, при котором они встречаются и в разных позициях, и в одной. По мнению Е. А. Земской, нельзя также считать позиционно распределенными алломорфами морфы, сочетаемость которых с основами задается списком. Коснувшись вопроса о квалификации выделяемых частей слов, Е. А. Земская пришла к выводу о недостаточной разграниченности понятий алломорфии, наращений и остаточно выделяемых отрезков. О некоторых непоследовательностях в процедуре отождествления и разграничения морфов, свидетельствующих об отходе авторов от принятой ими физической концепции морфемы на позиции «чистого функционализма», шла речь в выступлении Г. С. Зенкова. На нечеткость определения и разграничения некоторых основных понятий морфемики указывалось в выступлениях Л. А. Быковой (Харьков), А. Д. Зверева и В. С. Гимпелевича.

Проблема морфемного варьирования получила теоретическое освещение и в выступлении Т. В. Булыгиной (Москва). Подчеркнув принципиальную важность предложенного в разделе различения двух видов обусловленности формального различия между морфами одной морфемы и отметив ряд непоследовательностей в осуществлении этого принципа, Т. В. Булыгина предложила детализировать классификацию, с тем чтобы отграничить собственно морфемное варьирование от тех случаев изменения звукового облика морфем, которые или определяются фонологическими законами языка и не относятся к морфологии или хотя и имеют отношение к морфологии, но не являются случаями равноправного чередования алломорфов одной морфемы в подлинном смысле слова.

Критическое рассмотрение раздела с точки зрения теории порождающей грамматики содержалось в выступлении Д. Уорта (Лос-Анжелес), отметившего недостаточную четкость и эксплицитность в изложении некоторых основных понятий и связавшего эти недостатки с принципиальным отказом авторов вести описание в терминах «глубинных» и «поверхностных» структур. О предмете морфемики и ее месте в предложенной модели описания шла речь в выступлениях К. А. Тимофеева и Е. С. Кубряковой (Москва). По мнению К. А. Тимофеева, в задачу морфемики должно было бы войти комплексное изучение грамматических и словообразовательных функций морфем. Недостаточное внимание авторов к функционированию морфем отметила Е. С. Кубрякова, посвятившая свое сообщение обсуждению критериев разграничения словообразования, словоизменения и формообразования, которые в предложенной модели описания остались невыявленными.

При обсуждении раздела «Морфология» (автор В. А. Плотникова, кроме глав «Категория вида» и «Категория залога») наиболее дискуссионными оказались решения, связанные с его композицией, системой дефиниций, методом описания грамматических категорий, классификацией частей речи и принципами их разграничения, трактовкой отдельных категорий. В выступлениях И. П. Мучника (Москва), В. С. Гимпелевича, Г. П. Ижакевич (Киев) было признано нецелесообразным раздельное описание частей речи, грамматических категорий и парадигм, поскольку такое описание не способствует компактному представлению о той или иной части речи в целом. Противоположную позицию заняла в этом вопросе З. Д. Попова. Были предложены и иные схемы построения «Морфологии». По мнению М. А. Мельчука, следовало бы упорядочить подачу словоизменительных категорий, уже в самом описании четко разделив их на семантические и синтаксические. В понимании А. В. Бондарко (Ленинград) морфология должна строиться на противопоставлении (и одновременно — взаимодействии) морфологических категорий и лексико-грамматических разрядов, причем в основу описания должно быть положено понятие функционально-семантического поля. Вопрос о принципах классификации частей речи в связи с решением проблемы местоимения был рассмотрен в сообщении Е. П. Кржижковой (Прага). По ее мнению, при выделении местоименийсуществительных в «Грамматике» недостаточно учтен семантический критерий, а также допущена известная непоследовательность: более целесообразным было бы или объединить местоимения-существительные с существительными, подобно объединению местоимений-прилагательных с прилагательными и местоимений-наречий с наречиями, или выделить все местоимения в особую часть речи, как это делалось в традиционной грамматике. Критериев выделения числительных коснулся в своем выступлении В. С. Гимпелевич. Решение вопроса о степенях сравнения, в соответствии с которым в системе форм имени прилагательного оставлен только компаратив, а пре-

восходная степень вынесена в раздел словообразования, подверглось критике в выступлении А. Н. Шрамма (Калининград). К словообразованию, по его мнению, следует отнести лишь элатив. Большое количество разноречивых оценок вызвала трактовка категорий рода, числа и падежа имен существительных. На необходимости исключения рода и одушевленности из числа грамматических категорий имени настаивал И. А. Мельчук, квалифицировавший их как «синтаксические признаки» основы, подобные типу склонения или глагольному управлению. Понимание рода как синтаксико-номинативной категории было изложено в выступлении И. П. Мучника. Против трактовки падежа как категории синтаксиса возражала Г. П. Ижакевич. По мнению М. Ивич, сведения, касающиеся рода и числа, не всегда могут считаться полными; в некоторых местах цельность информации теряется из-за излишней обобщенности излагаемого материала; в ряде случаев дефиниции не охватывают всех рассматриваемых явлений; в описании падежной системы не выделены частные микросистемы.

О главах «Парадигматика» шла речь в выступлениях М. М. Гухман (Москва) и В. Н. Ярцевой. Если исходить из определения, которое дается парадигме глагола, сказала М. М. Гухман, то из парадигматических форм должны быть исключены аналитические конструкции, которые интерпретируются, однако, как формы слова. Вместе с тем вызывает сожаление, что при описании парадигм не показана строевая роль морфологизованных чередований и варьирования акцентной структуры словоформ. Остаются неясными критерии деления глагольной парадигмы на суженную, расширенную и комплексную, а также принципы отбора аналитических форм. На вопросе о парадигме неизменяемых слов остановилась В. Н. Ярцева, отметившая необычность применения понятия парадигмы не к ряду форм, а к одной форме.

Ряд замечаний касался трактовки категорий вида и залога (автор Н. С. Авилова). Отметив, что в основу определения видов положен признак предела действия, А. Н. Тихонов признал, что автору удалось просто и точно истолковать это очень важное для аспектологии понятие. Впервые в академической традиции в грамматику введены способы действия, хотя их взаимодействие с видами осталось не вполне раскрытым. Известное противоречие содержится, по мнению А. Н. Тихонова, в определении вида то как лексико-грамматической, то как грамматической категории. На рассмотрении этого определения подробно остановилась М. М. Гухман, выразившая свое несогласие с тенденцией квалифицировать вид и залог как классификационные категории. Главную задачу при изложении проблемы вида М. М. Гухман видит в том, чтобы показать втягивание словообразовательных процессов в соотносительные связи со словоизменением. Несогласие с положением о наличии в языке абсолютно одновидовых глаголов несовершенного и совершенного вида, с определением несовершенного вида как немаркированного члена оппозиции, с интерпретацией отношения вида и способа действия выразила А. А. Камынина (Москва). Проблема залога получила освещение в выступлениях Л. Л. Буланина, М. М. Гухман и Ю. В. Фоменко (Новосибирск). Считая главным вопросом теории залога установление системы залогов, Л. Л. Буланин признал более удачной принятую в «Грамматике» двучленную оппозицию (актив—пассив) взамен трехчленной, представленной в «Грамматике» 1952 г. В выступлении были высказаны возражения, связанные с трактовкой залогового формообразования, с отказом авторов от интерпретации пассива совершенного вида как аналитической формы, с невниманием к синтаксическому аспекту залога и некоторыми другими моментами. Неточность в определении залога отметил Ю. В. Фоменко, коснувшийся вопроса о компонентах семантической структуры залога. Возражения, связанные с составом форм, отнесенных к залогу, содержались в выступлении М. М. Гухман, по мнению которой включение в лексико-грамматическую категорию залога трех разных по смысловой структуре и по уровню категориальности явлений (актива — пассива, переходности — непереходности и возвратности) указывает на нечеткость критериев разграничения грамматических, лексико-грамматических и семантико-словообразовательных категорий.

В ходе обсуждения разделов «Подчинительные связи слов и словосочетания» и «Простое предложение» (автор Н. Ю. Шведова, кроме глав о порядке слов) выявилось несколько глубоко различных подходов к интерпретации и оценке предложенных здесь решений, к общей теоретической концепции автора. Наиболее дискуссионными оказались вопросы, связанные с введением и освещением новых для теории предложения понятий, с методом и приемами лингвистического анализа, с пониманием синтаксиса как системы, базирующейся на противопоставлении словосочетания и предложения как качественно различных языковых единиц. Исходя из того представления об уровневой стратификации, при котором об особом уровне можно говорить лишь тогда, когда определенные закономерности невозможно объяснить на основе ранее установленных, Р. Ружичка признал разобщенное описание словосочетания и предложения теоретически не-

достаточно аргументированным и практически более усложненным, вынуждающим к повторению некоторых общих правил и к раздвоению некоторых общих явлений. Напротив, по словам М. Ивич, таким подходом к синтаксису русская школа еще раз подтвердила свою оригинальность, свой самобытный путь развития. В ряде выступлений спорными были признаны решения, касающиеся интерпретации связей в структуре предложения. По мнению А. С. Попова (Глазов), объяснение специфики предикативного сочетания путем констатации особой связи не является доказательным. Как зависимость, опирающуюся на категориальные свойства глагола, склонен квалифицировать подлежащно-сказуемостную связь Р. Ружичка. Свои аргументы в защиту понимания предложения как «связной» подчинительной структуры изложила Е. В. Падучева (Москва). На общности механизма сцепления слов в словосочетании и предложении настаивала А. Ф. Прияткина (Владивосток).

О подчинительных связях слов в словосочетании шла речь в выступлениях Ю. Д. Апресяна, А. И. Мухина (Ленинград), Д. К. Джагацпаняна, Е. С. Скобликовой (Куйбышев), М. Ивич, О. Б. Сиротининой (Саратов), И. А. Поповой (Москва), Е. Н. Ширяева (Москва). В сравнении с «Грамматикой» 1952 г., сказал Ю. Д. Апресян, обсуждаемый раздел отличается прежде всего богатством информации; особенно высокой оценки заслуживает описание управления, где впервые в академической традиции систематически освещены не только вопросы простого управления (с обязательным указанием на то, чем предопределяется тот или иной его тип), но и даются сведения о семантических классах управляющих слов, о вариативности управляемых форм, о трансформируемости и др. Однако некоторые моменты этой полной картины остались мало разработанными; более последовательного разграничения требуют синтаксический и семантический аспекты управления. По мнению М. Ивич, освещение конгруэнтных явлений между глагольным префиксом и употребляемой предложной формой и указание на двойные, тройные и многоструктурные связи значительно обогатили представление о специфике русского управления. В дальнейшем следует уделить больше внимания семантической и стилистической стороне проблемы, вопросам синонимии вариативных форм. О возможностях использования раздела о связях слов в практике преподавания русского языка нерусским, а также при сравнительном изучении языков говорилось в выступлениях Д. К. Джагацпаняна, Л. Дежё и М. Ивич. Трактовку управления как факта словаря, а не грамматики, предложил А. М. Мухин. Резкая критика раздела в целом прозвучала в выступлении Е. С. Скобликовой. Ее отрицательная оценка предложенного здесь описания опиралась на утверждение о его внутренней противоречивости и неудовлетворительности исходных принципов.

Обсуждение раздела «простое предложение» сконцентрировалось вокруг понятий «структурная схема» и «парадигма предложения»; в тесной связи с этими вопросами рассматривались и другие положения (о синтаксическом времени и наклонении, о детерминантах и др.). Отношение теории предложения к общей теории высказывания было темой выступлений Ю. В. Ванникова (Москва) И. П. Сусова (Тула), И. Я. Чернухиной (Воронеж), Г. С. Токаря (Ужгород). При обсуждении понятия «структурная схема простого предложения» было подчеркнуто, что с его введением и обоснованием изучение синтаксической системы языка получило собственно грамматическую основу. Перспективность и плодотворность описания синтаксиса в терминах структурных схем и их регулярных реализаций были признаны Н. В. Черемисиной (Уфа), А. Ф. Прияткиной, Н. П. Савицким (Прага), Е. П. Кржижковой, Т. А. Тулиной (Одесса), Л. Дежё, Д. Н. Шмелевым (Москва), Р. Ружичкой, И. П. Святогором (Калуга), В. А. Ицковичем, В. Г. Гаком (Москва), Л. Н. Мурзиным (Пермь) и др. Вместе с тем было отмечено, что будучи лишь самой первой попыткой представить в систематическом виде формальный костяк простого предложения в русском языке, это описание не свободно от недостатков: не вполне ясными еще остаются границы и компонентный состав многих структурных схем (Е. П. Кржижкова, Т. П. Ломтев — Москва, И. П. Распопов — Воронеж, Г. А. Золотова — Москва), их списку недостает пока внутренней упорядоченности и иерархичности (Д. Н. Шмелев, Н. Д. Арутюнова — Москва, Р. Ружичка, Н. П. Савицкий). В то же время сами по себе эти схемы являются абстракциями разных уровней (Н. Н. Арват — Черновцы, Е. П. Кржижкова, И. П. Распопов, В. С. Юрченко, Н. В. Черемисина). Пути устранения этих недостатков одни оппоненты видят в более углубленной разработке функционального аспекта (Н. Д. Арутюнова), другие — в более последовательном обращении к аспекту семантической структуры (В. Г. Гак), третьи — в переосмыслении самого понятия структурной схемы с учетом истинности суждения (Т. П. Ломтев), четвертые — в пересмотре вопроса о главных членах предложения (Г. А. Золотова). Было высказано соображение о необходимости более принципиального разгра-

ничения свободных и фразеологизированных схем (Д. Н. Шмелев, Н. Д. Арутюнова, Т. А. Тулина). Негативную окраску имело выступление И. П. Распопова, утверждавшего невозможность построения учения о предложении на собственно формальной основе.

В ходе обсуждения парадигмы предложения требующими дальнейшей разработки и обоснования были признаны вопросы, связанные с определением ее уровневой принадлежности и конкретного содержания со стороны состава форм. Тезис о морфологическом характере описанной в «Грамматике» парадигмы развивался в выступлении А. В. Бондарко, направившего основное внимание на критику главной идеи автора — положения о существовании синтаксических категорий времени и наклонения, с которыми связывается представление о предикативности как грамматическом значении предложения. По мнению А. В. Бондарко, предикативность находит свое выражение не в синтаксическом времени и наклонении, которые понимаются в «Грамматике» неоправданно широко, а в функционально-семантических категориях модальности, темпоральности, персональности и временной локализованности. Свое согласие с предложенной в «Грамматике» трактовкой синтаксического времени выразила Е. Н. Прокопович (Москва), остановившаяся на некоторых моментах, полнее выявляющих специфику этой категории. О парадигме предложения и ее отношении к морфологической парадигме глагола в связи с критикой теории нулевых форм и эллипсиса сказуемого, сторонником которой выступил Л. С. Бархударов (Москва), шла речь в выступлении Ю. М. Костинского (Ворошиловград). О больших перспективах, открывающихся перед исследователями синтаксиса в связи с идеей парадигматики предложения, говорилось в сообщении Г. А. Золотовой, изложившей свое понимание синтаксической парадигматики. На необходимости более четкого определения предела возможных «парадигматических разветвлений» предложения настаивал И. П. Распопов. Свою интерпретацию отдельных форм парадигмы предложил Н. П. Савицкий. Солидарность с идеей парадигмы предложения и принципами ее описания выразил В. И. Чернов (Куйбышев), возражавший, однако, против выдвижения этого аспекта на главные позиции в синтаксисе. Эта же мысль прозвучала в выступлении Ю. В. Ванникова (Москва), указавшего на целесообразность более тщательной разработки синтагматического аспекта предложения. Призыв к дискуссии относительно принятого в «Грамматике» метода описания синтаксиса прозвучал в выступлении Л. С. Бархударова, квалифицировавшего этот метод как «поверхностный» анализ с элементами «глубинного» подхода. Точку зрения Л. С. Бархударова разделил Ю. В. Ванников. Н. Д. Арутюнова говорила о том, что формальный аспект в синтаксисе явно подчинил себе функциональную сторону описываемых явлений. Вообще проблема синтаксического объекта и метода его описания, как она сформулирована в предисловии к «Грамматике», находилась в центре внимания на протяжении всего обсуждения данного раздела.

В обсуждении глав, посвященных порядку слов в предложении и словосочетании (автор И. И. Ковтунова), приняли участие О. А. Лаптева (Москва), Т. М. Николаева (Москва), Р. Ружичка, О. Б. Сиротинина, Л. Дежё. По мнению Р. Ружички, изложение словопорядка в неразрывном единстве с актуальным членением является одним из больших достоинств «Грамматики». К этой точке зрения присоединились Л. Дежё, высказавший пожелание расширить описание коммуникативных форм предложения до трех- и четырехчленных структур, и О. Б. Сиротинина, разошедшаяся с Р. Ружичкой лишь в оценке приема подачи материала. О. А. Лаптева и Т. М. Николаева подвергли критике как то понимание актуального членения, которое принято автором раздела (Т. М. Николаева), так и некоторые положения самого этого учения (О. А. Лаптева).

Весьма положительную оценку получил раздел «Сложное предложение» (автор В. А. Белошапкова). Было отмечено, что, не порывая с «Грамматикой» 1952 г. и опираясь на работы школы Н. С. Поспелова, автор сумел описать сложное предложение как особую синтаксическую единицу, обладающую своим структурным механизмом и своей семантикой. Соображения и замечания критического характера касались прежде всего объема описания, за пределами которого оказались полипредикативные сложные предложения и сверхфразовые единства (выступления Г. В. Валимовой—Ростов, В. А. Шитова — Вологда, Г. П. Уханова — Калинин, Р. П. Рогожниковой — — Ленинград, И. Р. Гальперина — Москва, М. Д. Мишаевой — Ульяновск, И. А. Кирюхиной — Харьков, М. В. Симулика — Ужгород) и степени разработанности отдельных проблем, главным образом в сфере бессоюзия (Е. А. Иванчикова — Москва, А. Ф. Кулагин — Ульяновск). Были отмечены некоторые противоречия, в которые вступает этот раздел с описанием структуры простого предложения. Это — различие в подходе к определению грамматического значения (выступления Е. В. Гулыги — Москва и Г. В. Валимовой), несогласованность общей методики описания, которая имеет здесь собственно классификационный ха-

рактер (В. И. Кодухов). Некоторых противоречий в самом описании сложного предложения коснулся Л. Ю. Максимов (Москва), указавший, в частности, на отсутствие четкой иерархичности классификационных критериев, вследствие чего некоторые типы предложений оказались перекрещивающимися. Соображения, касающиеся общей теории сложного предложения, были высказаны в сообщениях Г. П. Уханова и Е. А. Иванчиковой. На недостаточное внимание автора к явлениям функциональной синонимии было указано в сообщении Е. В. Гулыги. Свое несогласие с положением об изоморфизме сложного предложения со словосочетанием выразили Л. Ю. Максимов и Э. И. Коротаева (Ленинград).

В конце дискуссии авторы «Грамматики» ответили на возражения и замечания оппонентов, дополнительно аргументировали некоторые из принятых ими решений, в ряде случаев разъяснили свои теоретические позиции.

В заключительном слове редактор книги Н. Ю. Шведова, отметив, что в ходе обсуждения «Грамматики» было дано столько разноречивых и часто взаимоисключающих оценок, сколько давно не получала ни одна лингвистическая книга, остановилась на наиболее существенных моментах дискуссии. Выражая мнение авторского коллектива, Н. Ю. Шведова приняла критику, констатирующую спорность и несогласованность некоторых решений, несовершенство ряда определений, различную степень детализации описания, неполноту характеристик некоторых категорий. В то же время Н. Ю. Шведова выразила свое решительное несогласие с теми оппонентами «Грамматики», которые склонялись к отрицанию ее методологического единства. За исключением разделов «Ударение» и «Альтернации в словоизменении», сказал она, все главы этой книги объединены общим стремлением изучать грамматические единицы в органическом единстве их формы, грамматической семантики и функции. Такое понимание природы грамматических единиц и принципов их описания, опирающееся на русскую грамматическую традицию и продолжающее ее, определило ориентацию прежде всего на те работы, которые помогали осветить материал с этих точек зрения. Н. Ю. Шведова еще раз подчеркнула, что обсуждаемая «Грамматика» по своему характеру является описательной; она может рассматриваться как известный опыт, продвигающий подготовку академической грамматики как произведения особого научного жанра. Принципы построения такой грамматики требуют специального обсуждения.

И. Н. Кручинина (*Москва*)

*

21 октября 1971 г. состоялось расширенное заседание Ученого Совета Института языкознания АН СССР, посвященное 70-летию со дня рождения доктора филологических наук Э. В. Севортяна.

Во вступительном слове В. Н. Ярцева, характеризуя научную деятельность Э. В. Севортяна за последнее десятилетие, придавала большое значение «Этимологическому словарю тюркских языков», над составлением которого юбиляр работает эти годы. Труд этот, первый том которого объемом в 65 авт. л. уже представлен Ученым Советом издательству, позволит воссоздать широкое историческое полотно в развитии не только лексики тюркских языков, но и системы их словообразования [1].

А. Н. Кононов в своем докладе осветил научную биографию Э. В. Севортяна, который, всю жизнь изучая фонетическую и грамматическую системы тюркских языков, посвятил себя двум наитруднейшим, по мнению А. Н. Кононова, занятиям — написанию грамматики и составлению словаря.

Первым из тюркологов Э. В. Севортян защитил в ноябре 1935 г. кандидатскую диссертацию, тема —«Порядок слов в простом предложении анатолийско-турецкого языка». В последующие годы его занимает фонетическая проблематика южных тюркских языков в широком сравнительном аспекте, результатом разработки которой явился фундаментальный труд «Фонетика турецкого литературного языка» (М., 1955). Параллельно изучалась история падежной системы, проблемы частей речи и истории их развития в тюркских языках, соотношения грамматики и лексики на тюркском материале, а также многие другие теоретические вопросы грамматики в сравнительно-историческом плане. Велась также работа над морфологией азербайджанского языка — Э. В. Севортян является одним из главных редакторов и соавторов «Грамматики азербайджанского языка» (Баку, 1971), впервые выпущенной на русском языке.

В своем докладе на Координационном совещании по вопросам методов изучения истории тюркских языков (Ашхабад, октябрь 1959 г.) Э. В. Севортян, отличающийся строгостью исследовательского метода, подробно проанализировав работы предшественников и современное состояние исторического изучения тюркских языков в СССР, прозорливо наметил направления исторических исследо-

[1] См., в частности: Э. В. Севортян, Об «Этимологическом словаре тюркских языков», ВЯ, 1971, 6.

ваний в области тюркских языков. Разработанные им на широком фоне тюркологических проблем монографии «Аффиксы глаголообразования в азербайджанском языке» (М., 1962) и «Аффиксы именного словообразования в азербайджанском языке» (М., 1966) являются крупнейшими в настоящее время трудами по сравнительно-исторической морфологии тюркских языков. В составляемом этимологическом словаре исследуется морфо-семантическая структура тюркских языков.

Выступавшие отметили, что имя Э. В. Севортяна, продолжателя лучших традиций отечественной тюркологии, «ненавистника поспешных заключений», неразрывно связывается с активно развивающимся ныне сравнительно-историческим изучением тюркских языков.

В лице Э. В. Севортяна пытливый исследователь блестяще сочетается с талантливым педагогом. Э. В. Севортян подготовил свыше 50 дипломированных специалистов по многим тюркским языкам.

Министр высшего и среднего специального образования Узб. ССР Г. А. Абдурахманов подчеркнул, что не одно поколение тюркологов формировалось под воздействием трудов Э. В. Севортяна; им определено направление исследований многих молодых узбекских ученых.

Важным периодом в формировании молодых кадров советской тюркологии явилась педагогическая деятельность Н. К. Дмитриева, Э. В. Севортяна, В. М. Насилова, Э. Н. Наджипа на созданном в 1943 г. восточном отделении филологического факультета МГУ им. Ломоносова.

Э. В. Севортян — активный член редакционной коллегии издаваемого в г. Баку научно-теоретического журнала «Советская тюркология», чл.-корр. Турецкого лингвистического общества (Türk dil kurumu). По инициативе Турецкого лингвистического общества предпринят перевод двух монографий Э. В. Севортяна — «Аффиксы глаголообразования...» и «Аффиксы именного словообразования...» — на турецкий язык; одновременно осуществляется также перевод этих двух книг на немецкий язык.

Собравшиеся пожелали Э. В. Севортяну сил и здоровья для завершения составляемого им «Этимологического словаря тюркских языков», который явится выдающимся событием современной тюркологии.

Г. Б.

CONTENTS

Articles: V. M. S o l n c e v (Moscow). On the notion of level of the linguistic system; **Discussions:** A.V. B o n d a r k o (Leningrad). Contribution to the theory of field in grammar — the category of voice; V. K. Ž u r a v l e v (Moscow). The neutralisation of phonological oppositions; G. D o e r f e r (Göttingen). Is it possible to solve the problem of kinship of the Altaic languages from the point of view of Indo-European linguistics?; L. A. P o k r o v s k a j a (Moscow). Concerning one «balkanism» in the Gagauz language and in Balkano-Turkish dialects; A. K. M a t v e j e v (Sverdlovsk). Interaction of languages and methods of toponymic research; **Materials and notes:** M. A. B o r o d i n a (Leningrad), N. N. M i l m a n (Leningrad). On the reconstruction of the linguo-geographical chart; G. K. V e r n e r (Taganrog). Reconstruction of syllabic tones in Yenissei languages of the XIX century; Y. L a u č e t e (Leningrad). Lexical baltisms in the Slavonic languages; T. V. R o ž d e s t v e n s k a j a (Leningrad). The importance of the graffiti of the XI—XIV centuries for the study of the history of the Russian language of the later period; T. A. I v a n o v a (Leningrad). Concerning the ABC written on the wall of the St. Sophia cathedral in Kiev; N. A. Y e s k o v a (Moscow). On the principles of compilation of the Russian normative dictionary of the orthoepic type; V. S. M o č o s (Moscow). Composition and structural features of the principal verbal classes in modern Greek; **Critics and bibliography; Scientific life.**

SOMMAIRE

Articles: V. M. S o l n c e v (Moscou). La notion du niveau du système linguistique; **Discussions:** A. V. B o n d a r k o (Léningrad). Contribution à la théorie du champ grammatical — la catégorie de la voix; V. K. Ž u r a v l e v (Moscou). La neutralisation des oppositions phonologiques; G. D o e r f e r (Göttingen). Est-ce possible de résoudre le problème de parenté des langues altaïques du point de vue de linguistique indo-européenne?; L. A. P o k r o v s k a j a (Moscou). À propos d'un «balkanisme» dans la langue gagauze et dans les dialectes balkano-turques; A. K. M a t v e j e v (Sverdlovsk). Interaction des langues et méthodes des investigations toponymiques; **Matériaux et notices:** M. A. B o r o d i n a (Léningrad), N. N. M i l m a n (Léningrad). Sur la reconstruction de la carte linguo-géographique; G. K. V e r n e r (Taganrog). Reconstruction des tones syllabiques dans les langues yénissei de XIX siècle; Y. L a u č e t e (Léningrad). Baltismes lexicaux dans les langues slaves; T. V. R o ž d e s t v e n s k a j a (Léningrad). L'importance des graffiti de XI—XIV siècles pour l'étude de l'histoire de la langue russe de période postérieur; T. A. I v a n o v a (Léningrad). A propos de l'abécédaire sur le mur de la cathédrale de St.-Sophie à Kiev; N. A. Y e s k o v a (Moscou). Principes de la compilation du dictionnaire normatif russe de type orthoépique; V. S. M o č o s (Moscou). Composition et traits structuraux des principales classes verbales en grec moderne; **Critique et bibliographie; Vie scientifique.**

Технический редактор *Г. И. Пронина*

Сдано в набор 29/II-1972 г. Т-05083 Подписано к печати 28/IV-1972 г. Тираж 7200 экз.
Зак. 242 Формат бумаги 70×108 1/16 Усл. печ. л. 14,7 Бум. л. 5¼ Уч.-изд. л. 16,1

2-я типография издательства «Наука». Москва. Шубинский пер., 10